



**ВЛАДИМИР ШАРОВ**

**ДО И ВО  
ВРЕМЯ**



**аст**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва  
«Астрель - СПб»  
Санкт-Петербург  
2005

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=Рус)6  
Ш26

Серийное оформление *Д.А. Райкина*

**Шаров, В.**

Ш26 До и во время / Владимир Шаров. — М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2005. — 395, [5] с. — (Неформат).

ISBN 5-17-027737-7

Историческая фантазмагория. Три жизни мадам де Сталь, которая умела рожать сама себя, тайная история русской революции, профессиональные секреты евреев, правда о рождении кремлевского грузина, головокружительный сюжет. После журнальной публикации роман вызвал самый громкий в постсоветское время скандал в критике. Враги Шарова сожгли в Москве у метро «Аэропорт» чучело писателя.

УДК 821.161.1  
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.10.2004.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 21. Тираж 3000 экз. Заказ 3035.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 1; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.02.11.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

© В. Шаров, 2004  
© ООО «Издательство Астрель-СПб», 2004

\* \* \*

Впервые я оказался в этой больнице в октябре 1965 года, кажется, восемнадцатого числа. Класть меня тогда не должны были. Речь шла о том, чтобы работавший в клинике профессор Кронфельд частным образом меня проконсультировал и подобрал таблетки ко всему моему «букету». От метро, как и было велено, я пошел наискосок, через пустырь и неогороженные строительные площадки; народу здесь ходило много, и снег, выпавший вчера ночью, был уже хорошо умят и утоптан, местами даже накатан до льда. Пейзаж был совершенно нежилой: едва кончились котлованы и неровные штабеля бетонных плит, пошли склады, гаражи, овощебазы, недалеко текла прежде судоходная Яуза, тут же была железная дорога, и все это по традиции лепилось вокруг.

Я знал, что, если срезать угол, мне надо будет идти минут двадцать — двадцать пять, но шел я уже больше получаса, а нужной улицы не было. Тропинка была узкая, скользкая, и, конечно, я шел медленнее обычного, и все же ей пора, давно пора было кончиться. Тот срок, на который я себя настроил и который готов был идти вот так, все время боясь упасть, все время балансируя,

как клоун, руками, истек; я устал и злился, что не пошел другой, более долгой, но куда более спокойной дорогой. Можно было не пробираться через эти склады и стройки, а обойти их по двум широким улицам, которые чистили и по которым было не опасно идти. Я был уверен, что заблудился, ругал себя последними словами, едва не плакал. Ситуация вряд ли этого заслуживала, но я шел к врачу, шел в психбольницу, не знал, что он мне скажет и как решит мою участь. Конечно же, я нервничал и жалел, что вышел из дома впритык, длинным надежным путем идти уже не мог и пошел этой неровной неверной дорогой.

Все же Бог есть. Я еще плутал между гаражами, старательно обходя колдобины, грязь, когда и земля, и дорога, по которой я шел, и этот недостроенный лабиринт, даже снег разом запахло ванилью и свежей горячей выпечкой. Впереди, совсем рядом была хлебопекарня, мне ее называли как ориентир, говорили, что она стоит на той же улице, что и больница, за три дома до нее.

Запах ванили — это запах моего детства, тот запах, в окружении которого я был зачат, выношен и рожден, так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом — словом, все, что было в моей жизни хорошим и добрым. Свои первые шесть лет я провел на улице «Правды» — это там же, где до сих пор знаменитая цыганами гостиница «Советская», напротив огромного кондитерского комбината «Большевик», оттуда и шел этот дух, и я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит это имя, что большевики такими и были — мягкими, сдобными и сладкими.

Мать моя страстно любила шоколад, у нее были длинные, тонкие пальцы, ногти она красила фиолетовым лаком, и когда за чашкой кофе с одной из своих многочисленных подруг она брала из цветастой коробки ромбик и башенки шоколадных конфет, это было очень красиво. В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называемая «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках — все равно, кто они — мужчины или женщины, — и даже, если нужно, разрешило столь важный в детстве вопрос, откуда они берутся и как рождаются. Картина мира была построена и завершена.

Известно, насколько крепки в нас первые впечатления детства: уже после института, в сущности, взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их мягкими и сладкими, а потом долго мучительно переписывал, и все равно — какими должны быть, они у меня не получались. В общем-то, это понятно: я продолжал жить в другом мире, и было похоже, что так в нем и останусь. Из-за этих большевиков в нашей газете меня считали как бы дурачком, хотя относились, пожалуй, хорошо. Очерки, которые я писал, пойти в первоизданном виде, конечно, не могли и не шли, но одно достоинство в них все же имелось: герои были написаны с такой неподдельной любовью и нежностью, что наши старые газетные волки говорили, что завидуют моей неиспорченности и искренности. Увы, она сразу же пропадала, едва кто-нибудь пытался выправить текст.

Я понимал, что все это долго продолжаться не может: несправедливо, что кому-то приходится фактически ра-

ботать за меня, — и года через два уволился. Шаг этот дался мне нелегко, я любил все, связанное с газетой, самый дух ее, да и идти мне, в сущности, было некуда. К тому времени ненапечатанных очерков и рассказов у меня скопилось великое множество, и я, то здесь, то там занимаясь поденкой и халтурой, медленно дрейфовал в поисках изданий, которые устроили бы мой взгляд на жизнь. В конце концов я нашел их там, где, собственно говоря, и должен был найти, — нашел, вернувшись с моими большевиками в детство, туда, откуда и они, и я были родом.

Ныне минуло уже десять лет, как меня охотно печатают, — охотнее многих моих старых знакомых по газете — и в «Пионерской правде», и в «Мурзилке», и в «Костре», а особенно в «Малыше». Те первые книжки, которые читают детям и дома, и в яслях, и в детских садах, — мои, потому что в них есть мое собственное детство, есть доброта, есть нежность, потому что большевики у меня похожи на маму, добрую, ласковую маму, и, конечно, дети любят их и готовы слушать эти истории еще и еще. Потом, как и все, мои читатели вырастают, узнают мир, понимают, что коммунисты не только и не всегда были добрыми и мягкими, но любовь к ним остается. В общем, стыдиться мне нечего, я всегда писал честно, писал то, что думал, хотя, может быть, сейчас это и выглядит немного наивно.

Книжки о Ленине в конце концов сделали мне имя, и я незадолго до всей этой истории вдруг получил сразу два чрезвычайно лестных предложения. Предложения, о которых прежде не мог и мечтать. Много лет назад, еще в институте, я написал дипломную работу о замечательной

французской писательнице Жермене де Сталь, продолжал дальше собирать о ней материалы и даже в свое время отнес в издательство «Молодая гвардия», в редакцию, которая выпускает серию «Жизнь замечательных людей», заявку на книгу о ней. Разумеется, тогда из этого ничего не вышло. Теперь же, когда я думать забыл об этой заявке, «Молодая гвардия» неожиданно прислала мне письмо, где в обрамлении множества реверансов говорилось, что, если я не передумал, издательство готово подписать со мной договор: книга о мадам де Сталь уже в плане.

А ровно через месяц (я только успел взяться за Сталь) Политиздат предложил мне стать автором другой популярнейшей в Союзе серии — «Пламенные революционеры». Причем было заявлено, что моя репутация столь безупречна, что и герой, и эпоха — все будет по моему выбору. Впрочем, эти наполеоновские планы — в прошлом, за последние три года я не написал ни страницы и кормлюсь лишь гонорарами за переиздания.

\* \* \*

Территория больницы была довольно велика, здания разной архитектуры и разной, но блеклой расцветки стояли безо всякой системы вокруг большой центральной клумбы, которая сейчас, в конце осени, была покрыта желтой с проплешинами травой, уже присыпанной снегом и остатками разбитых на квадратики цветов. Корпус, куда я шел, был из блочных построек последних лет, стоял он ровно против ворот, и я, поднявшись на нужный мне седьмой этаж, убедился, что пришел вовремя. Но



спешил я зря. Кронфельд был занят, у него был обход, задержавшийся из-за министерской комиссии, и медсестра передала, что он сможет принять меня не раньше чем через час. Засим дверь в отделение была заперта, и я остался один в маленьком, почти как терраса, светлом то ли коридорчике, то ли предбаннике.

Это было нечто вроде западни — ни вызвать самому лифт, ни спуститься по лестнице было нельзя. Окно коридорчика выходило на Яузу, река здесь была совсем узкая, набережная — высокая гранитная стена — почти закрывала от меня воду. Поверху парапет был достроен недавно валиком снега, и оттуда, из глубины, как журавль деревенского колодца, торчала стрела плавучего крана. Я стоял, смотрел на него и все думал, что вот сейчас он начнет кланяться или хотя бы повернется, но так и не дождался.

Мне всего сорок пять лет, однако три года назад у меня после травмы черепа — я поскользнулся на льду около автобусной остановки и упал — начались провалы памяти. Два-три раза в год я уходил из дома и не возвращался. Родным, когда они, разыскивая меня, объезжали морги, дежурили в милицейских справочных, говорили, что живым они меня вряд ли когда-нибудь увидят, но потом, через несколько недель, иногда месяцев я находился: или арестованный за бродяжничество без документов и, конечно, без денег в каком-нибудь неблизком КПЗ, чаще всего почему-то на юге (меня с детства тянуло на юг, к морю, это — несомненно), или в одной из местных психиатрических клиник. Обычно я бывал крепко избит, весь в ссадинах и кровоподтеках, — когда милиционерами,

когда санитарями (говорили, что в этом состоянии я беспокоен, порой даже буен), когда неведомыми попутчиками в странствиях (хотел бы я хоть раз посмотреть на себя в это время со стороны: как я, и что я). Потом дома я долго болел, но в конце концов все же отходил: от природы я вообще весьма здоров, и даже память ко мне возвращалась, хотя сначала я не мог назвать ни своего имени, ни фамилии.

В общем, все пока возвращалось, и мне это было не тяжело и не мучительно, я легко это делал, легко, как нитку разматывал. Я видел, что матери и тетке очень нравится вспоминать вместе со мной то, что было, и чувствовал себя снова ребенком, за которого, когда он оправляется после тяжелой болезни, все радуются, прямо светятся, видя, что он выздоравливает. Но перспективы у меня были плохие — по рассказам врачей, многих подобных мне убивали уголовники, других калечили так, что поставить их на ноги было уже невозможно, третьих — милиция нами заниматься не любила — не находили по году и больше; а главное, память моя после каждого нового приступа должна была восстанавливаться все медленнее и труднее, в конце же концов мне грозила полная амнезия. Собственно, страх перед ней и привел меня в больницу к Кронфельду.

В отделении, у дверей которого я теперь ходил, испытывался препарат, радикально, по слухам, просто чудодейственно улучшающий кровообращение мозга, а моя болезнь как раз была связана с тем, что после травмы многие сосуды были повреждены и кровь по ним не шла. Это новое лекарство было моим шансом — я это понимал.

И все же тот час или немного больше, что длился обход, дался мне с трудом. Не так уж долго я был в этом предбаннике, и не так уж там было страшно: лифты приходили и уходили, за стеклянными дверями все время мелькали люди, можно было их окликнуть, позвать, попросить открыть, даже, на худой конец, можно было закричать, и пришел бы, прервав обход, врач, — все было возможно, и была бездна самых разных выходов, но я за последние месяцы так измотался, что сил уже не осталось.

Первые год — два я крепился, меня хватало даже на то, чтобы относиться ко всему этому с иронией, я острил, что, теряя память, очищаюсь и это прекрасно: всякая дрянь, мерзость уходит, и я снова, как младенец, невинен и чист. Это и в самом деле было верно. Кроме того, болезнь пока протекала куда легче, чем у других; ведь память быстро полностью восстанавливалась и не было никакой потери интеллекта. Может быть, спасала куча витаминов, которые мне ежедневно скармливала мать, во всяком случае, думал я явно не хуже, чем раньше. Словом, и после падения долго все было терпимо, а потом я как-то разом устал. Я начал ждать новых приступов, стал ловить их, стал их больше и больше бояться и за несколько месяцев себя довел. Врачи считали, что мне нельзя переутомляться, я теперь во всем слушался врачей, ограничивал себя, все время видел, что нет, это я не могу, на это сил у меня не хватит, — и вдруг понял, что я старик.

Но я еще держался, когда вокруг умерли сразу несколько близких мне людей, и все они умерли такими одиночками, словно у них был только я, и все. И это одиночество людей, и то, что всех их я теперь должен был помнить,

они как бы брошены на меня, — я не выдержал и сорвался. Нашли меня где-то за Тулой на вокзале, избитого, ограбленного, и только через месяц опознав, привезли в Москву.

Еще полгода я болел: у меня были отбиты почки, правда, не сильно, и врач, который всю болезнь меня вел и знал лучше, чем я сам, сказал, что впервые, отходя от своего припадка, я не хотел возвращаться, не хотел ничего вспоминать. Я устал терять и хотел остаться без памяти. Он говорил, что раньше во мне была бездна оптимизма, будто это все ерунда, недоразумение, а теперь он видит, что мозг как бы приспособился к болезни, научился ею пользоваться, освоился в ней, и теперь лечить меня будет куда сложнее, потому что сам я ему больше не помощник. Было и еще одно. Я понимал, что таблетками дело не кончится, рано или поздно, если меня где-нибудь не убьют, я наверняка сделаюсь пациентом отделения старческого склероза, а это далеко не самое приятное место на свете. Я вдруг осознал то, чем меня давно пугали: меня ждет — и скоро — маразм, потому что основная магистраль моей болезни именно к нему и ведет. Раньше такая перспектива лишь забавляла, тема «я среди склеротиков» казалась мне хорошей шуткой, я даже любил поговорить об этом. В конце концов, мне было только сорок пять лет.

Теперь же, когда то, что я лягу в больницу, подошло вплотную, мне уже некуда было деться, я сам себя сюда загнал, я вдруг увидел, что, останься здесь, я разом теряю все, становлюсь человеком, с которым можно делать что угодно. А ведь еще недавно, до последнего припадка, я не боялся ни клиники, ни полной зависимости от сани-

таров и врачей, ни даже смерти среди впавших в детство стариков, а только беспамятства. Память была моим больным местом, и я боялся лишь того, что было с ней непосредственно, напрямую связано. На большее меня не хватало.

Пожалуй, с начала болезни ее следствием было то, что моя жизнь стала замыкаться, возвращаться назад: я все более и более ценил то, что уже было, то есть уже прожитое; память сделалась центром моего мира, я терял ее так мгновенно, что это больше всего походило на смерть. Смерть ждала меня позади, а не в будущем, и я почти инстинктивно пошел тоже туда — назад, в прошлое. Этот поворот и все более явная и для меня самого, и для моих близких обращенность моей жизни вспять вовсе не были, как я боялся вначале, пустым и бессмысленным повторением пройденного. Не знаю почему, может быть, потому, что я шел с другого конца, но эта жизнь была совсем другой и совсем другие вещи имели в ней значение. Почти сразу я обнаружил, что многое необъяснимо, многое было прожито мной как бы предварительно, пунктирно, совсем не понято и не оценено. Теперь же все это мне возвращалось.

То был, конечно, щедрый подарок; никак не меньше нескольких лет я брал от него день за днем, а он не убывал. Его даже становилось больше. И я, видя это, временами едва ли не радовался своей болезни. Врач мой был прав: я приспособился, привык к ней, в общем, смирился и больше ни на что не роптал.

И все же что-то во мне еще продолжало надеяться на выздоровление, на возвращение к нормальной жизни, был

еще какой-то очаг сопротивления, именно в нем зародилась идея — возможно, мой же врач, знавший, как я сорвался, ее и внушил, — что память мне самому не нужна, пускай ее не будет вовсе (в то время, когда я по месяцу и больше пребывал в беспамятстве, я узнал, что можно жить и так); но память моя должна, и, главное, у меня есть на это силы, сохранить тех, кого знал лишь я или, во всяком случае, готов был помнить один я. В реальной жизни в нас не так много ростков альтруизма, чтобы я эту мысль — мой долг их всех запомнить и продлить хотя бы на собственную жизнь — не подхватил, она и стала тем знаменем, под которым я все еще сопротивлялся болезни. Сыграла здесь роль и другая давняя история.

\* \* \*

В двенадцать лет, 3 мая, в день своих именин, я впервые причащался, а примерно через неделю после этого события, которое и сейчас люблю вспоминать во всех деталях, случайно услышал разговор отца с одним из его друзей о только что вышедшей статье, посвященной «Синодику опальных» Ивана Грозного. Помню, что тогда сама идея, сама возможность такого «Синодика» поразила меня. Тридцать лет человек бестрепетно убивал себе подобных, зная, что они ни в чем не повинны, и вот на смертном одре он начинает их вспоминать и на помин души каждого оставляет некую толику денег. Кого-то он вспоминает сам, кого-то вспомнили те, с кем он убивал, но многих они, конечно же, вспомнить не могли, они даже имен их не знали, убивали их безымянными; и вот, пони-

мая это, Иван оставляет деньги и на помин души тех, кого, как он пишет: «Ты, Господи, и Сам ведаешь». Ночью, после того разговора, мне пришла в голову странная мысль: человек может убить другого человека и совсем просто — человека невинного и безгрешного — именно потому, что есть Воскресение, что есть кому вспомнить и воскресить убитого. И еще я вдруг понял, что смерть — это возвращение к Богу, возвращение после долгих и трудных испытаний, после свободы воли и ответственности; об этих предметах отец любил говорить со мной лет с семи, это было как бы возвращение из взрослой жизни в детство или даже в материнскую утробу, словно туда и вправду можно вернуться. И главное, для Господа ничего не было напрасным, ничего не пропало, не сгнуло, и Он хочет, чтобы и для нас, людей, тоже ничего не было напрасным. Мне казалось, что это ясно следует из «Синодика», но для чего это, для чего на земле должна была остаться память об этих людях, почему были записаны их имена, а не обо всех равно сказано: «Господи, ты Сам их ведаешь», — я не понимал, да и сейчас понимаю нетвердо. Тогда же я лишь подумал: неужели мы и вправду все останемся, неужели и вправду мы ни в огне не горим, ни в воде не тонем и казнить, убить до смерти нас тоже невозможно?

К тому времени, о котором сейчас пишу, я уже много лет, во всяком случае, столько, сколько себя помнил, любил Христа, и, как ни странно, любовь к Нему совсем не мешала мне любить Ленина. Я не знаю точно год, когда я узнал о Христе, узнал о Его страданиях и мученической смерти, но возлюбил Его я сразу, возлюбил и душой, и

плотью, и кровью, и помыслами, и мне казалось, что так было всегда, то есть я Его всегда знал и любил и всегда Он был со мной. С тех пор я слышал много здравых рассуждений о том, что нельзя одновременно любить Ленина и Христа — или одного, или другого, — что сам Ленин не любил или даже ненавидел Христа, да и Христу, доведись Ему встретить на Своем пути Ленина, тот вряд ли понравился бы. Но это их личное дело, меня оно даже не должно касаться. Можно сколько угодно смеяться над этим, но я действительно люблю Ленина и действительно люблю Христа, и верю Христу, и Ленину тоже верю, и благодарю Бога, что мне дан этот дар любить, а другой дар — анализировать, все время метаться и спрашивать себя, за что я его люблю и стоит ли он моей любви, — дан меньше.

Единственное, что омрачало в детстве мою любовь к Христу, — это мысль, что я за малостью лет и малостью моих грехов не должен много к Нему обращаться, а мне хотелось этого все время; даже не должен часто Ему молиться, потому что так я отнимаю Его у людей, которым гораздо хуже, чем мне. Я знал, что подобных бедняг много, куда больше, чем веселых и счастливых, и все же в моем детстве было так мало настоящего зла и горя, что я этих несчастных, у которых осталась одна надежда — Христос, понимал плохо, и, как ни странно, первым, кто объяснил мне, что это за люди, был все тот же Грозный. После разговора о «Синодикe» я каждый день, а бывало, и по многу раз в день — мне это очень нравилось — стал представлять, точнее, даже разыгрывать в себе, как он умирает. Я представлял, как на смертном одре, перед



лицом Господа, этот страшный человек раскаивается и понимает, что убивал невинных. Он плачет, он молит Господа о милости, о прощении, он кается, он жертвует деньги на помин убитых им душ и сам понимает, как это мало. Только одно было ему дано в жизни — творить зло, он мог убить тысячи тысяч, но воскресить не способен никого. Сколько бы он дал сейчас, чтобы спасти хотя бы единственного из им казненных: уж во всяком случае, свое право убивать отдал бы, не задумываясь, но увы! Впервые он видит всю свою мерзость, всю греховность, и это как бы торжество покаяния, торжество веры в Бога и страха перед Ним, перед Его могуществом, и смирение, и трепет; и не потому, что он боится вечных мук — может быть, впервые он даже не помнит о них, — нет, просто он понимает, как велик и праведен Бог и как мал и ничтожен он сам.

Я очень живо представлял себе терзания Грозного, я очень любил себе их представлять, и, пожалуй, это — то, что я придумывал, — и было для меня христианством, во всяком случае, самым живым из того, что я знал тогда в вере. Молитвы и обращения Ивана к Богу были для меня ярче и убедительнее собственных, я и молился обычно не за себя, а за него, часто и от его имени: мне нравилось и я верил, что я, ребенок, чистая душа, спасу его, вызволю из ада, но главное, почему я за него молился, — во мне тогда крепко засело, что покаяние соразмерно греху и так же, как я не мог сравниться с Грозным во зле, я не могу сравниться с ним в покаянии и в вере.

Отпечаток тех детских молитв, конечно же, остался, да, наверное, не только отпечаток. Вряд ли я ушел от все-

го этого слишком далеко. Вот и сейчас, когда я, начиная работу, раздумываю, как назвать эти записки, первое, что приходит в голову, — в древнерусской литературе был такой жанр как «плач». Думаю, то, что пойдет ниже, это, скорее всего, тоже плач, плач по людям, которых я знал и любил. По людям, которые — так уж получилось — ушли раньше времени, как говорят, до срока, и от которых ничего не осталось, кроме моей памяти. А когда уйду я, не останется и этого. Жизнь этих людей не сложилась, в ней было мало любви, радости, иногда мало смысла, никто из них по-настоящему ничего сделать не успел, и если мы говорим, что, чтобы спокойно уйти, человек должен осуществиться, то им это дано не было. Они мучились перед смертью и ушли скорбя. Умирая, они чувствовали себя обманутыми, обделенными и опальными в этой жизни. Так что в память о детстве я вправе назвать это и моим «Синодиком опальных».

\* \* \*

Первый, кого я хочу внести в него, — Николай Петрович Пастухов, бывший прокурор Фрунзенского района Москвы, с которым я познакомился примерно лет семь назад. Свела нас дорога. Мы оба возвращались из Киева в Москву, ехали в нестерпимо жарком двухместном купе международного вагона, поезд, по традиции, безбожно опаздывал, и мы, уже подъезжая к Москве, со скуки разговорились. У Пастухова был друг, к тому времени несколько лет как покойник, тоже прокурор. Они и учились вместе, и вместе шли по чинам, никто из них вперед

не вырывался, и, по словам Пастухова, они друг друга считали за братьев и чем старше становились, тем были ближе. Тот прокурор, фамилия его была Савин, вторым браком был женат на женщине моложе себя на двадцать лет.

«Отец ее работал в торговле, был оговорен и получил по своей статье почти максимальный срок. Но дочь продолжала хлопотать, и по надзору дело попало Савину. Девочка была совершенно героическая, ей еще не было семнадцати, денег в доме никаких, все конфисковано, мало-мальски сведущие адвокаты ей отказывают, говорят, что помочь ничем не могут (жила она и раньше без матери, кажется, умершей при родах, одна с отцом — теперь у нее и вовсе никого не осталось). Савин сразу к ней проникся и стал помогать. В этой истории были замешаны большие люди, и все было непросто. Однако они вдвоем почти его вытащили, сократили срок сначала до пяти, потом до трех лет, так что он попал под ближайшую амнистию, и вот за месяц до этой самой амнистии он умер. Девочке сказали, что сердце, но Савин по своим каналам узнал, что его забили сокамерники. Девочка была жива только отцом, тем, что она должна его спасти, вернуть, теперь ей все стало безразлично. До дня, пока Савин не решился наконец сделать ей предложение, она два месяца не выходила из дома, он, как нянька, кормил ее, кажется, даже кухарничал. Никого, кроме него, у нее не было, Савин тоже был человек одинокий, — словом, она дала согласие. Знакомы они были года полтора, она успела к нему привязаться, она вообще была добрая, привязчивая девочка; важно было и то, что по возрасту он

был как ее отец, даже немного похож на него, это мне сам Савин говорил, лично я ее отца никогда не видел. Вряд ли она тогда по-настоящему его любила, но потом любила, и сильно, — это точно. Они жили очень хорошо, даже странно, как хорошо, все годы, кроме последних двух. Он уже чувствовал, что серьезно болен, хотя чем и сколько ему осталось — еще не знал. Он, конечно, понимал, что умрет намного раньше, чем она, но вдруг ему стало казаться важным не то, какой она была ему женой, а то, как будет жить без него, когда он умрет, эта молодая красивая женщина; он уже думал о ней только так, отстраненно. По-моему, его поразило, что его не будет, а она останется.

Савин, наверное, немало думал о том, с кем она будет спать и за кого выйдет замуж, но не это главное; он не собирался ей мешать, просто ему было важно знать, как она будет без него, как это будет, когда она есть, а его нет.

Позже, когда он уже знал, что у него рак и жить ему осталось год, самое большее — полтора, ни о чем другом, кроме как что она будет делать, похоронив его, он и говорить не мог. Все прочее отошло на второй план, даже о собственной смерти он помнил только как об условии, только как о том, что даст ей отдельную от него жизнь. Последние свои месяцы он попросту торопил конец, наотрез отказался принимать лекарства, лишь разрешал делать себе снимающие боль уколы.

Жена, конечно, знала, что он думает, и, похоже, он заразил ее своим сумасшествием. Во всяком случае, и она, когда я бывал у них, не могла говорить ни о чем ином,

поминутно начинала убеждать меня, что он неправ, что хочет знать, что с ней будет дальше, что это его совсем не касается, если он будет оттуда следить за ней, это сделает ее жизнь невозможной и невыносимой: нельзя нормально жить, когда бывший муж, да еще покойник, за тобой все время подсматривает.

Она тоже уже его похоронила, тоже уже жила в этой будущей жизни, даже говорила о нем чаще всего «был». Лишь когда я приходил навестить Савина, она вспоминала, что он еще жив, и тут же начинала искать у меня поддержки. Она, конечно, была постоянно на взводе и все-таки по внешности вела себя разумно; было видно, что она следит за каждым своим словом, делает все, чтобы произвести на меня благоприятное впечатление. Она говорила, что была ему хорошей женой, верной и заботливой, ни разу ему не изменила, хотя человек он нелегкий и старше ее на двадцать лет. Но как только он умрет и она его похоронит, ее обязанности по отношению к нему кончатся, нельзя же и вправду от нее требовать, чтобы и дальше она жила им одним. Она настаивала, чтобы я, его самый лучший друг, сказал ему это, объяснил, убедил его, что он не прав. Я говорил ей, что Савин умирает, жить ему осталось считанные недели и на смертном одре никому ничего объяснить невозможно, такие разговоры вести с ним сейчас просто подло, умрет он — и пускай она живет как хочет. Но она уже мало что понимала, рассказывала мне, с кем она будет спать, кто что ей предлагал: поездки на Кавказ там, шубы, драгоценности — все это было правдой, красива она была — дай Бог. Однажды она даже обняла меня, поцеловала в губы и потянула

на диван, причем Савин в это время не спал и дверь в его комнату была открыта. Я не думаю, что она открыла ее специально, что здесь был расчет: вот он еще жив, а она на его глазах спит с его другом. Все было проще — за живого, тем более за мужика, она его давно не считала, а меня хотела подкупить, дать мне взятку, чтобы я сделал так, чтобы он, мертвый, не мешал ей жить. Конечно, она его уже ненавидела, но тоже скорее как мертвого, а он ее любил, тянулся к ней, все старался взять ее за руку, не отпускал от себя и, в сущности, ничего у нее не просил, может быть, просто хотел как отец знать — он ведь ей и в самом деле был не только муж, но и отца ей заменил, — как там она без него будет».

Поезд тогда снова остановился, и я сказал Пастухову: «И что дальше? Она ведь права, а даже если бы была не права — лечь в его могилу вы ведь ее не заставите».

«Да, — согласился он, — первое, что Лена сделала, когда Савин умер, — это составила завещание, по которому должна была быть похоронена совсем на другом кладбище, вместе с матерью».

В Москве мы с Пастуховым продолжали регулярно встречаться, правда нечасто. Я видел, что он привязался ко мне, обижается, если я долго не звоню и не появляюсь, особенно это стало явно в последний год, когда он вышел на пенсию. И все же мне и в голову не приходило, насколько много я для него значил. Я знал, что человек он довольно одинокий, потому что в наших разговорах с ним почти никто, кроме покойного Савина, не упоминался, и все-таки я почему-то был твердо уверен, что со своими сослуживцами дружеские связи он сохранил. А потом

однажды утром позвонила девяностолетняя мать Пастухова и сказала, что вчера ночью он скоропостижно умер. Для меня это было совершенно неожиданно, и я хорошо помню, что и для нее это было тоже непонятно — она все время удивлялась: вот так, совсем не болел и моложе ее на тридцать лет, на пенсию вышел, жить бы да жить; возможно, я передаю ее слова неточно, никакой иронии в них, конечно, не было — лишь недоумение; я что-то ей стал отвечать, утешать, наверное, делал это плохо, и тут она вдруг сказала, что я был его единственным другом и он, уже умирая, говорил ей только обо мне и вспоминал только Савина и меня, а если считать из живых — меня одного. Еще она сказала, что он хотел, чтобы я был его душеприказчиком, и его бумаги она должна передать мне, а я уж как распоряджусь. Я тогда не поверил, что, кроме меня, у него не было близких людей, но похороны все расставили по местам, нас было семеро: его мать, я, представитель от месткома райпрокуратуры, где он работал и состоял на партучете, и оттуда же четверо стажеров, которые несли гроб.

После того первого, «поездного» разговора о савинской жене имя ее во время наших встреч всплывало не раз. Дважды или трижды, когда в ее жизни случалось что-то неожиданное и Пастухов не знал, как поступить, он приходил ко мне советоваться, и тогда мы с ним подолгу о Лене разговаривали; но и кроме этого, она упоминалась почти в каждое наше свидание, так что я неплохо представлял себе, как складывалась ее жизнь после смерти Савина. Я, например, знал, что Пастухов за несколько дней до кончины Савина дал ему слово не только помо-

гать Лене, сделать все, чтобы она была хорошо устроена, но и держать Савина в курсе ее судьбы. Еще при мне Пастухов регулярно, раз в неделю, ездил на могилу Савина.

Потом визиты на кладбище прекратились или, во всяком случае, сделались редкими и необязательными. Я знал их время и как-то, когда Пастухов вдруг назначил встречу на этот день и час, спросил его, и он мне сказал, что уже несколько месяцев ездит к Савину лишь в дни годовщин и только для себя, в остальном нет необходимости — все, что он обещал Савину, делается и без него, Пастухова. За полгода до этого разговора он мне рассказывал, что Лена удачно вышла замуж, муж носит ее на руках. Работает он в торговле, как и ее отец, среди своих Лене легко, хорошо, и она буквально расцвела. Такой красивой он ее не видел много лет. Было ясно, что Пастухов искренне рад и даже испытывает облегчение, что данную часть завещания Савина выполнил: Лена устроена.

Мы тогда заговорили о торговле, о царящем там повальном воровстве: в тот год по Москве гремели судебные процессы директоров крупнейших гастрономов. Пастухов принимал участие в расследовании и знал детали из первых рук. Настроен он был до крайности пессимистично, считал, что воруют все, иначе просто нельзя выжить, но самое страшное — во главе наиболее умелые, так что, стоит их посадить, все сразу разваливается. В итоге гибнет куда больше, чем они разворовывают. Он сказал тогда, что в этом деле замешан и новый муж Лены, правда неглубоко. Он как раз из умелых, да и



берет для того поста, который занимает, немного, поэтому посадят его вряд ли. Если же и до него дойдет очередь, Пастухов ради памяти Савина ему поможет, причем сделает это с чистой совестью, потому что в наших собачьих условиях пользы от него больше, чем вреда.

Однако не все здесь было просто. Пастухов был законник, настоящий фанатик, и то, что ему ради Савина пришлось пойти на прямое нарушение закона, без всяких оснований прикрыть дело мужа Лены, он переживал очень тяжело. Правда, они тогда очень сблизились, словно вернулись к началу своего знакомства. Первые недели после нового замужества Лены Пастухов бывал у них дома часто и как бы на правах посаженного отца; однажды они даже вместе, все трое, ездили на могилу Савина, но скоро отношения с Леной у Пастухова испортились. Почему — догадаться нетрудно: она знала о тех обязательствах перед Савиным, которые он взял на себя, и, конечно, чуть ли не ежедневно видеть в своем доме человека, который за тобой следит и о тебе доносит, было ей не очень приятно. Она много раз требовала от мужа, чтобы он отвадил Пастухова от дома, но тот, словно зная, что Пастухов ему еще понадобится, уклонялся.

Пастухов мне говорил, что посвятил его во все обстоятельства, связанные со смертью Савина, сразу же, как Лена за него вышла, но представить, что он скоро все это принял и согласился помогать, во всяком случае согласился добровольно, я не могу. В сущности, у Лены после замужества началась совершенно другая жизнь, и един-

ственный, кто мог регулярно поставлять информацию об этой жизни для Савина, был он, новый ее муж. Пастухов долго втолковывал ему, как важно для него, Пастухова, чтобы то, о чем просил его ближайший друг, было сделано, убеждал, что Савин имеет на это право как первый муж Лены, что вообще по любым нравственным законам правильно, чтобы последняя просьба умершего была исполнена. Но тот отказывался его понимать, не слушал никаких доводов, только повторял Пастухову, что знает, чем ему обязан, готов для него на очень многое, но рассказывать чужому человеку интимные подробности своей жизни с женой не может. В некий момент Пастухов — разговор был в его квартире, — очевидно, не рассчитав, пережал. Уйдя от него, муж Лены тяжело напился (так он был чуть ли не трезвенник), а когда его привезли домой, полночи грязно ругался, звал жену «блядь», кричал ей: «Ты знаешь, чего хотят от меня твои друзья-менты?!» — и плакал, что все его предупреждали — нельзя их брату родниться с прокурорами. Она тоже плакала, целовала ему руки, говорила, что она сама будет все рассказывать Савину, что они никому ничего не скажут, а Пастухова ему бояться не надо, сделать он ничего не посмеет. В тот раз ей удалось его успокоить, и он заснул. Некоторое время она действительно сама ездила на кладбище, а потом Пастухов сказал, что ей ходить не надо, это всем тяжело, в первую очередь жалко Савина: зачем ему знать, как она его ненавидит. Пастухов это сказал Лене перед самым своим отъездом в отпуск и поэтому лишь много позже узнал, что муж Лены, когда она ему сказала, что к Савину ездить теперь снова будет он, не

говоря ни слова, собрал вещи и ушел. Лена думала, что это конец, и, пожалуй, была рада. Она устала. Но через две недели — Пастухов все еще был в отпуске — он вернулся: он был сильно влюблен в Лену и понял, что оставить ее, что бы ни было, не сможет.

Возвратившись в Москву, Пастухов нашел его уже сломленным и согласным на все. Когда-то Пастухов объяснял мне, что так же обычно бывает и во время следствия: обвиняемый ломается разом и навсегда, стоит в одном-единственном месте пробить его оборону — она рассыпается, и перед тобой теперь человек, который ищет, буквально цепляется за тебя, чтобы скорее покаяться.

«Конечно, — говорил Пастухов, — он боялся, что я его посажу, но и раньше он знал, что я могу его посадить, однако тогда вел себя довольно смело, теперь же, когда он понял, что не может без нее жить, он понял и то, что, если я его посажу, он останется без нее, и испугался, то есть она его, в общем, сломала, а не я».

И еще: он вдруг стал понимать Савина, ведь здесь то же самое — его не будет, а она останется. Пастухов тогда рассказывал, что телефон зазвонил буквально как он вошел, и он сразу догадался, что это Ленин муж. Поздоровались, тот сказал, что вот уже сутки звонит каждый час, а затем без перехода вдруг принялся объяснять ему про Савина, причем теми же словами, какими раньше сам Пастухов, только лучше. Что Савин Лену женщиной сделал, а это, что бы потом ни было, деться уже никуда не может, говорил, что Леной и Савиным прожита вместе целая жизнь и она не должна быть вот так, одним махом, зачеркнута. Что он теперь понимает, кто Савин Лене, и

Лена, конечно, тоже понимает, кто Савин ей, и он больше не намерен ей потакать, когда она пытается сделать вид, что ничего у них с Савиным не было. Естественно, он будет аккуратно ездить на кладбище — здесь вопросов нет, звонит же он потому, что ему необходимо срочно обсудить, что он должен рассказывать Савину, звучало это так: «чтобы Савин и Пастухов и дальше разрешали ему пользоваться Леной».

«Как вы думаете, — допытывался он раз за разом, — стоит ли говорить Савину вот об этом и об этом тоже?..»

«Разговор был не телефонный, — сказал Пастухов, — на следующий день он ко мне пришел, и мы с ним эти детали подробно обсудили».

Много позже я спрашивал Пастухова, проверял ли он Лениного мужа. Он сказал, что трижды, хотя в этом не было никакой необходимости, они ведь продолжали регулярно встречаться, и по его поведению было видно, что их договоренности соблюдаются полностью.

«Люди, когда их сломаешь, — говорил Пастухов, — врать больше не могут, только хитрят по мелочам. Вообще их постоянно, когда надо и когда не надо, тянет исповедоваться, каждому они готовы душу раскрыть; судя по всему, он и Лене сам рассказывал, что ездит на могилу Савина (до этого она была почему-то уверена, что я оставил их в покое), во всяком случае, она как-то прознала, что муж стучит на нее, и не простила ему. Думала с ним порвать — Лена знала себе цену, пару не хуже и не беднее она нашла бы без труда — но тогда она уже начала меня или, что то же самое, Савина бояться, понимала, что я от нее так просто не отвяжусь. И муж ее это знал,

то есть знал, что мы Лену для него как бы сохраняем, но дело не в этом, не в том, что он был признателен мне: просто к тому времени Савин ему стал необходим. Он жаловался ему на Лену, искал сочувствия — в общем, выговаривался, и ему становилось легче».

Савин явно готов был делить с ним обиды и оскорбления, на которые Лена не скупилась, и союз их с каждым днем креп. Был, правда, один период, когда муж Лены повел себя совершенно некорректно. Лена тогда стала ему изменять — вообще она вела жизнь вольную, на условности внимания не обращала, иметь независимую, закрытую от мужа и Савина жизнь для нее к тому времени стало манией, в ней она пыталась спастись, оторваться от них обоих. И похоже, она сознательно делала так, чтобы им вступаться в эту ее отдельную жизнь было до крайности неприятно. Каким-то образом подробности ее жизни быстро становились мужу известны, раз он даже застал ее с любовником, и вот со всем, что он успел узнать и собрать, он сразу шел к Савину и с чудовищной скабрёзностью это ему описывал. Он явно хотел представить, что изменяет она одному Савину, а он здесь ни при чем — просто частный сыщик.

«Он довольно скоро увлекся слежкой. Сыск — засасывающее занятие: добыть, разведать то, что от тебя всеми силами пытаются скрыть, — да и занимался он этим вроде бы не для себя, а для меня и Савина, — говорил Пастухов, — что, конечно, разрешало многие нравственные проблемы».

Продолжалось это месяца два, а потом (Пастухову даже не пришлось вмешиваться) само собой кончилось.

В сущности, Ленин муж был неплохой человек и скоро понял, что ведет себя неправильно: кем бы он ни был — местоблюститель, временная замена, просто пользователь Лены, — изменяла она не только Савину, но и ему. Но суть не в этом: он и Савин действительно с каждым годом становились все ближе, все нужнее друг другу, и я думаю, что если сказать (подобное я не однажды слышал и от Пастухова), что он стал продолжением Савина, здесь не будет большого преувеличения, они и вправду сделались словно одним человеком.

Для мужа Лены это было, вне всяких сомнений, спасением, но я не знал, насколько хорошо он это понимает, и теперь испугался, что когда Пастухов умер, он поспешит все разрушить. Я боялся, очень боялся, что, сделавшись душеприказчиком Пастухова, именно я, используя как палку собранный компромат, должен буду поддерживать сооруженную им конструкцию. Этого я совсем не хотел, я всегда бежал ответственности, не умел и не любил командовать людьми, кроме того, в то время я был уже болен и вряд ли мне это вообще было под силу. И еще одно меня смущало: Пастухову так и не удалось добиться, чтобы Лена переделала завещание и согласилась быть похороненной вместе с Савиним. Следовательно, и это могло остаться на мне, а никаких идей, как все уладить, у меня не было.

К счастью, Пастухов, очевидно, трезво оценивал мои возможности; на пухлом конверте с материалами дела Лениного мужа была приклеена адресованная мне записка с просьбой за ненадобностью конверт уничтожить — это было подчеркнуто, — причем, без крайней нужды, не чи-

тая. И вправду, после смерти Пастухова отношения Лены с мужем по видимости совсем не изменились, вообще ничего не изменилось, во всяком случае, он, как и прежде, регулярно, каждую неделю, продолжал ездить на могилу Савина.

У меня нет особых сомнений, что Пастухов догадывался, насколько прочно выстроенное им здание: именно прочность и устойчивость такого странного любовного треугольника должна была натолкнуть его на мысль, что во всем этом есть нечто чрезвычайно важное и справедливое. Настолько справедливое и правильное, что оно могло оправдать и то, что он нарушил закон, и то, что Лена и ее муж, безусловно, были людьми глубоко несчастными. Он думал, что здесь, может быть, в самом деле находится ключ к пониманию взаимных обязательств мужей и жен, к закону, который сообщит их отношениям равновесие и гармонию. Пастухову очень импонировало то, что он никогда не был женат, значит, ни в чем и никак не заинтересован и может смотреть на эти вопросы, как и должно юристу, бесстрастно и беспристрастно. Он был независим и свободен от любого влияния, глядел со стороны, откуда только и можно увидеть все как есть.

Подобных обоснований его права разрабатывать закон о браке, подчас чрезвычайно тонких и, как я понимаю, юридически безупречных, я обнаружил в бумагах Пастухова много страниц и ждал, что если не вся, то большая часть работы над законом им завершена. Однако в итоге нашел, увы, лишь несколько коротких и не слишком оригинальных тезисов. Все же понять из них, чего хотел Пастухов, нетрудно. Он явно верил в загробную

жизнь, правда, для него она играла подчиненную роль, была несамостоятельной. Люди оттуда продолжали смотреть на эту жизнь, особенно пристально — на жизнь своих родных, которая их по-прежнему занимала, трогала, касалась, однако влиять ни на что они уже не могли. Пастухов считал, что, исходя из этого, мертвые обладают одним неотъемлемым правом — знать, и никакая информация, ни плохая, ни хорошая, не должна быть от них скрыта. Также он считал, что первый брак свят, вступившие в него, как бы ни сложилась в дальнейшем их судьба, должны быть после смерти похоронены в одной могиле, и, прерывая текст, жаловался, что, как видно, не сумел обеспечить этого Савину. Он отдавал себе отчет, что никаких ограничений на вдову наложено быть не может, но думал, что если она будет знать, что мужу известна ее жизнь и она, когда умрет, будет лежать с ним рядом, это само по себе будет ее сдерживать. Вот, собственно, и все.

Разбирая его архив, я ждал чего-то похожего на откровение, может быть, потому, даже наверное потому, что был виноват перед ним — в последний месяц его жизни я ведь так и не нашел времени с ним встретиться, — и, конечно, был разочарован этим результатом. Лишь позже, и то не скоро, я понял, насколько мало надо было Пастухову: ему просто было важно, чтобы я, или вообще хоть кто-то, знал, о чем он думал, а потом дальше думал об этом сам и помнил о нем. То есть эта работа и должна была быть только начата, только намечена им. Он пока лишь хотел принять меня в свою игру, объяснить ее правила, ее законы, а затем мы вместе сели бы и начали говорить о деталях, обсуждать, думать, советоваться, де-



лали бы это неспешно, обстоятельно, соразмерно серьезности и важности темы; не возражал он и против затяжки работы, самой долгой затяжки, потому что, пока работа не кончилась, все это время я бы помнил о нем. И еще: он любил Савина.

\* \* \*

Второй человек, кого я хочу внести в «Синодик», — это Вера Николаевна Рождественская. Она была женой брата моего деда — как такое родство называется короче, я не знаю, — и три года назад мне в руки попали четыре тома ее воспоминаний. Мне тогда даже в голову не приходило, что она жива, что вообще жив кто-нибудь из их поколения. Незадолго перед этим я по вполне определенным причинам стал интересоваться историей своей семьи, ее происхождением, занятиями, нравом, произошло это вскоре после смерти отца и, как я теперь понимаю, было попыткой вместе с прочим наследством перенять все то, что связывало его с родными. Смерть отца оборвала тысячи всяких линий, отношений, и я оказался как бы отрезан от своего прошлого.

Отец, пока был жив, очень мало рассказывал мне о своем детстве, о своих отце и матери, вообще о родственниках; иногда меня это раздражало, и я настойчиво добивался подробностей, но в общем понимал, что он просто бережет меня: позади было много страшного и непростительного, а я был ребенок. Будь у меня дети, я, без сомнения, поступил бы так же, но когда он умер и я после похорон стал понимать и обживать новое свое место в этом мире, фактически его место, — оказалось, что я как бы самозванец, даже сказать мне, кто я и откуда, некому.

Долгое время любые попытки узнать хоть что-то достоверное о нашей семье были совершенно безуспешны: или это был заговор, или о ней и правда никто ничего не знал. Я безрезультатно опросил всех своих дальних родственников — из ближних у меня нет никого, вообще всех, кто, по моим предположениям, мог знать нашу семью, когда вдруг мне позвонила троюродная сестра отца и сказала, что еще жива такая Вера Николаевна Рождественская, которая наверняка знает больше, чем все те, с кем я раньше говорил; если я хочу, можно попробовать договориться с ее дочерью о моем визите. Правда, есть одна сложность: последнее время Вера Николаевна прихварывает и общаться с ней будет нелегко. Через три дня тетка перезвонила и, продиктовав адрес, сказала, что завтра вечером меня ждут.

Между Курской и Таганской, с той стороны Садового кольца, которая ближе к центру, за большим академическим домом, чуть утопленная — надо было по лесенке спуститься вниз, — стояла на три четверти выселенная под какое-то учреждение хрущевская пятиэтажка, она и была мне нужна. Как путь, так и все ориентиры тетка расписала очень подробно и, главное, правильно, но я все равно запутался и пришел на полчаса позже. Встретили меня дочь Веры Николаевны Аня и старая ласковая колли по имени Настя, и я, оправдавшись в опоздании, узнал, что дом этот четвертый, в котором они живут, и все они стоят на одном месте. Сначала здесь была деревянная изба-пятистенка, затем большой, но тоже деревянный дом, потом его снесли и построили каменный для причта двух ближайших храмов, а теперь — эта самая

пятиэтажка, откуда их гонят, но они из этого района уезжать никуда не хотят и вот уже третий год держатся.

Все это Аня рассказала мне, пока я раздевался, после чего повела в свою комнату и принялась жаловаться, что мать с лета болеет и ей трудно общаться с чужими, вообще со всеми, кого она плохо знает. Было видно, что Аня недовольна, что пригласила меня, и не знает, как поступить. В такую дурацкую ситуацию я, честно говоря, раньше не попадал: подняться и попроситься, так и не повидав Веры Николаевны, казалось мне глупым, хотя я хорошо понимал, что мне будут только благодарны. Этот мой визит вообще с самого начала был бессмысленным; какая болезнь имеется в виду, догадаться было нетрудно: Вера Николаевна явно была в маразме, и почему тетка не сказала мне этого прямо, а зачем-то воспользовалась эвфемизмом, я объяснить не мог.

Судя по всему, Аня так же хорошо понимала меня, как я ее, во всяком случае, стоило мне подумать, что у Веры Николаевны маразм, она сразу оставила разговор об абстрактных хворостях и, словно оправдываясь, стала говорить, что раньше у мамы была великолепная память, вообще у них в роду у всех великолепная память; кроме того, мама, как в свою очередь ее мама, с пяти лет была приучена вести подробнейший дневник: записывать обязательно каждый день и все-все, так что она ничего не забывала и не теряла — что прожила, оставалось с ней. Когда же маме исполнилось восемьдесят, то есть три года назад, она решила написать воспоминания о своей жизни, и она, Аня, непонятно зачем ее поддержала, хотя очевидно было, что делать этого не надо. Ведь и так почти

все ее дневники сохранились, а любые непосредственные впечатления, конечно же, живее и искреннее, чем обработанные, отделанные воспоминания. Но это она понимает сейчас, а три года назад она мать очень поощряла, и та, пока не заболела, успела написать целых четыре тома. Эти вот тома и съели ее память. Сначала в семье не обращали внимания, а потом заметили, что стоит маме о чем-нибудь написать, как она перестает это помнить, вернее, помнит очень и очень расплывчато, как бы в дымке.

«В общем, это понятно, — объясняла Аня, — так все, что не попало в дневник, было записано у мамы в голове, и она знала, что должна это помнить, потому что, если забудет, все как бы умрет или даже вообще не рождалось, теперь же помнить это ей больше стало не нужно».

Потом Аня принялась трогательно меня убеждать, что мама прожила тяжелую, страшную жизнь, но не опустилась, сумела одна поднять и вырастить трех дочерей, дать им образование, — было видно, что она ее очень любит, гордится ею и боится, что все это будет разрушено, что я ее заражу тем, как сам буду смотреть на Веру Николаевну. Конечно, ее взгляд на мать был вернее и справедливее, чем мой, потому что сейчас Вера Николаевна была больна, была не в форме, я это понимал, понимал, что не прав, что пришел, и давно уже не стремился в соседнюю комнату. В этой квартире я был чужеродным началом, которое в одночасье могло все сломать, всю длинную жизнь, которую они вместе прожили, все их отношения. По внешности и дальше все осталось бы таким, каким было, но сделалось бы, стоило Ане хоть минуту посмотреть на мать моими глазами, фальшивым и неискренним.

Для меня визит этот потерял смысл: вряд ли в нынешнем состоянии Вера Николаевна могла мне рассказать много интересного; кроме того, четыре тома воспоминаний, конечно же, были ценнее всех разговоров. Я уже собирался попросить их, но тут Аня, решив, что ее любовь к маме должна пройти и это испытание (то есть меня), решительно поднялась и сказала, что нас уже заждались.

После вышеописанной преамбулы впечатление, которое произвела на меня Вера Николаевна, было очень хорошим. Она была статна, суха, и, несмотря на семьдесят лет, в ней хорошо различалась порода. Это была по-настоящему красивая старуха, которую портил лишь большой и, когда она вскидывала голову, нелепо болтающийся зуб. Даже то, что она больна, я понял не сразу.

Представили и встретили меня очень тепло, как старого знакомого: Аня подала чай, принесла красивый пирог, который, как она несколько раз настойчиво подчеркнула, делала сама Вера Николаевна, и именно потому, что должен был прийти я. Вообще Аня все время старалась сказать маме что-нибудь приятное и в этом же духе режиссировала мной. Так что я хвалил пирог после каждого съеденного куса: он и вправду был неплох. Все же ей, конечно, было тяжело с мамой и очень тяжело все это передо мной представлять; позже, когда она убедилась, что мне у них хорошо и я рад, что пришел, — Вера Николаевна в это время сидела за пианино, то играя нам свои любимые вальсы: «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии», то рассказывая о детстве, в частности о русско-японской войне, так что это было кстати, — вдруг сказала, что мама всегда отлично готовила, пытается и

сейчас, но давно путает соль с сахаром и ей, Ане, все приходится выбрасывать и делать наново.

Насколько необратимо больна Вера Николаевна, я понял лишь через час, когда она, устав, стала путаться и повторяться; до этого она говорила нормально, ничего не было сбито и нарушено — ни интонации, ни выражение лица, — и все равно это была очень странная беседа. О моем отце она рассказывала с большой охотой, она ясно помнила, что познакомились они в Новый год, который у нас в семье всегда был любимым праздником и справлялся по возможности пышно. Вера Николаевна вспоминала елку, игрушки, подарки, которые получили другие и она сама, тогда только что введенная в дом.

Тот двоюродный дед, ее муж, очень любил моего отца, они были почти ровесники, отец был самым легким и веселым в этой совсем не веселой семье, и она тоже вслед за мужем быстро привязалась к нему. Все это осталось, она и сейчас говорила о нем очень нежно. В начале нашего разговора я сказал ей, что отец два месяца назад умер, но, видимо, она не могла встроить мое известие в мир, который был в ней закончен и завершен, и где кто живой и кто умер, было установлено раз и навсегда. Вскоре я заметил, что она принимает меня за отца, даже так же называет: Андрюша. Аня это поняла одновременно со мной и несколько раз, испуганная — она боялась, что я буду этим недоволен, — пыталась мать поправить, объяснить, что я сын Андрея, а сам Андрей недавно умер, но мать и от нее это не приняла. В сущности, мне было все равно, и я остановил Аню: я хотел услышать как можно больше об отце и боялся, что она помешает Вере Никола-

евне. Позже я вдруг поймал себя на том, что мне нравится, что меня принимают за отца, видят во мне его и вспоминают так ласково. Все же я решил, что это нечестно, и снова сказал Вере Николаевне, что отец умер, но и на этот раз она меня не услышала.

Внешне мы с отцом очень похожи, и перед собой она видела его, тем более что, когда они виделись последний раз — это было еще перед войной, — отцу было немногим больше лет, чем мне сейчас. То, что Андрей умер, для нее звучало как неумная шутка: какое умер, когда сидит напротив и пьет чай.

В этот вечер я вообще умудрялся все время ставить их в неудобное положение: сначала Аню, которая не хотела пускать меня к Вере Николаевне, но не знала, как отказать, теперь Веру Николаевну. Она легко и с удовольствием вспоминала то, где она и отец были вместе, а когда я спрашивал об отце отдельно, удивлялась: ведь она думала, что я спрашиваю ее о самом себе, и, конечно, ей казалось странным, что я так себя совсем не помню и так собой интересуюсь. Она по-прежнему ко мне хорошо относилась, просто искренне удивлялась, что я это забыл, и лишь один раз за весь разговор мне сказала: «Андрюша, а ты разве сам не помнишь?»

Только после этого я поменял тему. Я спросил Веру Николаевну о ее детстве, очевидно, она была довольна этим, потому что отвечала очень живо. Гимназия, первые бальные туфельки, дача и тамошние любительские спектакли, бойкот немецких магазинов в четырнадцатом году и подаренная ей незадолго перед войной чистопородная овчарка колли — все это она помнила хорошо, со множе-

ством подробностей и, главное, светло, и я был рад, что увел ее от нашей семьи.

Так она говорила минут двадцать, а потом начала упираться в две вещи, которые, очевидно, ее сильно угнетали. Она все время натыкалась на них, все время принималась их заново пересказывать. Обычно делалось это слово в слово, и лишь когда Аня, как я, забывавшая, что мать больна, упрекала ее, она, снисходя, добавляла две-три детали.

Первая история касалась ее любимой старшей сестры. У той было редчайшее по красоте меццо-сопрано. Уже на четвертом курсе консерватории она дважды пела в Большом театре, и считалось, что ее ждет блестящая карьера. Но в девятнадцатом году, когда их семья, как и другие, голодала, сестра со студентом-турком, снимавшим комнату в соседней квартире, поехала за крупой на Волгу. Где-то под Самарой и она, и турок пропали, вернее, отец Веры Николаевны через полгода получил справку, что в самарском госпитале она умерла от тифа, но и сама Вера Николаевна, и вся семья были уверены, что турок выкрал ее, увез в Стамбул и там продал в гарем. Тогда вроде бы такие вещи были не редкостью. Позже они не раз пытались найти хоть какие-нибудь ее следы, даже ездили для этого в Самару, но безуспешно. В сущности, это был крест, который лежал на всех них, их общий грех: каждый мог поехать вместо нее, но поехала она.

Вторая тема, к которой Вера Николаевна все время возвращалась, была связана с моим двоюродным дедом. Они расписались в двадцать третьем году и прожили вместе пятнадцать лет до конца тридцать седьмого, когда дед



был арестован и через три месяца расстрелян. Это был, по общему свидетельству, на редкость счастливый брак. Она родила мужу трех дочерей, была безумно в него влюблена и, собственно, затеяла писание всех этих воспоминаний именно для того, чтобы осталась история их любви. Все годы ее жизни с дедом сохранились в ней, вернее, должны были сохраниться с предельной четкостью, потому что сразу же после его ареста и гибели ее жизнь кончилась.

Из Грозного, где они до этого жили и где ее муж был начальником крупнейших после бакинских нефтепромыслов страны, она, забрав детей, немедленно выехала в Москву и здесь, в доме родителей, в буквальном смысле спряталась. Та ее прошлая грозненская жизнь не только была наполнена дедом, любовью к нему, но и сама она играла в ней достойную, равную ему роль. В частности, она была одним из организаторов популярнейшего в тридцатые годы движения «Жены инженерно-технических работников (ИТР) — большая культурная сила», вела в Грозном кучу разных кружков, читала лекции на заводах и в ФЗУ и даже в том же тридцать седьмом году, за несколько месяцев до его ареста, получила в Кремле из рук Калинина большой и еще очень редкий тогда орден Трудового Красного Знамени. Из-за этого в Москве ни она, ни дочери никогда не ходили на ВДНХ, где чуть ли не до смерти Сталина провисел у входа ее портрет с тем самым орденом: она боялась, что ее опознают и арестуют.

Отъезд из Грозного резко и навсегда оборвал ту жизнь, все, что в ней было; до самой пенсии она, несмотря на высшее образование, проработала машинисткой в какой-то захудалой конторе, жила тяжело и безрадостно, с тру-

дом сводя концы с концами. В новой жизни не было ничего, что могло бы заслонить, отодвинуть то время, которое она прожила с моим двоюродным дедом.

Она с дочерью часто голодала и все-таки сумела их вырастить, поднять. Ане она говорила, что у нее хватило на это сил только потому, что была та жизнь.

Перед моим дедом она была чиста, как только может быть чиста женщина, и все же одна вещь ее смущала и не давала покоя. Брак с ним был второй в ее жизни, раньше она год была замужем за каким-то гимназическим учителем, но еще до знакомства с дедом от него ушла. Сейчас, когда она при дочери говорила со мной, ей не хотелось, чтобы та это знала. Она вообще не хотела, чтобы в ее жизни был еще хотя бы один мужчина, — это оскорбляло ее любовь, делало ее виновной перед мужем, она как бы его не дождалась. Чтобы вычеркнуть этого человека из своей жизни, Вера Николаевна встречу с моим двоюродным дедом отодвигала все дальше и дальше в прошлое, все время уменьшала то, сколько ей было лет, когда они познакомились, пока не сделала себя совсем девочкой.

Роман завязался вполне прозаически. Она гуляла с собакой недалеко от дома, на Яузском бульваре, потом села на лавку, где он читал газету, и они разговорились. Сначала она мне сказала, что ей тогда был двадцать один год, но затем, решив, что могут подумать, что у нее и раньше были романы, стала при каждом повторении уменьшать свой возраст. В конце концов она буквально настояла на том, что все это произошло, когда ей было только пятнадцать.

И главное: то, почему, собственно говоря, я и включил имя Веры Николаевны в этот «Синодик». Весь вечер, что я у нее провел, она подробно, с удовольствием вспоминала свое детство, но когда я спрашивал ее о нашей семье, отвечала уклончиво и неохотно, обычно говорила, что помнит это сейчас плохо, да ей и необязательно теперь это помнить — ведь она все-все записала, и если я хочу, Аня даст мне ее воспоминания. Аня действительно мне их дала, и я взахлеб, за три дня, прочел эти четыре тома; местами они были написаны совершенно блистательно, в других кусках уже чувствовалась ее болезнь, но не в этом суть: кроме той встречи на Яузском бульваре, в них нигде и ни разу не упоминался ее муж, тот, в память которого, ради которого это все и писалось. Яузским бульваром записки обрывались, дальше не было написано ничего, ни единой строчки. Я уже давно думаю об этой истории, но пока никак не могу для себя уяснить: если Вера Николаевна права и все незаписанное действительно уходит, умирает, значит, раз она начала слишком поздно и, заболев, не успела кончить работу, ничего не останется и от ее любви к деду, а то, что она уверена, что воспоминания завершены, — просто самозащита, своего рода сумасшествие; или же и в самом деле все это есть, каким-то образом где-то записано, предположим, у Бога, и, следовательно, уцелеет, сохранится.

\* \* \*

Третий, о ком я буду писать, это Лев Николаевич Толстой. Я уже давно знал, что должен его помянуть, но понял, что готов к этому только сейчас, уже в больнице,

после длинного разговора с двумя его учениками, Морозовым и Сабуровым, прожившими по его заветам один — девять, другой — двенадцать лет в сельскохозяйственной коммуне на Алтае. Это не значит, что все или большую часть того, что тут написано, я узнал от них, это не так: основные факты жизни Толстого рассказал мне в свое время наш сосед по квартире на улице «Правды» Семен Евгеньевич Кочин, о котором ниже я еще расскажу. Однако начать работу я смог лишь теперь, после знакомства с ними — последователями Толстого.

Этот разговор, в котором, кроме нас, участвовало довольно много самого разного народа, долго крутился вокруг двух известных точек зрения на толстовство. Одна заключалась в том, что Толстой создал настолько этически чистое и безупречное учение, что использовать его во зло невозможно, другая утверждала, что среди наиболее жестоких энкавэдовских следователей было немало бывших толстовцев.

Кочин, в тридцать шестом году прошедший в Лефортово через руки подобного следователя, объяснял мне когда-то, почему так получалось.

«Все равно, — говорил он, — лучше людей, чем ученики Толстого, я в жизни не встречал. То есть по одиночке, по личной природе попадались мне, конечно, и не хуже их, но так, чтоб отмеченные одной метой, хорошие через учение — только они, да еще, пожалуй, некоторые сектанты. И на коммунах, которыми они селились, тоже лежала благодать, но уж чересчур далеко они ото всех отошли, однако мостик назад оставили и для многих это сделалось страшным искушением. Толстой, их учитель,

очень скакнул в своих нравственных принципах, как бы совсем себя переделал, то есть при всей добровольности толстовства это все равно было насилие над обычной человеческой природой.

В сущности, цель у толстовцев была почти та же, что у большевиков, правда, средства совершенно иные, ни в чем со средствами коммунистов не согласные, — полная свобода, в любой день можешь выйти из коммуны, в любой — если коммуна не возражает — в нее вернуться, но и так то, что они сообществом, коммуной строили из себя новых людей, спасались коллективом, и то, что цель для них была так близка, позволяло толстовцам легко, как родным, входить в советскую жизнь, чувствовать себя в ней дома. Они уже по несколько лет прожили новой коммунистической жизнью, и она, эта жизнь, воистину была совершенна и прекрасна. То есть они тогда и впрямь под влиянием Толстого порвали с обычной жизнью, со всеми ее компромиссами и слабостью, со всей ложью, грязью и униженностью, которая в ней была, и действительно построили рай на земле, действительно в нем жили. Он оказался так близок, так достижим и возможен, и главное — без чуда, без Бога, при жизни. Это-то, что они уже жили в раю, был их вклад, их приданое, то, с чем они приходили в уже не толстовскую, а советскую коммуны. Шли же они туда, во всяком случае многие из них, просто чтобы приблизить превращение земли в рай; та власть, та государственная машина, которая была у большевиков, могла все это бесконечно ускорить, так ускорить, что не только они, ученики Толстого, а все получили бы долю в этом земном раю, в котором, как и в небесном, блага, сколько

их ни раздавай, — не уменьшаются, наоборот: чем больше вошедших праведных, тем больше у каждого.

В этих толстовцах, вернувшихся назад, в нашу жизнь, чтобы всем подать добрую весть о рае, сказать, что он и в самом деле есть и он точно такой, как говорили пророки от века, и, главное, он совсем рядом, в них, которые, как проводники, хотели всех повести за собой, — если они становились следователями, было намного больше вдохновения и идеализма, намного больше честности, искренности и бескомпромиссности, чем в других следователях. То есть в них вовсе не было сомнения в своей правоте, не было сомнения, что те, кто попал в их руки, действительно общие, общинные враги, враги, сбивающие коммуны с дороги в рай. И еще: эти люди, уже раз сами себя переделавшие, относились с брезгливостью к обыденной жизни; в свое время они тоже за нее цеплялись, но все-таки сумели с ней порвать, и то, что другие продолжают за нее держаться, казалось им неправильным — это была та слабость, та трусость, которая заслуживала не сострадания, а презрения. Вообще люди, особенно остро чувствующие несовершенство этого мира, склонны мало ценить чужую жизнь».

Толстой, говорил Кочин, когда он создавал свое учение о добре, счастье, справедливости, не заметил, что, если он хочет достичь всего этого в той полноте и абсолютности, которая среди людей встречается редко, которая делает их святыми, он должен или быть Богом, или навсегда ото всех уйти, жить один. Раньше для этого уходили в пустыню, потом в монастырь, и это было разумно.

Существовало, хотя и не везде, правило: когда человек покидал «мир», он должен был получить согласие

родных, потому что нельзя уходить в жизнь без греха, причиняя этим боль и горе близким, — добро не должно причинять зло. Потом времена изменились, в монастырь теперь мало кто шел. Попытка же жить по-новому, никуда не уходя, превращала все в ложь — так было всегда, и здесь ничего не поделаешь. Чтобы избавиться от этой лжи, у людей, остающихся в миру, был лишь один путь — покончить со всем, что было прежде, вычеркнуть его из жизни, вычеркнуть за то, что оно несовершенно. Человек, уходя в монастырь, может уйти и от своего прошлого, — оставшемуся это не дано, но ни один, ни другой не должны, не имеют права трогать прошлое, если оно не только их.

Человек не властен над чужим прошлым, говорил Кочин, то есть даже если он эту власть и имеет, он не может, не должен ее использовать. Нельзя убивать прошлое, общее с другими людьми, нельзя так расчищать место для новой правды. И еще: Богом устроено, что добро, которое ты хочешь принести всем людям, не искупит зло, принесенное близким. Добро очень зависит от расстояния. Обращенное на людей, которых ты любишь, оно всегда больше, чем розданное, распределенное среди всех. Если ты ради всеобщего блага причинишь боль близким, зло будет больше, и от этого никуда не деться.

Конечно, трудно примириться с тем, говорил Кочин, что надо уходить, что все, что ты понял, — это только для тебя, что даже люди, ближе которых у тебя никого нет, люди, с которыми ты прожил целую жизнь, которых любил, которые рожали тебе детей, не хотят разделить это с тобой, что они заталкивают это в тебя обратно, за-

тыкают уши, только бы не слышать о том, что тебе представляется самым чистым и прекрасным и самым открытым для всех, что ты мечтаешь всем и без остатка отдать, зная, что дар твой, сколько ни раздавай, не оскудеет, зная, что это те хлебы, которые, сколько ни отламывай от них, не оскудеют, — а они это заталкивают в тебя обратно и не хотят ничего понимать. С этого и начинается практическое осуществление идеи. Почему они отказываются от того, что так прекрасно, почему не хотят принимать, почему не меняют зло на добро, не дети ли они неразумные, и не твой ли долг — долг отца и учителя — взять их за руку и вывести на правильную дорогу?

Нет ничего опаснее учительства, говорил Кочин, отец не отвечает за сына, сын — за отца, но учитель отвечает за учеников. Откажись от учительства: неправда, что если ты знаешь нечто хорошее и не научил, не передал, — это грех. Если ты учитель, тебе нужна власть. Власть многократно усиливает действенность твоих уроков, и ты должен хотеть, чтобы ее было больше и больше, ты должен любить и хотеть ею пользоваться.

Страшное дело — отказ от прошлого, на всей или почти всей жизни ставится крест; то, что было в ней, объявляется злом, неправдой и отсекается, жизнь человека рвется по живому, и выйти из этого здоровым невозможно. Восторг обретенной правды хоть и может подавить, дать забыть прошлое, все же сзади — пустота, провал. И еще: в этом рождении не из материнской утробы, а из идеи — все искусственное и ненатуральное, и мир, который создают в себе и вокруг себя люди, переписавшие свою жизнь, сумевшие в середине пути подвести ей итог, вы-



нести приговор, сумевшие очиститься и родиться снова, — такой же искусственный. Этот мир отлично приспособлен к переделкам, его просто конструировать, он мобилен, но другие люди — люди, не умеющие легко отказаться от того, что было раньше, — в него никак не вписываются; он быстр, и они не успевают за ним.

Толстой, говорил Кочин, был очень хороший человек: он боролся против смертной казни, мечтал о нравственном самосовершенствовании, мечтал о том, чтобы здесь, на земле, все было так, как хотел Христос. Но чтобы это осуществилось, он готов был отказаться от своего, и не только от своего прошлого, и тем, кто был к нему ближе всего, тем, кто любил его, он поломал жизнь.

Я и сам знал, что многие годы семья Толстого жила очень тяжело, что начиная с 80-х годов жена и он расходились все дальше, и вместе с женой от него уходили дети, кроме разве одной дочери, а место их занимали его ученики. Я знал, что он долго искал примирения с семьей и, когда оно оказалось невозможным, когда все, что он делал и говорил, только разводило их дальше и дальше, ушел из Ясной Поляны и через десять дней после ухода умер на железнодорожной станции Астапово, в доме начальника станции, который подобрал его на перроне.

Отец Кочина 1901—1907 годы прожил в Канаде то как корреспондент газеты «Либерасьон», то как простой фабричный рабочий. Для своей газеты он много писал об устройстве в Канаде уехавших из России духоборов, посылал эти статьи в Ясную Поляну, даже получил от Толстого короткую записку с благодарностью и потом несколько лет регулярно переписывался с Чертковым. В те годы он уже

был социал-демократом и среди них тоже принадлежал к крайне левым, почему и примкнул потом, после семнадцатого года, к коммунистам. Но взгляды его скорее напоминали взгляды Богданова, а не Ленина; во всяком случае, он был убежден, что марксизм — религия, а Христа почитал как предшественника Маркса. Через отца Кочин и стал интересоваться Толстым. Отец боготворил Толстого и всецело был на стороне его учеников; Кочин же считал, что Толстой был фактически похищен из семьи и из Ясной Поляны, что похищение это растянулось почти на тридцать лет и только в последние дни его жизни, неправдоподобно ускорившись, убило его. Обычно ученики похищают учителя и его дело после его смерти — здесь они похитили его при жизни. Он умер из-за них, но бежал он к ним, и правыми оказались они. Он — жертва своих учеников, как и многие другие учителя, но породил их он сам.

Чтобы доказать это, Кочин даже сделал из дневниковых записей и писем схему семейной жизни Толстых. Первые семнадцать лет брака Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевны Берс были, писал он, счастливыми, почти идеальными. Они любили друг друга, пожалуй, даже были влюблены друг в друга, и найти, что разделяло их, очень трудно: кажется, ничего. Еще холостым Толстой мечтал о жене-матери, а не о жене-любовнице, и та, на которой он женился, почти каждый год рожала ему детей и сама выкармливала их. Но после десятых родов она стала бояться новых беременностей. Разрыв супругов к этому времени зашел уже далеко.

Отношения начали ломаться еще в семьдесят девятом году. В письме Страхову он говорил: «Для моего дела

смерть моя будет полезна». Тогда же Софья Андреевна пишет о нем Т. А. Кузминской: «Левочка вдался в свою работу, в посещение острогов, судов мировых, судов волостных, рекрутских приемов, в крайнее соболезнование всему народу и всем угнетенным. Это так несомненно хорошо, велико и высоко, что только больше чувствуешь свое ничтожество и свою гадость». (1880 г.) В восемьдесят четвертом году она пишет сестре: «Вчера Сергей Николаевич вернулся из Тулы и видел Левочку в Ясной Поляне. Сидит в блузе, в грязных шерстяных чулках, растрепанный и невеселый, с Митрофаном шьет башмаки Агафье Михайловне... Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радостей, ни просто обязанностей, и у меня все больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболēju ли я, не разобьют ли меня лошади, — только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни».

В том же году он пишет в дневнике: «Сожитие с чужой по духу женщиной, — т. е. с ней, — ужасно гадко».

Отношения их еще нередко и надолго налаживаются, но потом они окончательно расходятся. В конце 80-х годов Толстой не просто рвет эти отношения — он отрекается от их общего прошлого. До этого он всю жизнь считал, и это было для нее самым важным (письмо Черткову, 1888 г.), что «деторождение в браке не есть блуд... Это

не грех, а воля Божия... Недаром Христос хвалил детей, говорил, что их царство небесное... Только на них вся надежда. Мы уже изгажены, и трудно нам очиститься, а вот с каждым поколением в каждой семье — новые невинные чистые души, которые могут остаться такими». Теперь он стал говорить ей, что брак не есть одна из форм служения Богу. Брак всегда падение, удаление от Бога. Об этом и «Крейцера соната», «Дьявол» и написанные потом «Отец Сергей» и «Воскресение». Она пишет: «И вот я переписываю статью Левочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что я стремилась всей душой к тому благу самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба послала мне семью, я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого?» (Дневник, 1887 г.)

Она пишет: «И если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум?» (Дневник, 1890 г.)

Возможно, говорил Кочин, что Толстой ждал, что его дети будут и его учениками, что жена родит ему учеников, которые пойдут за ним. Но она не умела рожать учеников, умела только детей, и тогда он сам ушел от них, ушел к ученикам.

Но сильнее всего Толстой прошелся не по жене, а по старшему сыну Льву Львовичу Толстому. Они были необычайно, буквально как две капли воды похожи друг на

друга. Когда отец начал отходить от семьи, сын стал бороться с ним: сходство заставляло его быть равным, и одно время он даже писал на темы поздних романов Толстого небесталанные контрроманы. Но потом сын сломался, заболел нервным расстройством и уехал из России. Можно только пожалеть, что он не сошел с ума и до конца своих дней знал, что он Лев Львович, а не Лев Николаевич Толстой. Оказавшись впоследствии в Америке, бедствуя там, — это было уже после семнадцатого года — Лев Львович в Голливуде стал сниматься в кино в роли отца и, неплохо рисуя (в юности он несколько лет учился в Париже), с себя рисовать его портреты. Вряд ли легко найти другие примеры такой полной капитуляции.

В том, что говорил Кочин, конечно, много правды, и я недаром все это здесь цитирую, но история взаимоотношений Льва Николаевича и Льва Львовича далеко не так проста, как ему представлялось. Все куда печальнее. Дело в том, что старший сын Толстого, тоже названный Львом, был на самом деле или самым Толстым, или его братом. Тут не может быть никаких сомнений. Домашний врач Толстых Глюк говорил коллегам, что уверен, что это однойцевый близнец Льва Николаевича, чье развитие по неизвестным причинам задержалось, и он сумел развиться лишь позже, уже в утробе жены Толстого Софьи Андреевны Берс.

Глюк говорил, что любовь Берс к Толстому его всегда поражала, это была классическая любовь матери к сыну, и то, что Берс фактически родила Толстому его самого, выносила такого же Льва, как и мать Льва Николаевича, все превосходно объясняет. Конечно, о таком продолжении

себя любой нормальный человек, особенно человек отчаянно, как Лев Николаевич, боявшийся смерти, может только мечтать — ведь ему удалось то, что удавалось совсем немногим: продлить свою жизнь на еще целую человеческую жизнь, видеть, как ты сам растешь и развиваешься, как делаешься таким, какой ты есть, оставаясь самим собой, видеть себя со стороны, знать, что это ты и вот какой ты на самом деле. Льву Николаевичу удалось воскреснуть не умирая, а это немногим, поверьте мне, немногим дается: ему две жизни были дарованы, и обе очень длинные, но он этого не оценил. И вот, когда Лев Львович стал подрастать и для всех стало очевидно, что это Лев Николаевич и есть, Толстой стал доказывать, что это не он, а просто его и Берс сын; конечно, в нем что-то есть от него, как в каждом ребенке что-то есть от отца, но не более того. В старшем Толстом уже накопилось много эгоизма, он как бы чувствовал себя завершением цепи: все поднималось до него, а он — вершина, и дальше идти в его роду некуда, он — конец, и продолжать его не нужно, это профанация. Толстой только один и может быть. Вообще не стоит думать, что такие случаи с близнецами — из ряда вон выходящая редкость, так, недавно в Китае у человека, жаловавшегося на постоянные боли в желудке, удалили во время операции часть челюсти, ребро и пучок волос его брата-близнеца, съеденного им еще в утробе матери; подобный же случай был в этом году в Индии, где врачи из живота больного извлекли даже мягкие ткани, а также совершенно целую затылочную кость.

Эти истории взволновали толстовцев, особенно Морозова, и они, перебивая друг друга, стали обсуждать кон-

фликти и соперничество между братьями, начавшиеся еще в утробе и происходившие так же жестоко и кроваво, как между Каином и Авелем. Но и остальные два эти случая, закончившиеся каннибализмом, потрясли, и все сошлись на том, что, узнав, что ты съел своего брата, жить после этого невозможно, иначе никакой нравственности не существует вовсе. Второй же толстовец, Сабуров, забыв, что речь идет о его учителе Толстом, сказал: «Какова все-таки человеческая психика, как все-таки человек умеет то, что ему не нужно, хорошо забывать и ощущать себя чистым и непорочным! Ведь эти люди, наверное, даже не чувствуют вины, не испытывают никакого раскаянья, словно поедали не они, как же это гадко и омерзительно!» Но Сабурова поддержали не все. Кто-то сказал, что, возможно, это было ритуальным убийством: убивший и съевший своего брата-врага, по поверью, наследовал его силу и ум; возможен и иной вариант. Толстой голодал или, вернее, оба они голодали и поняли, что выжить из них может только один, и тогда был брошен жребий. Это была страшная трагедия для обоих, но тот, кто спасся, наверное, поклялся своему брату, что проживет жизнь за них двоих. Они обнялись и поцеловались. Так что все это должно вызывать не омерзение — напротив, это пример высшей нравственности, пример героизма и самопожертвования, и только то, как прожил жизнь уцелевший из двух, покажет, достоин ли он был дара.

«На подобных примерах, — добавил кто-то, — мы должны учить наших детей, а не отбрасывать их как нечто постыдное. Кроме всего прочего, — сказал тот же

человек, — у нас, в сущности, вообще нет оснований предъявлять Толстому обвинение в убийстве; строго говоря, своего брата он не съедал, а просто задержал на несколько десятков лет его развитие. Меня гораздо больше печалит то, как вел себя Лев Николаевич Толстой, когда его брат все-таки родился. С упорством, достойным лучшего применения, он объяснял Льву Львовичу, что он не Лев Николаевич, — это все равно как если бы мать, мечтающая, что у нее родится мальчик, родив девочку, начинает воспитывать ее как мальчика, объяснять ей, что она и на самом деле мальчик; в итоге девочка вырастает с мужскими манерами и ухватками и потом несчастна всю жизнь. Или даже кончает с собой, потому что не может вынести раздвоения.

Лев Николаевич рассчитывал, что, воспитывая сына совсем не так, как воспитывали его самого, он сделает из него другого человека. Толстой вообще считал, что среда играет намного большую роль в воспитании, чем наследственность. Так, он всячески мешал попыткам Льва Львовича писать, напротив, поощрял его отъезд во Францию, где Лев Львович принужден был ряд лет учиться скульптуре. После его возвращения в Россию, когда со всей очевидностью выяснилось, что способности сына к ваянию крайне ограничены, он продолжал делать все возможное, чтобы тот и не приближался к литературе. Толстой при каждом случае объяснял Льву Львовичу, что писателя формирует жизнь; так, его, Толстого, сделала писателем война и пребывание в Севастополе. Кроме того, прозаику необходимо внутреннее спокойствие, которого у Льва Львовича нет, он нервен, неровен и писать по-



настоящему, как пишет сам Лев Николаевич, никогда не сможет».

Особые споры вызвали у нас контрроманы младшего Толстого. Морозов считал, что у Льва Львовича просто не могло быть отличных от отца сюжетов и он, давая своим героям иную — иногда диаметрально — трактовку, просто пытался, как и хотел отец, отделиться от него. Резко, для всех явно продемонстрировать, что он совсем другой. То есть он принял правила, навязанные старшим Толстым, и вел себя как его сын. Но Толстой не оценил, не захотел это понять, принял за издевательство...

Однако я с этим морозовским толкованием контрроманов не согласен: известно, что они, в отличие от новых романов Льва Николаевича, продолжали линию раннего Толстого. Так вот, я думаю, что именно старший Толстой, пытаясь отмежеваться от Льва Львовича, сознательно перестал быть прежним, искусственно себя переделал; возможно и то, что он наконец понял, как глубоко был не прав перед братом-сыном, и оставил ему продолжать себя, сам же стал другим. С этого времени истинным Толстым стал его официальный сын, его и следует нам изучать.

Конфликт между братьями продолжался и дальше. В конце концов теперь истинный Толстой — Лев Львович — уехал в Швецию, где у известного врача Эрнста Теодора Вестерлунда долго лечился от невротозов, а старший Толстой бежал из Ясной Поляны — всеобщее бегство от себя.

После смерти Льва Николаевича Толстого и особенно после революции все постепенно приходит в норму. Как и должно, Льва Николаевича играет в голливудских филь-

мах Лев Львович, и с себя же он в минуту острого безденежья рисует автопортреты великого Толстого.

И последнее: возможно, что большевики решились на коллективизацию, глядя на такие процветающие и такие изобильные толстовские коммуны.

\* \* \*

Четвертый, кого я хочу помянуть, — это вышеназванный Семен Евгеньевич Кочин, наш сосед по коммунальной квартире в доме на улице «Правды», где я с родителями прожил до своих пятнадцати лет. Потом мы получили отдельную квартиру совсем в другом районе, на Ленинском проспекте, и я после переезда видел Кочина всего дважды, второй раз чуть больше года назад, за месяц до его смерти. Так что можно считать, что я с ним попрощался. И при мне, и позже Кочин жил со своей сестрой, тихой, неприметной старой девой, относящейся к брату как к ребенку, — к нему вообще все относились как к ребенку, я, например, с детства был уверен, что он мне ровня.

Комната Кочиных в квартире была самой большой, но предельно странной формы. Та ее сторона, где находилось окно — оно выходило на юг, — была совсем узкой, собственно говоря, там только это окно и умещалось, однако дальше комната расширялась, образуя настоящий параллелепипед, который Кочин предпочитал именовать «зрительным залом». Из тех же соображений его кровать (вставал он с нее крайне редко) звалась «королевской ложей», а старые льняные занавески — «театраль-

ным занавесом». Следуя кочинской логике, все, что было за окном, следовало бы назвать сценой, точнее даже, сценой жизни, но для него вряд ли это было так: жизнь за окном интересовала его мало; пожалуй, после освобождения из лагеря он никогда не стремился выйти из своей комнаты, заглянуть за стекло, которым комната кончалась. Он вообще ценил завершенность и границы, мир его был плоским, как экран кино, он намеренно отказался от глубины сцены ради четкости и ясности изображения или потому, что не мог совладать с масштабом. Однажды он говорил мне, что в юности учился на художника, считался довольно талантливым колористом, но никак не мог научиться перспективе — этому сознательному искажению всех размеров ради достижения истинности.

День свой Кочин начинал с того, что искал в неровностях занавесочной ткани человеческие лица; если они были добрые, он немедленно приходил в хорошее настроение, вставал и до вечера был добр и весел; плохие лица, наоборот, вгоняли его в тоску, часами он совершенно неподвижно лежал в постели и смотрелся тяжело больным. Все это было достаточно серьезно, и когда-то давно, еще до моего рождения, сестра пыталась его лечить, клала в больницы, водила к хорошим врачам, но дело оказалось безнадежным, и в конце концов его оставили в покое. Впрочем, некоторая польза от хождений была: он был признан инвалидом и стал получать микроскопическую пенсию. Лет с пяти, после смерти моей бабушки, я бывал у Кочиных по многу раз в день, иногда просто проводил у них все время; квартира наша утром и уже до вечера, когда люди возвращались с ра-

боты, вымирала, один я оставаться не любил и шел к ним — в единственную комнату, где всегда кто-то был. Естественно, что очень быстро он и меня пристрастил к своему занятию: каждый из нас хвастался найденными лицами, но потом сам Кочин решительно это пресек. Дело в том, что нередко, когда ему попадались хорошие лица, я отыскивал злые, на него это действовало, он мрачнел, снова ложился в постель, и сестра меня выгоняла. Пожалуй, это был первый человек в моей жизни, который относился ко всему серьезнее, чем я; довольно скоро я научился жалеть его и обманывать.

Свой хороший день Кочин начинал с того, что расшторивал окно; занавес, закрывающий сцену, убирался, но света в комнате это не прибавляло. Дело в том, что все стекло, насколько я сейчас помню, кроме форточки, было заклеено тонкими — на каждой помещалось всего несколько строк текста — полосами исписанной бумаги. Из-за них в комнате даже в солнечный день был полумрак и горела электрическая лампочка. Мне это нравилось: я люблю электрический свет. По словам Кочина, вместе эти полосы составляют автобиографический роман, который, в силу бедности его жизни событиями и, соответственно, причинно-следственными связями, состоит исключительно из отдельных мыслей и зарисовок. Мысли же приходят в голову вне всякой системы и логики, во всяком случае по внешности; найти их каждый раз заново — и есть его ежедневная работа писателя. Логика, конечно же, наличествует, потому что все это рождено им, но она внутри, а кроме того, непостоянна, текуча и изменчива.

На практике его представление о писательском труде воплощалось следующим образом. В день, когда у него не было депрессии, он все утро рисовал подробнейшую схему развития своего романа: то есть как, в какой последовательности читать сегодня эти наклеенные на окне строчки; делалось это обычно красным карандашом и больше всего напоминало карту кровообращения. Очевидно, такая ассоциация устраивала Кочина, потому что сам он никогда не забывал подчеркивать, что роман — живое существо, которое, как человек, живет и дышит, растет и развивается. Потом, когда схема бывала закончена и к нему кто-нибудь приходил, он ловко взбирался на прислоненный к подоконнику стол и, ходя по нему, приседая, вставая на цыпочки, садясь, читал в точном соответствии с планом написанное. Зрелище это было занятное до крайности. Но чтобы читать, Кочину был необходим слушатель, ему обязательно нужно было видеть реакцию на текст, и он успевал все время оглядываться, хотя читал быстро и без запинки; правда, слушатель подходил любой, может быть, кроме сестры, во всяком случае, я — пяти-шестилетний ребенок — его вполне устраивал.

Зачем он наклеивает то, что пишет, на окно, Кочин объяснял мне неоднократно, но всякий раз иначе; правда, ни один из его ответов, в общем, другому не противоречил. Началось это, кажется, во время войны, когда стекла, чтобы они при бомбежке не вылетели, заклеивались крест-накрест бумажными лентами. Кочин выделил тогда сестре на эти нужды несколько страниц романа и стал утверждать, что его писания не дают миру окончательно

разрушиться и распасться на части. Еще он говорил, что так теплее, его роман греет их и не дает замерзнуть; что роман должен прокалиться на солнце; что он должен быть прозрачен и, раз в их комнате все время горит электричество, до конца работы еще далеко. Говорил он и то, что не может держать его в столе, — живое нельзя лишать света, что вообще роман больше всего похож на растение и живет за счет фотосинтеза. Что же на самом деле представляет собой написанное Кочиним, ребенком я, конечно, судить не мог, хотя после первого прочитанного мной романа — диккенсовского «Оливера Твиста» — подозревал, что вряд ли его полоски можно назвать этим словом. Но я был привязан к Семену Евгеньевичу, пожалуй, можно сказать, что любил его и никогда не выражал сомнений.

И все-таки, что это было, я сейчас знаю. В мое последнее посещение Кочина — я поехал к нему вслед за звонком его сестры, сказавшей, что он неизлечимо болен, через месяц-два умрет и было бы хорошо, если бы я с ним попрощался, — он действительно уже не вставал, но был весел и определенно мне рад; не успел я поздороваться и раздеться, он вручил мне новую, кажется, только что законченную схему и погнал на стол читать. Дело это было совсем не легкое, и не только потому, что мне приходилось совершать замысловатые телодвижения, чтобы уследить за ходом его мысли, зашифрованной в стрелках и цифрах; здесь он мне все время помогал, интенсивно жестикулируя и давая бодрые указания: вверх-вниз, налево-направо, в угол и т. д., хуже было другое: многие листки выцвели, почти везде они были наклеены в два-три слоя, буквы просвечивали

друг через друга, строчки налагались, и я ежеминутно путался. Тем не менее с заданием я справился, прочитал кусок, который он хотел, а потом, поскольку все это показалось мне небезынтересным, даже попросил разрешения переписать, чем он был очень польщен. Таким образом, часть им написанного у меня есть; конечно же, это никакой не роман, наверное, правильнее всего назвать то, что он писал, циклом стихотворений в прозе или, может быть, цепочкой совсем уж микроскопических рассказов. Скорее, это все же стихи.

«Я шел в деревню. Чтобы попасть в деревню, мне надо было перейти три ручья. Я перешел первый, перешел второй, вошел в третий. Когда я вошел в третий ручей, я услышал шум. Это вода билась о мои ноги. Я решил посмотреть, как вода бьется о мои ноги. Она билась красиво. Я никуда не спешил и решил посмотреть еще. С тех пор прошло семьдесят два года. Значит, это было до революции.

Один человек думал, что моя жизнь — чашка. Случайно он уронил чашку и разбил мою жизнь. Он разбил мою жизнь, извинился и ушел. Всю ночь жена собирала осколки. Она собирала и клеила их. Утром она спрятала чашку в безопасное место. Потом она ушла к этому человеку. Как у солдата, у меня перед дождем болят старые раны.

Болото высохло, и мох стал похож на овец. Много людей видели мох, и все говорили, что это овцы. Овцы дают шерсть, дают кожи, дают мясо. Все это овцы дают. Все это овцы дают нам. А что они оставляют себе? О себе

они забывают. Они альтруисты. Они хорошие. Если мох стал овцами, это хорошо. Ура! Я трудоустроен. Мне сделали шалаш и велели сторожить овец. До зимы перекантуюсь.

Напротив окон моей комнаты крыша девятиэтажного дома. С некоторых пор эта крыша — бойкое место. По ней все время ходят люди. Одни люди идут по делам, другие просто гуляют. Мои симпатии целиком на стороне первых. Люди, которые идут по делам, всегда идут прямо. Когда они доходят до края крыши, они прыгают. В их прыжках есть сила, напор, расчет, стремительность и деловитость. Те, кто просто гуляют, дойдя до края, поворачивают обратно. Или садятся на раскладные стулья и смотрят вниз. Я часто думаю, есть ли между теми людьми и этими хоть что-то общее. Жена говорит, что есть. Жена говорит, что их легко можно скрестить. Она говорит, что не пройдет и года, как на крыше будет полным-полно маленьких мулов. Если это так, значит, она выиграла у меня шоколадку.

Днем и вечером снег таял. Под утро он замерз. Стало скользко. Люди стали ходить, как канатоходцы. Они стали держаться за воздух, как старики. Они стали падать, как дети. Они стали мягче.

Когда Христос ходил по воде, оставил ли он следы? Если нет, значит, оставить следы на земле легче, чем на воде. Если нет, значит, земля и вода — не одно и то же. Значит, Господь действительно разделил их.



В аллее деревья стоят в ряд. Они построены, как солдаты. Аллея — это регулярный лес. Растить аллею долго и трудно. Но есть новаторский способ. Солдат надо зарыть в землю. Каждый день их надо поливать. Тогда весной они прорастут и пустят побеги.

Сегодня я написал руководство для птиц. Взрослая птица, которая хочет стать птенцом, должна уменьшиться в росте. У нее должен измениться взгляд на жизнь. Птица, которая хочет родиться заново, должна оставить эту мысль.

Я стою на высоком месте. Здесь опасно. Дальше глубокий провал. Я смотрю вниз. У меня кружится голова. Но я все равно смотрю. Внизу растут деревья. Я стою над ними, я — птица, которая летает стоя. Ниже деревьев болото. Преисподнюю залила вода. Человек рухнул как подкошенный. Он понял, что он трава. Он понял, что вокруг луг. Он понял, что уже время. Время сенокоса. Птица села на ветку, ветка качнулась. Птица слетела с ветки, ветка качнулась. Думаю, что это уже не первый раз. Думаю, что все уже было. Глубокое лесное озеро. Дно завалено упавшими деревьями. Среди веток медленно ходят рыбы. Между собой деревья зовут их птицами.

Всю зиму я ухаживал за снежной бабой. Я полюбил ее. Мне нравилось, что у нее простое лицо. Мне нравилось, что у нее большой живот. Я вообще не люблю воздушных барышень. В марте она наконец согласилась стать моей. Мне было с ней хорошо. Мне нравилось, что она

ревнует меня к другим снежным бабам. Когда стало тепло, я увез ее на север. Моя любовь спасла ей жизнь. Зимой мы снова вернемся назад.

Я долго-долго болел. Я уже свыкся со своей болезнью, привык к ней. Она стала моей частью. Старел я, и старела моя болезнь. И все-таки она умерла раньше меня. Я похоронил ее в себе.

1936 год. Москва. В окне первого этажа стоит голая женщина. Она красива. Она хорошая мать. Она ждет меня. Она ждет каждого, кто видит ее в окне. Каждый может вложить в нее то, что имеет. В любой момент то, что вложил, он может взять обратно. Все будет возвращено ему в целостности и сохранности. Плюс проценты.

«Как же зовут эту женщину?» — спросил учитель.  
«Сберкасса», — крикнул я с места.

«Лед, — сказал учитель, — это организованная вода. Это вода, у которой устойчивый быт. Лед хороший производственник и надежный товарищ».

«А река, — сказал я, — как же река?»

«Река, — сказал учитель, — тоже хороший производственник, если она течет сверху вниз».

Пустыня. Желто-серый такыр. Покров земли пошел трещинами и распался на части. Трещины глубокие. Уже ничего не склеить. Ветер пересыпает песок. От подножья бархана — вверх, полого и медленно. Власть должна быть воспитанна. Потом круто вниз. Всякий, достигший

власти, достоин забвения. Если хочешь сделать революцию, так и делай ее. Пересыпать песок — славное занятие. Им можно заниматься всю жизнь».

Напоследок, когда я уже был в дверях, Кочин сказал мне: «Толстой предвидел, что из его учения может произойти зло. Он говорил Софье Андреевне, что ученики — те же дети, только ущербные, воспитанные без материнского тепла. Много раз он просил, уговаривал жену, чтобы она обращалась с ними как с их общими детьми, вернее, еще лучше, еще внимательнее, как относятся к больным детям, сиротам. Был и еще один способ избежать зла: Софья Андреевна должна была согласиться кормить учеников Толстого грудью, как собственных детей. Толстой, плача, молил ее об этом, но она, по словам Черткова, на все его стенания холодно отвечала, что на всех молока у нее не хватит, а потом, чтобы все это прекратить, даже перевязала груди бинтами, так что их последнего ребенка тоже выкармливала не она, а кормилица. После этого у них все и порвалось, а через несколько лет он, чтобы ученики не чувствовали, что никому не нужны, совсем ушел к ним».

\* \* \*

Все-таки Кронфельда я дождался. Он вышел ко мне сам, отвел в кабинет и там, выслушав, сказал, чтобы к следующей среде я уладил неотложные дела — в этот день в отделении освобождается место, и он готов меня положить. В больнице мне придется пробыть долго, не мень-

ше полугода, потому что курс при тех дозах, которые я буду получать, очень растянут. Может взять он меня к себе и в другое время, правда, койки, выделенные для испытания препарата, у него появляются нечасто, и ждать, скорее всего, придется месяцы. Если же среда мне подходит, то я накануне, во вторник, должен позвонить по телефону, который он мне сейчас даст.

Неделю, которая была оставлена на раздумья, я провел спокойно. В сущности, все мои страхи были сбиты его бодрым тоном, даже срок, который придется провести в больнице, не особенно пугал. Наверное, он был хороший врач, потому что при всей моей мнительности ни разу за весь разговор его честность не вызвала у меня сомнений. В общем-то, он меня и не обманул. Во вторник, как и было договорено, я позвонил, подтвердил, что ложусь, а в среду — это было десятое число — мама и тетка проводили меня до приемного покоя. Здесь я переделся в казенную пижаму, после чего они сдали меня с рук на руки медсестре и, поцеловав, ушли. Мама плакала, но, кажется, больше для порядка, она уже давно была измучена ожиданием моих припадков, тем, что никуда не может отпустить одного, теперь больница соглашалась ей дать отдых, передышку, и даже была надежда, что меня совсем вылечат. Конечно, ей хотелось в это верить. Во всяком случае, ей твердо обещали, что хуже не будет, и в больнице она оставляла меня со спокойной душой.

Корпус, в котором был приемный покой, находился почти у самой Яузы, на задах того двенадцатиэтажного здания, где был кабинет Кронфельда. Это был старый, возведенный еще до революции дом. Проектировали его,

очевидно, как загородный особняк, но на середине работ решили переделать под клинику и к центральной, очень изящной части добавили с двух сторон непропорционально длинные флигели, тут же надстроенные вровень с ней, после чего все сооружение сразу стало напоминать казарму. Позднее многочисленные, как они у нас называются, косметические ремонты окончательно подравняли здание. Орнаменты, звериные морды, другая лепнина или обвалились, или были отбиты, даже колонны, раньше выступающие из стены полукругом, постепенно были замазаны штукатуркой и теперь выделялись лишь цветом. Корпус был историческим: с него, построенного иждивением какого-то купца-золотопромышленника лично для Корсакова, и началась больница.

Между собой двенадцатиэтажный корпус и этот были соединены, как пуповиной, подземным тоннелем, и я был уверен, что сестра, оформив бумаги, отведет меня на уже знакомый шестой этаж, но оказалось, что мой Кронфельд поистине вездесущ и возглавляет в больнице не одно, а целых два отделения; нужное же мне как раз находится здесь. Правда, тут он работает на полставки. Все это сестра рассказала мило и весело, а потом без всякого перехода принялась жалеть, какой я молодой. Делала она это быстро, почти скороговоркой, и странно похоже на то, как в церквях, молясь, причитают старухи. Наконец она кончила и писать, и сострадать, спокойно взяла меня за руку и повела в палату.

С койкой, объясняла она, пока мы шли, мне очень повезло: она у окна, а окно выходит в парк, место самое что ни на есть почетное, по справедливости положено оно ста-

рожили, но отделение у них особенное, и ей жалко, что я чуть ли не мальчик, а уже пациент Кронфельда, поэтому она отдает его мне.

Так я стал законным здешним обитателем. Теперь мне надо было все это обживать. Я думал, что больничная жизнь дастся мне проще, но привыкал я медленно и тяжело. Хотя я по всем статьям был привилегированным пациентом не только потому, что попал сюда по блату, главное — я пока был куда легче болен, чем другие; но этот мой козырь оказался слабым утешением. Скорее, наоборот. Дело в том, что я был едва ли не единственным из местных постояльцев, кто вообще ощущал себя больным; правилом, нормой тут было чувствовать боль, а не болезнь; боль: она приходила, и тогда ты мучился и страдал, но потом, когда она слабела, кончалась, ты забывал о ней, забывал так, словно ее и вовсе не было. Я же этого забвения был лишен. Я всегда был со своей болезнью, всегда думал о ней, всегда следил за ее динамикой и изменениями, следил, как действуют на меня препараты, что я принимал, насколько мне лучше или, наоборот, хуже.

С моей, да и с любой другой точки зрения, мои сопалатники жили страшной жизнью, и я бы ни за что не согласился с ними поменяться, однако и мне тоже было трудно и плохо. Наверное, особенно трудно потому, что рядом не было никого, кто был бы в равном со мной положении, кто мог бы меня понять, я был совершенно ото всех отгорожен, предоставлен себе. Я ощущал чисто физически забор, который был вокруг меня.

В сущности, быть пациентом отделения старческого склероза, или, как их для благозвучия теперь именуют,

отделения геронтологии, нелегко для любого человека — все равно, чем и в какой степени он болен. В любой психиатрической клинике оно считается тяжелым, и в первую очередь из-за той абсолютной безнадежности, которой заражены там все — и больные, и врачи, и медсестры. Сделать ничего нельзя, невозможно навести даже относительный порядок, больные ходят под себя, а белье, хотя наше отделение считалось привилегированным, им меняли не чаще, чем через день, в других больницах и того реже — раз в неделю. По этой причине все и навсегда пропахло скисшей мочой да еще, как в обычной больнице, прогорклым маслом из кухни и рассыпанной в уборной хлоркой. Из-за сырых простынь и грязи у многих больных были язвы, пролежни, правда, с ними, поскольку они на виду, все же пытались бороться — перевязки делались регулярно, врачи за этим следили, и тогда вдобавок в отделении остро пахло мазями и спиртом.

Корпус был для бывшего начальства, но не весь — только центральная часть здания и левый флигель. В правой же стороне уже при мне стали делать ремонт, ее собирались от нас отгородить и передать «Скорой помощи» под тех, которых, как и меня, подбирали на улице. Продлиться переделка должна была год, а то и два, но, очевидно, решение передать флигель «Скорой» уже где-то было утверждено и, соответственно, прежние койки у нее отняты, так что машины одновременно с началом ремонта стали возить сюда больных, клали их в те палаты, где строители еще не работали, а потом через несколько дней скандалов и ругани переводили в другие клиники. Весь этот бред со «Скорой» был связан не только с обыч-

ным нашим бардаком, но и с давней, чуть ли не двойной нехваткой коек в психиатрии. Те, что были, бронировались за острыми больными, а на остальных денег никто давать не хотел.

Про то, что люди, лежащие в нашей части корпуса, не простые, легко было догадаться по тем разговорам, которые они вели сами с собой, но и так Кронфельд во время одного из обходов сказал мне, что чуть ли не все, кто здесь обитает, или старые большевики, или в прошлом большие начальники, так что он, бывая тут, чувствует себя генсеком. От него же я узнал, что, как ни странно, попасть сюда считается вполне достойным завершением карьеры.

В сущности, понять это можно. Жить в одной квартире со впавшим в маразм стариком до крайности трудно. Ему нужна отдельная комната, постоянный уход, кто-то все время должен быть рядом, иначе в доме непролазная грязь, вонь, всегдашняя опасность, что будет не выключен газ, залита водой квартира. Однако найти женщину, которая бы согласилась ухаживать за таким больным, давно сделалось невозможным.

Есть еще один путь — дом для престарелых. Но и туда попасть сложно, очередь тянется несколько лет, бывает, что даже люди, у которых нет никаких родных и которые просто физически не могут жить одни, так и умирают, не дождавшись места. Кроме того, жизнь в этих заведениях ужасна, это всем известно, и мало кто готов сдать туда мать или отца. Другое дело — больница, куда формально берут на время (если постараться, его можно тянуть и тянуть), а не навсегда и где, по идее, лечат, а не содержат.



Условия в отделениях геронтологии, как бы их ни ругать, несравнимы с тем, что творится в домах престарелых, так что они для всех — и для семьи, и для больного — лучшее, на что можно рассчитывать. Соответственно, чтобы сюда взяли, нужны немалые связи и немалые заслуги.

Правда, по словам Кронфельда, этот год был переходный: в Москве стали строить сразу несколько интернатов для хроников — нечто среднее между больницей и приютом для стариков, — куда через пару лет большинство здешних больных должны быть переведены. Уже установлен и предельный срок пребывания у них в отделении — полгода, но пока он еще не действует. Если интернаты действительно построят, пациентов будет поменьше и больница наконец станет похожа на больницу. А сейчас, когда на две палаты одна санитарка, ждать, что тебе вовремя дадут утку, поменяют белье, — наивные мечты, тем более что в их отделении денег, чтобы за это заплатить, ни у кого нет.

Все, что говорил Кронфельд, было, конечно, правильно, и все-таки дело было не только в деньгах и в нагрузке. Некоторые санитарки, сами старухи, когда я ходил за ними, чтобы позвать к больному, так их было не докричаться, по-книжному рассудительно и жестоко объясняли мне, что я лезу не в свое дело, что вообще незачем длить жизнь этих убудков и зря тратить народные деньги. Для всех было бы лучше, если бы их усыпили, врачей же и остальных перевели в нормальные больницы, например в роддома, где тоже одна санитарка на две палаты и чистого белья надо не меньше, чем здесь. Все это трезво и спокойно они говорили прямо в палате, тому же,

кто звал их, персонально объявлялось, что он не человек, в лучшем случае — животное, а обслуживать животных они, санитарки, не нанимались. Пожаловаться на них было некому, и они, чувствуя себя правыми, при каждом удобном случае пытались сагитировать и врачей.

\* \* \*

Первые два месяца, что я провел в больнице, были, в сущности, предварительными. Все это время внутримышечно и внутривенно в меня вливали самые разные лекарства, по большей части стимуляторы внимания, памяти, а также витамины, которые должны были подготовить организм для собственно лечения.

То, что мне давали, на меня, несомненно, действовало: достаточно сказать, что никакие другие шестьдесят дней своей жизни я не помню с такой отчетливостью, как эти. Контраст особенно силен потому, что то, что было позднее, когда мне уже принялись делать инъекции кронфельдовского препарата, я не помню или вовсе, или помню отдельными эпизодами и очень смутно. Особенно начальные недели этих инъекций. Тогда я практически круглые сутки спал, и лишь затем постепенно, по мере того, как мой мозг привыкал и приспосабливался к лекарству, во мне что-то стало оставаться. В контрасте с этим те вводные два месяца больничной жизни по яркости, цвету не сравнимы ни с чем, я и сейчас не способен отойти, взглянуть со стороны ни на что, что было со мной тогда; время ничего не излечило, я по-прежнему боюсь тех своих страхов, по-прежнему во мне живет все та же

вера, все та же надежда на то, что ничего еще не решено окончательно, и все это соединено с пониманием своей, и не только своей, обреченности.

В те месяцы я был никак не ограничен в режиме, чувствовал себя бодрым и молодым, в постели почти не лежал, во мне вообще было странное смешение почти забытого здоровья и свежести, телесной радости, если не восторга, — думаю, что по любимым тестам я тогда помолодел лет на десять, — со слабостью, унижением и страхом. И этот страх, хотя случались у меня целые недели равновесия и покоя, никуда не уходил, рос и рос во мне. Так что сон, длинный, почти непрерываемый сон от кронфельдовских инъекций я принял как спасение и потом, все боясь, что страх вернется, тянул его, сколько мог.

Благодаря избытку жизни, который в меня влили вначале, я был весьма деятелен, на взгляд со стороны, наверное, и суетлив, во всяком случае, за предшествующие спячке два месяца я успел не только перезнакомиться со всем отделением, поразившись, среди прочего, что здесь частью лежат совсем не те люди и по возрасту, и по другим статьям, которые должны бы лежать, но с некоторыми из обитателей клиники даже сойтись. Это — что лиц десять из тех, что мне встретились в больнице, тут чужие, — долго не давало мне покоя, пока я в конце концов, на исходе первого месяца, не решился спросить о них у Кронфельда. Многих я уже к тому времени выделил и знал большинство даже по имени, например, тех же толстовцев Морозова и Сабурова, Николая Семеновича Ифраимова, о котором скажу ниже; пожалуй, я мог считать себя принятым и в то подобие кружка, ко-

торый они образовывали (они себя тоже отличали от других), однако отделение старческого склероза — не то место, жизнью в коем гордятся, и спрашивать их самих, как они сюда попали, казалось мне совершенно неприличным.

Кронфельд легко понял и мой интерес, и то, почему обратился именно к нему; вполне любезно он мне ответил, что, по слухам, в двадцатые годы, а возможно и позже, этот корпус принадлежал закрытому интернату, по видимому, для детей разных ответработников, наших и коминтерновских, — так, во всяком случае, говорили ему нянечки, работавшие здесь двадцать — двадцать пять лет. Впрочем, тех, кто сам работал в этом интернате, он, Кронфельд, уже не застал. Когда этих людей посылали на какие-нибудь дальние и опасные задания, например, за кордон или туда, где шла война и куда взять с собой детей они, естественно, не могли, они оставляли их здесь; вернувшись же, забирали обратно. Возможно, что дети одновременно были и чем-то вроде заложников, но это только предположение. Однако, сказал Кронфельд, если я хочу, он постарается выяснить все точнее — ему это тоже интересно.

Через день он снова зашел меня проведать, но ничего нового я от него больше не услышал, он только сказал, что некоторые из воспитанников по неизвестной ему причине так и прожили в интернате всю жизнь: может быть, их родные погибли, может быть, изменили. Таких старожилов еще лет десять назад было человек тридцать, но теперь, когда моложе шестидесяти среди них нет никого, каждый год двое-трое умирают, и на сегод-

ня осталось их всего одиннадцать. В общем, из-за чего они здесь, узнать уже не у кого, разве что у них самих, во всяком случае, для властей этот вопрос давно потерял актуальность. По тому, что до него, Кронфельда, доходило, добавил он, на каком-то этапе об этом интернате просто забыли, потом вспомнили, спохватились (было сие при Хрущеве) и хотели закрыть. Решение об этом даже было подписано. Но никто из здешних выходить на волю уже не хотел, там их никто не ждал, да они и понимали, что после тридцати лет заточения нигде прижиться не смогут. Как ни странно, чиновнику, который данным делом ведал, всю эту ситуацию удалось объяснить, приказ был изменен, и их оставили. Правда, чтобы не держать ради тридцати человек целый корпус, тем более такой большой, здесь тогда же стали размещать больных из соседних отделений, обычно выздоравливающих. Получилось нечто вроде реабилитационного центра. А дальше естественный процесс: одних становилось все меньше и меньше, других — больше, в конце концов они перемешались; палат, во всяком случае у интернатских, отдельных нет, чересполосица полная, так что он, Кронфельд, постепенно о них и думать забыл — не его пациенты, и слава Богу. В общем, подвел он итог, они здесь патриархи, старожилы, это знают все, и все вплоть до нянечек с этим считаются.

Льготы и привилегии, которые у них есть, — табу, и блюдут его свято. Вот, в сущности, и все, что я узнал от Кронфельда.

Конечно, это не многое прояснило, но я вдруг образумился: общение с этими людьми было единственным свет-

лым пятном в больничной жизни, я старался не пропускать ни одного из их семинаров, был благодарен, что они приняли меня, отнюдь ни о чем не расспрашивая; я уже не мог и самому себе объяснить, почему с такой настойчивостью пытаюсь узнать их подноготную. Без сомнения, все это было не очень хорошо. Если бы они хотели, чтобы я знал их историю, они бы нашли время мне ее рассказать.

Эти и подобные соображения скоро дошли до уровня самобичевания, в больнице я вообще все раздувал и преувеличивал, потом я вдруг сообразил, что Кронфельд не сказал мне ничего нового, и обрадовался: намерения мои были несправедливы, но Господь не допустил греха. Однако любопытство в человеке неистребимо: дня через два я, словно забыв, что только что каялся, решил обратиться с тем же вопросом уже к самому Ифраимову. Я успокоил себя тем, что он из них, значит, на этот раз все открыто и честно. Я видел, что Ифраимов ко мне относится с явной симпатией, и понимал, что он не откажет, скорее, чем другие. Ифраимов и вправду согласился, причем на удивление легко; мне даже показалось, что он обрадовался этой возможности. Никакой тайны, сказал он, здесь давно нет, только история эта не короткая, так что мне, может быть, еще придется пожалеть — словно извиняясь, он поклонился, — что я его об этом спросил. В нем вообще была некоторая склонность к рисовке. Я не скрыл, что готов начать хоть сейчас; сначала мы думали устроиться в холле, перед как обычно выключенным телевизором, но там уже кто-то сидел, и мы просто стали ходить из конца в конец коридора.

\* \* \*

«С двадцать второго года, — приступил он, — по тридцать второй, то есть всего десять лет, в этом особняке помещался Институт природной гениальности, сокращенно ИПГ — контора в ту пору совершенно секретная; Совнарком, еще во главе с Лениным, подписавший постановление об организации этого института, возлагал на него исключительные надежды. Мы, то есть те десять человек, которые по заведенной привычке или по инерции проводят каждую неделю свои семинары, — последние воспитанники этого института, остальные или умерли, или погибли. В тридцать втором году, как я уже сказал, ИПГ был распущен, опять же решением Совнаркома, правда, состав его был на этот раз совсем другой. Объявленным основанием закрытия института было то, что он оказался абсолютно бесполезен; на самом деле причина была иная. В тридцать втором году наш директор, милейший и умнейший профессор Христофор Иннокентьевич Трогау, к пятнадцатилетней годовщине революции подготовил и частично доложил профессуре ИПГ свой труд, этой революции посвященный. Вернее, его первую полутеоретическую главу. Он использовал собственные, весьма необычные источники, в результате картина получилась настолько несхожей с официальной, что вышел огромный скандал. Рукопись конфисковали, Трогау посадили, позднее он довольно скоро погиб, под нож пошло и большинство тех, кто его вживую слышал. Среди нас таких не осталось, например, ни одного. Но тридцать второй год по сравнению с тем, что было дальше, можно

счесть за либеральное время, так что материалы, собранные Трогау, даже после изъятия самой рукописи довольно долго циркулировали в институте, и мы все имели об этой работе вполне ясное представление, — сказал Ифраимов, — но об этом когда-нибудь потом. Трогау не случайно стал директором ИПГ, гениальностью он занимался очень давно. Он был членом сложившейся еще в семидесятые годы девятнадцатого века группы весьма дальновидных людей — она называлась «группа Эвро», в нее входили политики, философы, много было ученых, в основном биологов, были врачи-психиатры, несколько предпринимателей и инженеров, словом, состав весьма разнообразный и разношерстный, — которая пришла к выводу, что в двадцатом и двадцать первом веках мощь государства будет определяться не его территорией и численностью граждан, а исключительно качеством этих граждан. Человеческий мозг они признали главным природным ресурсом, отдав ему предпочтение перед всем остальным — золотом, углем, нефтью, рудами и прочая, — вместе взятым. Соответственно, первостепенную цель последующих русских правительств они видели в его приумножении и обогащении.

Надо сказать, что приоритет в заботе о качестве народонаселения принадлежит не России, а, как и во многих других вопросах, Германии — там подобная группа появилась десятилетием раньше, возглавили ее выдающиеся психиатры Крепелин и Кречмер; но здоровье нации было понято там совсем не так, как в России, следовательно, и в этом вопросе Россия и Германия рано сделались антиподами, Германия посчитала здоровье вещью



вполне утилитарной и, по сути, почти чисто физической. Евгенисты, которые составляли в немецкой группе явное большинство, были убеждены, что главная проблема — в огромном количестве душевнобольных, умственно неполноценных и уродов, но в первую очередь именно душевнобольных, которые, воспроизводя себе подобных, постепенно разлагают нацию. Вывод отсюда был однозначен: в целях общего блага необходима и обязательна их насильственная стерилизация.

В России победил совсем иной взгляд. Основан он был на целом ряде весьма своеобразных исследований. Так, среди прочего в последние десятилетия XIX века были тщательно изучены биографии всех гениальных русских людей и их ближайших кровных родственников; параллельно, как контрольная группа, изучались и некоторые особенности еврейского населения империи, в частности, сочетание явной одаренности этого народа с не менее явной его неуравновешенностью. Результаты в обоих случаях были практически одинаковы. Оказалось, что гениальность неразрывно связана с той или иной формой психической патологии — правило это не знает исключений. В отличие от немцев, даже ради душевного здоровья нации русские не были готовы расстаться со своими гениями; наоборот, в России и правительство, и общество всегда исходили из того, что гении — это и есть соль земли; сила народа, его качество — это качество его гениев; именно порождая гениев, народ оправдывает свое существование на земле. Прямым следствием этого было не просто чрезвычайно терпимое отношение к душевнобольным, но начало разработки целой системы анализа

их идей, их бреда, прочих аномалий, дабы не был упущен ни один случай одаренности.

Хотя деятельность группы была строго засекречена, часть ее разработок все же выплыла на поверхность, но публика, как это обычно и бывает, получила их в убого-карикатурном виде. Некто Петр Ткачев, недолгое время работавший в группе в качестве секретаря, опубликовал за своей подписью политический трактат, в котором доказывалось, что историю творят не народные массы, а критически мыслящие личности, то есть гении, сумевшие непредвзято взглянуть на мир, их окружающий, увидеть его несовершенство, его ущербность и греховность и повести за собой миллионы людей, готовых этот мир разрушить до основания. Конечно, как вы понимаете, Алеша, гении случаются не только в политике, наоборот, в политике их на удивление мало; но русское общество того времени было наивно, уверенное, что стоит свергнуть монархию, и все само собой наладится. Оно встретило теорию Ткачева восторженно, но о Ткачеве позже.

Поразительная сцепленность патологии и гениальности требовала объяснений, и этой проблемой занимались довольно долго. Что же оказалось? Любое общество чрезвычайно жестко организовано, оно делает все мыслимое, чтобы каждое новое поколение воспроизводило его в неизменном виде; для этого существуют тысячи запретов и табу, любой человек чуть ли не с пеленок знает, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. Эта норма вложена во всех нас, не забыт ни один, с рождения до смерти мы живем под цензурой, от которой невозможно скрыть ничего, никакого наимельчайшего пустяка, потому что мы

сами и есть эта цензура. И мы очень бдительны, Алеша. Гении — страшные враги общества, они единственные способны разрушить его, потому что понимают его необходимость. Часто достаточно всего одного незаурядного человека, чтобы рухнуло все, и с каким грохотом рухнуло.

Защищаясь, общество убеждает гения, что все его мысли, идеи, теории — это глупость, бред, сумасшествие, что они бессмысленны, отвратительны, порочны, грязны, и он ради собственного же блага не должен посвящать в них никого, даже самых близких своих родных. Он должен помнить, что это его проклятье, его крест, его позор, и молить Бога, чтобы все так и осталось тайной, ушло с ним в могилу. Доводы общества, несомненно, звучат очень убедительно; большинство гениев и не пытаются бороться с цензурой: они быстро, даже с радостью смиряются и проживают хотя, может, и не всегда счастливую, но вполне нормальную жизнь. У гения есть шанс осуществиться, только если общество в нем самом ущербно, если оно болеет и слабо, — тогда он добывает его сначала в себе, а потом, выйдя на свободу, сколько хватит сил и жизни, с такой же ненавистью и вовне.

Чем же и когда болеет общество в человеке? Иногда это легкие, быстро проходящие недомогания: сон, например, или галлюцинации, вызванные жаждой, голодом, жарой; но есть вещи более серьезные: истерика, транс, вызванный гипнозом или еще чем-нибудь, наркотические галлюцинации, иллюзии, особенно так называемая иллюзия уже виденного; аутизм, психическая синкинезия и многое другое.

Наша вера в справедливость и оправданность этого мира может быть разрушена какой-нибудь огромной трагедией, происшедшей с нами или с нашими близкими или просто на наших глазах: мы возвращаемся к этому и возвращаемся, утрата наша столь велика, что принять ее, смириться с происшедшим мы не в силах, мир, в котором подобное возможно, не может быть справедлив. Часто такие переживания — источник и начало душевных болезней, но, конечно, не только они. Кто же, как правило, те люди, которых мы помещаем в сумасшедшие дома, — все эти шизоиды, параноики, эпилептики, циклотимики и тому подобные? Конечно, у них совершенно разные болезни, но есть и общее: люди, больные ими, отказались от наших норм, от наших законов, от всего нашего мироздания. Из тех же кирпичиков они выстроили все заново, и теперь ни один из запретов общества не сдерживает их гений; «хорошо» и «плохо» у них другие, и в нашем мире они совершенно свободны. Вот, собственно говоря, главный вывод «группы Эвро».

Исходя из него, к концу века для России и были разработаны две программы, в соответствии с тогдашней модой они назывались «программа-минимум» и «программа-максимум». В сущности же обе программы были просто разными этапами одной. Конечной целью этой общей программы было возвращение самим человеком, а не Богом, всего человеческого рода в рай и его соединение с Господом. Для этого предусматривалось воскрешение всех умерших, начиная с Адама, а также дарование каждому личного бессмертия, вечной молодости и полноты счастья. В программу-минимум входила реализация

дара, данного Господом России. Россия, ставшая новой Святой землей, русский народ, избранный Богом на место потерявшего из-за своей греховности благодать народа еврейского, должна была объединить вокруг себя и возглавить все силы добра и света, какие есть на земле, и готовиться к последней, решающей схватке с силами мрака и греха. Группа была настолько дальновидна, что уже тогда, то есть в семидесятые годы прошлого века, с несомненностью утверждала, что силы мрака возглавит не владычица морей Англия и не набиравшая с каждым годом вес Германия, а провинциальные и далекие Соединенные Американские Штаты.

Для того чтобы выполнить возложенную на нее миссию, Россия должна была увеличить число своих гениев в десятки, сотни, а то и во многие тысячи раз, то есть провести так называемую гениезацию страны. Путь для этого один: всеми возможными силами расшатывать общество, все его сферы (политика — разного рода социалистические партии; религия — сектанты и теософские общества; искусство — все виды модернизма, но, конечно, в первую очередь футуризм; нравственность — половые извращения, гомосексуализм, просто эротика) — поддержка всего этого, резко ослабляя общество, должна была столь же резко увеличить число гениев. Предполагалось, что кульминацией процесса станет изменение характера и протекания душевных болезней: ранее незаразные или очень мало заразные, они теперь легко станут выходить за пределы больного, начнется эпидемия, в результате которой душевнобольной окажется вся нация. Эта эпидемия, или, как ее будут чаще именовать, рево-

люция, разрушив общество до основания, проведя его через невысказанные бедствия, горе, страдания, перемешав все, что в нем есть, так, что ни один человек, даже вполне заурядный, не проживет свою жизнь, как рассчитывал, приведет к массовому выбросу гениев (этот прогноз впоследствии оправдался — численность гениев в революцию действительно увеличилась во много раз, однако голод, тиф, холера, смерти на фронтах гражданской войны, массовые расстрелы и еще более массовое бегство гениев за границу значительно скорректировали первоначальные оценки), что и позволит России стать во главе сил добра.

Программа-максимум — это конечная битва мрака и света, греха и праведности; битва эта будет очень долгой, стороны будут вести ее с невиданным ожесточением, чаша весов будет колебаться то в одну сторону, то в другую, словно Господь еще ничего не решил, а завершится она точно так, как это описано в Откровении Иоанна Богослова, — Апокалипсисом. Катастрофа, которая постигнет человеческий род, будет столь страшна, что из прежней жизни не уцелеет ничего, ничего не спасется.

Та прошлая жизнь была вместилищем греха — грех был в каждой ее поре, он пронизывал ее всю, всею ею владел, — теперь он гибнет вместе с ней. Гибнет и все, что люди считали добром, справедливостью, что они любили, во что верили, перед чем благоговели: на глазах матерей гибнут их дети, растерзанные дикими зверями, и дети видят, как те же звери терзают их матерей, а если кого-то, вняв мольбам, звери не тронули, его пожирает огонь, то есть не остается ничего, гибнет даже вера в Бога. Люди должны пройти через эти невысказанные страдания,

чтобы очиститься и воскреснуть. Бедствия и горе должны свести их с ума, свести всех, до последнего человека, только тогда они наконец порвут с прошлой жизнью, откажутся от нее и их душа и мозг станут свободны. Они будут свободны, так что как бы ни были малы способности любого из них, он сделается гением и как гений откроется Богу. Впервые человек увидит Его истинное величие и красоту, совершенство созданного Им мира и, увидев, вернется к Господу. Да, все должно было быть именно так, — сказал Ифраимов. Он помолчал, а потом неожиданно закончил: — Ну вот, Алеша, кажется, я удовлетворил ваше любопытство...»

Мы как раз стояли около двери в его палату, он полуобнял меня и тут же — я даже не успел с ним попрощаться — ушел к себе.

\* \* \*

Кроме этих одиннадцати человек, как я к тому времени уже самолично выяснил, в отделении лежало еще пятеро непрофильных больных: из них трое молодых мужиков, по всей видимости, солдат и, кажется, с черепно-мозговыми травмами — во всяком случае, память была ими потеряна полностью. Их положение считалось довольно тяжелым, и кто-то из медсестер круглосуточно дежурил в палате, которую они занимали. Эти солдаты были, кстати, сущим благословением для отделения. Дело в том, что хотя Господь лишил их разума и памяти, плоть солдат была сильна необыкновенно, и вот три сестры, которые посменно дежурили в нашем корпу-

се, правя им практически самовластно (Кронфельд разрывался между двумя отделениями и заглядывал к нам нечасто), прознав это, поделили солдат между собой, так что у каждой оказался свой любовник. Впервые в жизни я видел сразу трех женщин, которых постоянно хорошо удовлетворяли, и должен сказать, что радость, им дарованную, они возвращали сторицей. Пары эти были неумимы, казалось, что в добавление к собственной им отданы и остатки жизни всех нас. Дни напролет, почти без отдыха из их палаты слышались крики, стоны, всхлипывания мучающегося в блаженстве тела. Иногда сестры оставались с солдатами все втроем и, возбуждая себя происходившим по соседству, устраивали нечто вроде турнира — чей любовник окажется сильнее. В такие дни даже самые немощные наши старики от вожделения едва не сходили с ума.

За своими солдатами сестры ухаживали с трогательной заботой — те не просто всегда лежали на свежем белье, но были умыты, побриты, аккуратно подстрижены, часто даже надушены. Однажды мне довелось увидеть, как сестры приводили их в порядок, и должен сказать, что все это было настолько нежно и ласково, что я, прежде не сомневавшийся, что они относятся к ним как к бессловесной скотине, устыдился: сестры, без сомнения, были в солдат влюблены. Этой любви мы обязаны тем, что наши сестрички, закончив смену, никогда не спешили домой, наоборот, им было здесь так хорошо, они были так тут счастливы, что искали любой предлог, чтобы задержаться. Они вообще любили отделение, любили даже нас, больных, мы были свидетелями их радости, и они хотели,



чтобы и нам тоже было хорошо. В них была эта потребность, чтобы весь мир вокруг них радовался и ликовал, был таким же молодым и красивым, таким же полным страсти и любви, как они. Они нечасто отрывались от своих солдат, но когда отрывались, были терпеливы, милы, любезны и всегда как бы светились. Для любого из нас было подарком перекинуться с ними хотя бы несколькими словами, наверное, мы все тоже были в них влюблены, и, я думаю, они это понимали. Если с нянечками, как я уже говорил, отношения у нас были очень тяжелые, то сестричек мы называли между собой не иначе как ангелами, голубками, и они действительно ими были, я не помню ни одного случая, чтобы они отказали кому-нибудь из нас, если были в силах помочь. По каким-то соображениям они никогда не закрывали дверь в свою палату, возможно, эта публичность придавала особую пикантность их любовным схваткам, еще больше их возбуждала, или сестры были убеждены, что, отгороженные болезнью, мы все равно ничего не видим; пускай даже они просто не считали нас за людей, в сущности, все это совершенно неважно: для нас их любовь была последним кусочком настоящей живой жизни. И мы были им благодарны за то, что они его не прятали.

Холл, где мы собирались, по счастливой случайности находился буквально напротив солдатской палаты, и едва оттуда начинали слышаться пришептывания сестер: мой миленький, сладкий мой, моя ласточка, ягодка, кровиночка моя, единственный мой; и дальше: еще, мой хороший, еще, еще, да, вот так, еще, еще, я хочу тебя, хочу, хочу, — как собрания наши сами собой прерыва-

лись. Конечно, мы не расталкивали друг друга локтями, чтобы поближе пролезть к дверям, до этого дело не доходило, но рядом была такая жизнь, какой ее создал Господь, мы же были уже стариками. Сил, которые у нас еще оставались, хватало лишь, чтобы рассуждать о жизни, а рядом с ними это было скучно и неинтересно. Даже после того, как они затихали, наши штудии возобновлялись далеко не всегда.

Кроме солдат, в отделении лежала еще одна довольно занятная пара. Он и она. По всем данным тоже из первопоселенцев, во всяком случае, они пользовались теми же правами и льготами, но были старше своих — им было никак не меньше восьмидесяти лет. Обычно они и держались особняком. Это были очень странные люди: и по поведению, и так. Иногда мне казалось, что они уже почти не отличаются от обычных местных пациентов, потом такое впечатление пропадало. Их напряженная и, к сожалению, не часто мне понятная деятельность — несмотря на возраст, они были самыми энергичными из всех, кто тут обитал, это несомненно, — явно имела смысл. Более того, временами она все отделение как бы организовывала, соединяла вокруг себя, это было нечто вроде спектакля, который они играли с редкой экспрессией, причем в нем каждый из нас получал свою роль, свое назначение — ни зрителей, ни статистов они не признавали. И это при том, что большинство здешних обитателей были навсегда обращены внутрь себя и редко когда замечали происходящее в миру. Эта пара, как хороший масовик-затейник, легко включала в свое действие и их, она вообще явно к ним тяготела.

То был довольно странный театр, возникал он совершенно спонтанно, вел его всегда один и тот же дуэт, причем участники были ориентированы, видели только друг друга, в этом смысле он был так же замкнут и закрыт, как и прочие здешние жители, но действие шло столь интенсивно, что без сопротивления вовлекало в себя всех, кто был рядом; все вокруг этой пары начинало жить и жило, пока дуэт сам собой не распадался. Тогда отделение разом успокаивалось, приходило в норму. Не могу сказать, чтобы меня самого эта пара сильно заинтересовала, по большей части я был занят тогда или собой, или проводил время в обществе тех интернатских воспитанников, о которых расспрашивал Кронфельда, но не заметить ее было нельзя.

\* \* \*

Выше я уже говорил, как боялся и не мог ни на что решиться, когда в нашей семье вдруг возник разговор о госпитализации. Более того, если бы не молчаливое давление матери и тетки, я бы, наверное, вообще не лег к Кронфельду. Но первые несколько дней прошли для меня в больнице, в сущности, неплохо, и я исполнился оптимизма. Связано это было не только с тем, что здесь оказалось немало интересных людей, с которыми я нашел общий язык, — подарок для меня совершенно неожиданный, главным было другое: во мне как-то вдруг, в один день все само собой уравнилось, я был спокоен и после долгого перерыва впервые начал работать. К несчастью для меня, этот светлый период не был длинен.

Еще перед тем, как ехать в больницу, я дал себе слово возобновить «Синодик». Я решил, что при всех условиях буду работать каждый день, составил четкий план, о ком и в какой последовательности стану писать; теперь у меня все это пошло. Даже о тех, о ком я собирался рассказать очень кратко, только помянуть, потому что во мне от них мало что осталось, я вдруг на бумаге стал один за другим вспоминать все новые эпизоды, слова, жесты, выражения лица; я писал легко, почти не останавливаясь, мне это было удивительно приятно и нетрудно, о каждом я мог писать еще и еще, все они действительно как бы ожили и вернулись. Это были очень счастливые дни: я чувствовал в себе силу, чувствовал, что мне дан едва ли не дар воскрешения, а потом, на исходе второй недели, все это разом оборвалось.

В больнице я особенно много молился, мне было о чем просить Господа, было за что Его благодарить; я молился, как привык еще в детстве, дома: со слезами, со всякими ласковыми присказками, благо в палате никто не обращал на меня никакого внимания, а тут (дату я помню точно) на двенадцатый день моей больничной жизни я почувствовал, что меня никто, абсолютно никто не слышит. И как бы даже никого нет — все пусто, все ушло, умерло. Тогда во мне и начался этот страх. Была уже ночь, я так и лег не домолившись, а утром, когда встал, работать уже не смог.

Дня через три после этой ночи я снова присутствовал на одном из их семинаров. Как точно была сформулирована тема, которую они обсуждали на этот раз, я сказать теперь не могу, потому что Николай Семенович Ифраи-

мов — он, кстати, и ввел меня в этот кружок — зашел за мной, когда все уже началось, но о чем шла речь, было вполне понятно. Собравшихся занимал вопрос об историчности некоторых известных лиц, в частности, дебатировались Сталин и Христос. О Сталине монотонно и бесцветно докладывал некий Сергей Прочич, назвавшийся учеником знаменитого исследователя русской сказки Владимира Яковлевича Густавса. То, что он говорил, было не его изысканиями, а изложением большой, начерно законченной работы самого Густавса. Несмотря на скучный голос, было видно, что Прочич восхищается своим учителем, гордится тем, что у него учился. Он явно любил Густавса, был к нему привязан, но плохо умел это выразить. Все, что получалось у Прочича, — это ненужная значительность, когда он повторял собственные слова учителя.

Густавс начал собирать материалы о Сталине еще в двадцать третьем году и продолжал до дня своего ареста и гибели, то есть до тридцать восьмого года. Работа делалась чрезвычайно фундаментально, одних выписок, по словам Прочича, было больше десяти томов. Формирование и бытование образа Сталина было рассмотрено Владимиром Яковлевичем во всех жанрах и видах искусств, от частушек до симфонии, и во всех регионах страны, включая Камчатку. Разумеется, подробно перелagать здесь доклад Густавса я не буду, да это, на мой взгляд, и не нужно — выводы его, основанные на анализе тысяч фольклорных источников, практически всеми были приняты, во всяком случае, с ними никто из собравшихся не спорил. Только их я и повторяю. Густавс был убежден, что

Сталин — фигура чисто мифическая. В этом духе Прочич неоднократно нам его цитировал: «Никакого Сталина никогда и в помине не было. Настоящий Сталин, Сталин, который ест и пьет, — это такой же нонсенс, как живая птица Феникс», — и так далее.

Сталина Густавс считал величайшим достижением народного гения. «Я всегда говорил, — писал он, — что единственный истинный художник — народ. Кого поставить рядом со Сталиным? Мы любим его как творение своих рук. — И продолжал: — Сколько вдохновения, сколько мудрости и любви понадобилось, чтобы его создать! Сотни тысяч, миллионы безымянных талантов творили его день за днем, год за годом, и он удался на славу. Это было поистине всенародное дело».

Вот, собственно говоря, тот основной вывод, к которому пришел Густавс в своем исследовании, повторяю, все с ним без особых возражений согласились, тема была исчерпана, и тут Прочич неизвестно почему вдруг истошно, по-бабьи стал кричать: «Сталина не было! Нет! Нет! Не было! Никогда не было! Не было его, нет!»

Он долго так кричал, потом голос его стал сбиваться, захлебываться, все превратилось в какое-то непонятное причитание, и только тогда его наконец удалось увести.

Собрания проходили в небольшом холле на втором этаже, где в обрамлении росших в кадках пальм стоял телевизор; в нашей больнице, в отличие от других, это было самое тихое место. Дело в том, что почти никто из здешних пациентов не понимал телевизионного изображения (почему они все, как один, утрачивали эту способность — я не знаю, возможно, что-то тут было связано с частотой

строк или кадры менялись так быстро, что больные за ними не успевали, но факт остается фактом). Единственное, что они могли смотреть, это мультфильмы. Мультфильмы им даже нравились, и врачи, считавшие, что чем больше их нынешняя жизнь будет похожа на прежнюю, добольничную, тем лучше, железной рукой сгоняли их на передачу «Спокойной ночи», во время которой, как известно, показываются мультики. Так было всегда, и мы, пока они смотрели телевизор, не спеша гуляли по коридору, потом они ушли, мы снова вернулись в холл и продолжили наши штудии. Сталина мы больше не касались, с ним все было ясно, но некоей оппозицией тому, о чем мы говорили дальше, он все же был.

Разговор начался с обсуждения недавней сенсации — Туринской плащаницы, той самой, которой было обернуто тело Христа, когда Его клали в могилу и на которой отпечатался и сохранился до наших дней Его облик. История эта была уже всем хорошо известна, и, пожалуй, она убедила последних скептиков, что такой человек или Богочеловек действительно был, что две тысячи лет назад Он жил и ходил по земле Палестины, потом был распят и похоронен в этой земле, то есть что все было точно так, как описывается в Евангелиях. И, как сказано там же, на третий день могила Его оказалась пуста: Он вознесся и занял положенное Ему место одесную Бога Отца.

Как ни странно, меня совсем не поразило, что этот разговор о Христе совпал с тем временем, когда я Его потерял; все высказывались совершенно академически, пожалуй, даже безразлично: подобный тон был вообще традицией этих встреч. Верует или веровал хоть кто-ни-

будь из них, понять было невозможно. Говорили не только о Туринской плащанице, разбирались и другие свидетельства историчности Христа, в частности, очень долго — высказывания о Нем Его современников. Потом какой-то незнакомый мне человек, все ласково звали его Матюша, — кажется, когда в прошлый раз говорили о Толстом, его не было или я просто не обратил на него внимания — вспомнил еще одно сравнительно редкое свидетельство о Христе — так называемую «Повесть о повешенном». Читали ее из присутствующих лишь двое, и Матюшу наперебой стали просить, чтобы он хотя бы вкратце пересказал ее сюжет, вообще ввел в курс дела. Начал он с того, что «Повесть о повешенном» — это народный еврейский роман, написанный то ли в десятом, то ли в одиннадцатом веке, во всяком случае, именно этим временем датируются самые ранние списки. Книга получилась почти карнавальная по своей жестокости и была некогда весьма популярна, копий сохранилось много. Велика ли ее ценность как источника о Христе — сказать трудно, скорее всего, нет. Впрочем, есть богословы, думающие, что она основана на каких-то древних преданиях и тогда, следовательно, частью заслуживает доверия. Большинство же уверено, что повесть — просто антихристианский памфлет, интерес которого ничтожен.

История Христа и христианства излагается в повести так: некий молодой и крайне самоуверенный человек, Иисус из Назарета, тайно проник в Святой Святынь Храма, где помещался Ковчег Завета, и вынес оттуда талисман; он зашил его себе в бедро, и львы, охранявшие Ковчег, ничего не учуяли. Этот талисман дал ему силу творить



чудеса и побеждать в диспутах самых образованных раввинов. Все это привлекло к Иисусу сотни и сотни приверженцев, утверждавших, что тот — Мессия, Богочеловек, посланный на землю во искупление грехов человеческого рода. Зачатый непорочно от Святого Духа, Он, на котором нет даже первородного греха, рождением своим изменил мир: если раньше зло на земле множилось и множилось, люди все больше отдалялись от Бога, то теперь, посланный к ним своим Отцом, Он, как блудных детей, поведет их обратно.

Ересь эта распространялась, как пожар, последователи Христа были едва ли не в каждом палестинском селении, общины их стали возникать и за пределами Палестины, и тогда Синедрион, почти не колеблясь, пошел на странный шаг. Он решил чуду противопоставить чудо. В сущности, это было капитуляцией веры, признанием, что она слабее чуда. Такой же талисман, какой похитил Иисус, был передан известному своим добронравием раввину, и тот скоро и в чудесах, и в прениях о вере стал побеждать Христа. Почти неправдоподобно быстро ученики нового Мессии от него отшатнулись, он был брошен едва ли не всеми, схвачен правоверными евреями и после многих унижений и надругательств повешен. Поэтому книга и называется «Повесть о повешенном», а не о «распятом».

«Так вот, — продолжал Матюша, — Синедрион праздновал победу, но она была пиррова. Смерть Христа воскресила веру в него. И он сам тоже был воскрешен народной молвой. Не было дома, где хоть кто-нибудь не верил, что на третий день после погребения он восстал из

гроба и был взят Господом на небо. Эта вновь воскресшая ересь была страшной угрозой для той веры в Единого Бога, которую был должен хранить Синедрион, но не только она напугала судей. Хуже было другое: в Христа сразу же уверовали тысячи тысяч иноземцев по всему греко-латинскому миру и число их росло и росло. Люди окропляли себя водой, принимали крещение и начинали думать, что они евреи. Со страстью новообращенных они верили, что стали частью избранного народа Божьего. Никакого учения еще не было, была только вера в смерть и воскресение Христа, Христа, взявшего на себя грехи мира, но никто из Его последователей не сомневался, что стал истинным иудеем. Раввины считали христианство чем-то вроде народной латыни: людям, недавно познавшим Единого Бога, еще трудно было соблюдать все законы и предписания, и они, убежденные, что это в сравнении с верой не так уж и важно, хотели облегчить себе жизнь. Такое течение было всегда, но теперь оно получило высшую санкцию и должно было затопить тех, для кого веры без Закона не существовало.

Эта разбухающая словно на дрожжах толпа была варваром в вере, и судьи страшились, что она, как волна, захлестнет их. То есть судьи испугались христиан, испугались не их учения, а их числа. Они испугались того, что христиане даже не подозревают, что у них другая, совсем другая вера, что они евреям чужие.

Евреи издревле жили среди куда более многочисленных, чем они, язычников, и к такому строению мира они успели привыкнуть и приспособиться; здесь все было ясно и понятно: были евреи и были неевреи — той, и между

ними не было ничего общего, никаких переходных ступеней; в вопросах веры ни те, ни другие не искали ни компромиссов, ни согласий, и эта абсолютная отделенность устраивала всех. Христос изменил мир. Вдруг появилось множество считавших евреев своими, но сами евреи оказались не готовы признать их братьями. Они чересчур долго жили в изоляции, она успела стать их отличием, их частью, и теперь выходить на открытое место им было страшно.

Евреи хотели возвратиться назад, они требовали от Синедриона, чтобы он увел их туда, где все было бы по-прежнему и они бы знали, как им жить. Это был голос целого народа, голос всех, кто не пошел за Христом, и Синедрион не мог его не услышать. Раввины долго не понимали, что делать, выхода не видел никто, а христиан тем временем становилось больше и больше, казалось, что вот-вот народ, избранный Богом, растворится и исчезнет среди них. Опасность, угрожавшая в этот раз евреям, была сильнее, чем даже в годы Вавилонского пленения, это равно сознавали и левиты, и люди земли, и тогда один из младших членов Синедриона, некто Анания, решился и предложил старейшинам следующее.

«Пускай, — сказал он, — два наших самых образованных раввина (их имена он назвал, но мы их не знаем) уйдут к христианам и из того, что известно о Христе, создадут цельное учение, новую веру так, чтобы каждому еврею и каждому христианину было ясно, что они люди разной, совсем разной веры, что один другому они чужие. После этого им не останется ничего иного, как разойтись, оставить друг друга в покое, тогда-то все и станет на место».

Этими раввинами, — продолжал Матюша, — были, по повести, апостол Петр и апостол Павел. Они поселились в Риме, в специально выстроенной для них башне, ее они не покидали до своей кончины, дабы общение с христианами не принудило их нарушить хотя бы одно из правил кашрута. Чтобы не оскверниться, ели они только то, что Закон разрешил есть евреям во время самого строгого поста. То есть, создавая учение Христа и строя Церковь, они прожили жизнь и умерли правоверными иудеями. Судя по «Повести о повешенном», удалось даже сделать так, что и похоронены они были, как правоверные евреи».

Вся эта история, а особенно, как мне показалось, то, как подал ее Матюша, чрезвычайно возмутила толстовца Сабурова, который сказал: «Но ведь тогда получается, что евреи сознательно создали лжеверу?»

«Ну, это как сказать, — пояснил Матюша, — с точки зрения евреев, это, конечно же, была лжевера, и придумать грех больший, чем тот, что взяли на себя Петр и Павел, наверное, невозможно, но христиане вряд ли согласятся с тем, что их вера ложная, да и вообще все, кто признают, что путь познания человеком Бога долог и труден, что он постепенен, согласятся, что учение Петра и Павла истинно; едва ли когда-нибудь еще такое множество людей чуть ли не разом покинули язычество, пришли к вере в Единого Бога».

«Но ведь эта повесть, — настаивал Сабуров, — не что иное, как восторг перед собственным злом и собственной греховностью. Правда-правда, во всем этом столько ненависти, столько изошренности и изобретательности, так сведены концы с концами — тут неважно, с какой сто-

роны смотреть; кроме того, писали-то повесть евреи, и, значит, это их взгляд, значит, это лжевера. Матюша, вдумайтесь в то, что вы нам рассказали: сначала надругательство и убийство Христа, причем более гнусное и жестокое, чем то, что описано в Евангелиях, потом два раввина, все равно как Иван Сусанин, путают и уводят людей, ищущих дорогу к Богу, в сторону, причем они так презирают доверившихся им и так гордятся тем, что сами ни в чем не нарушают заповедей, что ни разу не преломят хлеба ни с кем из своих последователей. Об этом нельзя, неправильно говорить спокойно, — по-моему, никто из нас не слышал ничего более дикого».

«Может быть, вы и правы, — согласился Матюша, — и все же, как я уже говорил, здесь не все просто. Фантазии в повести действительно много, виден ум, с юности занимавшийся комментированием Галахи и вот вышедший на волю. Но не в этом суть: эта повесть — ложь, самооговор, что бы ни думал о ней сам автор. И я вам скажу, почему евреи оговорили себя. Для них это было страшное время — десятый и одиннадцатый века от Рождества Христова, совсем страшное. Многие общины в Англии, в Германии, да и в других странах тогда погибли целиком, убиты были все: от грудных младенцев до стариков. Поймите, — говорил он странно глухим голосом, — даже вера не может выдержать, когда вырезают всех, всех до последнего. Вера не может выдержать, когда беременным вспарывают животы и вместо плода зашивают туда живую кошку, — этого не может выдержать никто! И тогда евреи решили, — продолжал он совсем тихо, — что или Бога вообще нет, потому что

Бог не мог создать такой мир, или чаша грехов переполнилась и завтра все будет уничтожено. И они захотели спасти христиан, христиан, которые их убивали, и спасти мир, потому что то, ради чего он был создан, еще не исполнено. Они не могли больше погибать невинными — и они оговорили себя. Они взяли на себя такой грех, что сколько бы страданий ни выпало на их долю, все будет мало. Они восстановили справедливость, уравнили мир, зло теперь снова не просто жило в нем — оно было воздаянием за грех. Они сказали Господу, что виновны сами, сказали так, что Он поверил им и простил христиан».

\* \* \*

Потеряв способность молиться, не имея больше ни в чем никакой опоры, я почти интуитивно стал искать себе покровителей здесь, на земле. Так получилось, что я по мере возможности помогал другим больным, обычно своим сопалатникам. Я ходил за нянечками, когда надо было поменять белье, дать утку, ходил за медсестрами, когда моих соседей мучили боли и был необходим укол, чтобы они могли заснуть. Иногда я даже заступался за них: больных здесь никто, может быть, за исключением Кронфельда, не считал за людей, и все это так искренне и откровенно, что сдержаться временами было трудно. Собственно, все эти нянечки, санитарки были в отделении единственной реальной властью, во всяком случае, единственной властью, с которой мы соприкасались, и я оказался к ней ближе всех. Из-за этих просьб, заступ-

ничества я был все время на виду и очень рано научился этим пользоваться.

Началось это сразу, в первый же день моей больницы жизни, когда мне хотелось еще и еще благодарить санитарку за совершенно не заслуженную мной койку у окна. Я хотел, чтобы она знала, что я ценю услугу, которую она мне оказала, что я не какая-нибудь неблагодарная скотина. Всем этим двигала, конечно же, не признательность, а страх: я боялся их, их всех, боялся того времени, когда буду в полной от них зависимости. Любое обострение моей болезни означало рост их и без того огромной власти, то есть в этой их власти и надо было измерять мою болезнь. Тем не менее пока я молился Богу, все это еще было в каких-то рамках, Господь как бы противостоял и моему страху, и их власти надо мной. Пока Он был, я не позволял себе делать что-то совсем непотребное, бояться совсем непотребным образом, были какие-то запреты. Но Он ушел, страх же остался.

То, что я по мере сил помогал сопалатникам, всегда доставляло мне живейшую радость, это были реальные добрые дела, и я не мог не чувствовать удовлетворения. Тем более что из-за этих услуг я временами портил с нянечками отношения, работы у них и так было много, и то, что я взваливал на них дополнительную, конечно, не могло им нравиться. И все-таки я это делал, а потом мне открылось, что подсознательно у меня и тут был расчет. Я понял, что заступался за других больных потому, что хотел иметь право на такое же сочувствие, жалость, помощь, когда сам буду в их положении, я хотел показать нянечкам, какой я хороший человек, сказать им, что я действительно достоин со-

чувствия. И еще: я пытался сделать их лучше, чтобы они запомнили, что со мной, из-за меня они когда-то были лучше, и сохранили ко мне благодарность. Мне вообще все время надо было с ними разговаривать; когда их не было, я делал это мысленно; когда спал, они мне снились; мне все время хотелось быть при них, и это несмотря на страх. Мне нужно было, чтобы они выделяли, отличали меня, считали своим, смотрели бы на меня как на защитника больных, некую номенклатуру среди них, причем вполне покладистую. Здесь была бездна страха и бездна хитрости, но была и самая обыкновенная жалость к тем, кто лежал рядом, так что мне долго удавалось себя убеждать, что грех мой не столь уж и велик.

Больше всего меня пугало отсутствие в нянечках хоть какой-то вины. Оно было таким полным, что меня, когда я говорил с ними, охватывало состояние абсолютной беспомощности. Они же всякий раз надо мной добродушно подсмеивались, говорили, что скоро я сам буду такой же, как мои соседи, тогда они в охотку и побеседуют со мной о нравственности. Возможно, я не просто их боялся, а на меня действовали и их доводы, во всяком случае, я скоро начал ловить себя на том, что если они соглашаются сделать то, что я прошу, все равно — для меня или для другого больного, — я им поддакиваю, особенно когда речь заходит о роддомах. Не полностью, но все же соглашусь, что, конечно, спасти жизнь ребенка или роженицы важнее, чем продлить жизнь любого из моих сопалатников. Те ведь еще только начинают жить, силы их не растрачены, наши же большую часть отпущенного им срока, как ни посмотреть, прожили.



Как-то я им вполне одобрительно рассказал, что у некоторых народов даже заведено, что старики, не могущие сами себя прокормить, покидают общину, уходят из нее умирать, чтобы никому не быть обузой. Причем все обстоит так, что ни община, вообще никто, даже их дети, не берут на себя никакой вины, старики же умирают людьми, которые знают, что оказались достаточно сильными, чтобы помочь своему племени выжить. Надо сказать, что мою поддержку нянечки принимали спокойно, они всегда помнили, что я больной и, значит, никоим образом им не ровня. И все же то, что я их понимал и оправдывал, было им приятно. Они охотно слушали взятые из японских, якутских и прочих книг рассказы о стариках, которые уходят в горы, чтобы там в одиночестве закончить свой путь. Им явно это было интересно, может быть, потому, что почти все нянечки были старухи и для них это время тоже приблизилось. Конечно, ведя эти разговоры, я сознавал, что предаю своих, фактически отказываю им в праве на жизнь, но я оправдывал себя тем, что делаю это для них же самих. Это как бы плата за утку, за бельё.

На исходе первого месяца больничной жизни я подхватил довольно сильную простуду, температурил и почти не выходил из палаты. Продолжалось это дней пять, в сущности, я еще был болен, только пошел на поправку, но заставить себя лежать весь день в обществе моих соседей больше не мог. Так совпало, что на это число как раз была назначена встреча воспитанников, и я, просто чтобы увидеть нормальные человеческие лица, услышать нормальную речь, решил, что хоть немного посижу с ними в холле, а когда устану, вернусь и лягу.

После Сталина и Христа разговор на этот раз вернулся к Толстому. Не знаю, может быть, это был уже конец, завершение, или тема была постоянная, по каким-то причинам давно и безнадежно их волновавшая, во всяком случае, связь с тем, что я слышал раньше, несомненно, была. Разговор этот, естественно, кончился ничем, как, впрочем, и прошлый: они ни в чем не сошлись, да и не могли сойтись, потому что вывод был почти обвинением для последователей Толстого. Серпин, всегдашний оппонент толстовцев, легко, даже с изяществом, ставил крест на всей их жизни, на всем, во что они верили. Было бы глупо ожидать, что они это примут. Человеку и когда он молод трудно примириться с тем, что часть его жизни прожита не так, как следовало, — здесь же была вся жизнь; поверь они Серпину, им бы осталось одно: лезть в петлю. Логика, разум тут ни при чем, достаточно обычного чувства самосохранения, чтобы найти тысячи доводов, утверждающих именно твою правоту.

Все же тезисы Серпина были весьма изящны, предварил он их тем, что сам давно понимает, что разговор этот пора кончать, ни к чему хорошему он не приведет и привести не может: те, к кому он обращается, давно уже сформировались, их не переделаешь, новых же учеников Толстого он среди присутствующих не видит, так что разговор и впрямь не имеет никакого смысла: не диспут, а сплошное злопыхательство. Тут он соорил страшное лицо, пыхнул на толстовцев злом, назвал мазохистами, раз они его слушают, — все они были явно очень друг к другу привязаны, — а потом сказал примерно следующее. Ученики по самому своему рождению уже ненормальные, ущерб-

ные дети. Если обычные дети естественным путем, в свой срок занимают место отцов и сравниваются с ними — так задумано природой, и никаких особых усилий для этого обычно не требуется, — то ученики обречены на неравенство, на неполноценность. Лишь редчайшие из них в конце жизни добиваются того, что легко, без всяких препятствий получают дети. Возможно, это связано с тем, что их не вынашивают девять месяцев, не выкармливают грудью, что они, в сущности, просто чужие дети. Когда-то они ушли от своих родителей, оставили их, пришли к учителю, но за плечами у них прошлая жизнь, выбор и отказ от нее — все это тяжелая ноша. Их трудно винить, но все они люди как бы поломанные, отказ от родивших тебя — огромная травма, она остается навсегда, на все кладет свой отпечаток. И еще: дети не выбирают своих родителей, это как бы от Бога, ученики же сами находят себе учителей-отцов, и это основание для страшной гордыни. Дело в том, что зачатие ученика в лоне учителя непорочно и безгрешно, и это такой соблазн для них обоих, что устоять перед ним удастся немногим. Тому и другому кажется, что их отношения так чисты, ведь и в самом деле на них нет даже первородного греха, что врата рая открыты. Соответственно, рожденному безгрешно ученику и позволено очень-очень многое, куда больше, чем обыкновенным людям; отсюда и зло, которое они творят со странной легкостью. И последнее: дети похожи на своих родителей, это привычно и ни у кого не вызывает вопросов, ученик же стремится быть копией своего учителя, в нем всегда живет страх, что кто-нибудь скажет, что он не настоящий, не свой, что он только притворялся верным,

на самом же деле еретик и предатель. То есть он снова предал, предал сначала отца, теперь учителя. Это «снова» здесь самое страшное. Вот и выходит: мир все время другой, сегодняшний день в нем никогда не равен вчерашнему, в учениках же наследство учителя не продолжается, оно застывает, превращается в канон и всегда обращено в одну сторону — назад. Ученики могут добавить к нему только свой страх, только его, и этот страх скоро становится в учении самым живым. Он дышит, растет в нем, пока не заслонит все.

\* \* \*

В конце декабря я физически снова чувствовал себя почти нормально. Организм явно приспособился к инъекциям, и хотя Кронфельд все время увеличивал дозу, я это не ощущал. Со сном тоже наладилось. Обычных восьми часов мне вполне хватало.

Настроение мое давно уже было неровно: перед больницей и в первые два месяца моего больничного лежания я большей частью жил с ощущением близящейся трагедии, причем приближающейся очень быстро, все как бы было уже решено и надежды оставлены. Теперь это почти отошло, я был спокоен и тих. Как и врачи, я уверился, что мои прежние кошмары связаны лишь с тем, что у меня внутри; сейчас же, когда я стал чувствовать себя лучше, они сразу кончились. Впервые за долгое время я довольно легко отвлекался от своих проблем, мне вдруг сделалось скучно все время следить за собой, скучно без новых впечатлений, и я снова принялся интересоваться

моими товарищами по отделению, причем всеми: и ма-разматиками, и воспитанниками — без исключения, хотя, наверное, и не равно всеми. Возможно, интерес этот возобновил во мне своими разговорами Ифраимов: я видел, что в первую очередь обращаю внимание именно на тех, о ком он мне рассказывал, кого называл.

Наблюдать жизнь отделения оказалось на редкость занимательно, причем чем больше я во все это влезал, тем интереснее мне становилось. Я чувствовал, что за этой суетливой и бестолковой жизнью, за этим странным смешением людей стоит что-то важное, но что — долго понять не мог. Мне часто казалось, что я близок к разгадке, но каждый раз ответы были неправильными. Очевидно, в конце концов эта чересчур активная жизнь оказалась мне не по силам. Во всяком случае, Кронфельд во время очередного обхода вдруг сказал, что последние два дня я ему нравлюсь намного меньше, чем раньше, я излишне возбужден и, если это состояние сохранится, дозу успокоительного, которая мне положена, придется увеличить. Для врача его квалификации это была грубая ошибка, доза должна была быть повышена сразу — здесь же он опоздал. На следующий день к возбуждению добавился тот же страх, что у меня был, то же ощущение надвигающейся катастрофы, и ничего сделать с собой я уже не мог. Все произошло так быстро, что я даже не понял, что передышка, которая была мне дана, истекла.

Буквально перед тем я даже думал возобновить работу над «Синодиком», сел и тут же понял, что это чистой воды инерция. Я просто помнил, что вел когда-то такой «Синодик», сейчас чувствовал себя неплохо и, значит, мог

продолжить. Но для чего я его вел, за этот месяц сна потерялось. Мне как-то разом сделалось ясно, что та жизнь и то, что я тогда делал, не просто на время прервалось, а для меня, да и, наверное, не только для меня кончилось. Мир вокруг меня настолько изменился, что никакого смысла в моих писаниях не было больше ни для тех, кого я знал и старался сохранить, ни для меня самого. Пока мир хоть в какой-то степени был тем, в котором они жили, они ему были нужны, нужны как предшественники, как корень и объяснение того, что стало; наконец, как традиция, относительно которой можно посмотреть: что и сейчас как раньше, что ушло, что изменилось; в том мире у них была своя часть, своя доля, но он ушел, и вспоминать их и помнить сделалось как бы лишним. Это было совершенно очевидно, и я вдруг понял (абстрактно я, конечно, знал это и раньше), что Бог — единственный стержень мира, единственное его оправдание, и теперь, когда Он ушел от меня, — я вдруг вспомнил, что Он от меня ушел, когда Его не стало, все должно кончиться или уже кончилось. Мне было совсем плохо и страшно, потому что я видел, что ничего не вернешь. Теперь, когда Бога со мной не было, когда, может быть, Его вообще ни с кем не было, я понимал, что раньше всегда чувствовал, что Он рядом, что Он совсем близко от меня. Я и сейчас ничего не забыл из этого ощущения, что Бог рядом, мне Его не надо вызывать, я продолжал и продолжаю чувствовать Бога как свою отнятую часть, но она отнята, и я это знаю. Я вспомнил, что и после той моей давней ночной молитвы я еще не раз пытался к Нему обратиться, пытался Его вернуть, но в словах, которыми я молился, даже не было,

для кого они, кому. Самое странное, когда я молился, у меня ни разу не было ощущения, что Бог отступился именно от меня, что я, конкретно я, Его прогневил, здесь я был уверен, что нашел бы слова, я верил в Него, верил и любил Его, а ведь сказано: «Спасешься верою». Нет, я чувствовал, что Он ушел от нас всех. Вообще ушел. Теперь, когда это опять ко мне пришло, меня охватило такое отчаяние, какое до этого я никогда не испытывал. Мне казалось, что вокруг ничего нет, кроме холода, мир как бы бесконечно расширился, потерял замкнутость, все в нем сделалось чужим. Я не мог его ни населить, ни согреть. Его населял Бог — теперь Он ушел, и все сразу потеряло смысл и значение, стало огромным, пустым пространством, в которое можно было только падать и падать.

Сейчас мне было нетрудно очертить то место, которое Бог занимал в моей жизни, потому что оно так и осталось незанятым. Какие-то внешние формы мира еще сохранялись прежними, но сердцевина была изъята, и чем все держалось, чем и как скреплялось, понять было невозможно. Ощущение хрупкости конструкции, того, что вот-вот все рухнет, было постоянно. Иногда мне казалось, что мир как бы стал своим изображением, — только оно, это изображение, и осталось, ничего живого, только форма, видимость — жизнь же ушла. Так бывает зимой: лужа поверху замерзает, вода из-под льда уходит в почву, и когда наступишь — сухой треск и провал рытвины.

Все вдруг сделалось никому не нужным. Я не знал, как жить дальше, и постепенно впал в какое-то оцепенение. Мне было очень худо, но сделать ничего было нельзя, никакие таблетки мне не помогали, ничего во мне не ме-

нялось, я вообще ни на что не отзывался. В этом моем странном состоянии мне все же был дан один длинный, почти недельный просвет. Прежде о том, что касалось моих отношений с Богом, я говорил очень осторожно, все это было настолько непонятно, что я не верил себе, вернее, старался себе не верить, и все-таки я сразу знал, знал наверняка, что не только я оставлен, не только я не могу молиться. Я буквально кожей чувствовал, что приближается какая-то страшная, ни с чем не сравнимая беда, что мир покинут и неминуемо должен погибнуть. Держаться ему не на чем.

Однажды я даже не выдержал и во время обхода заговорил о моих страхах с Кронфельдом. Я уже много раз хотел это сделать, хотел через него предупредить и других, но все не решался. Я хорошо к нему относился, поэтому и заговорил именно с ним, он же решил, что я напуган больницей и ищущу сочувствия. Ко всей моей апокалиптике он отнесся с иронией, сказал, что и сам в последнее время чувствует себя не очень хорошо, впрочем, причина этого вполне реальна: два отделения он больше не потянет, что же касается меня, то и здесь тоже все ясно: я знаю, что в любой момент могу потерять память и как человек в общепринятом смысле кончиться, боюсь и самого лечения, те же, кто лежат со мной в одной палате, вряд ли способны внушить оптимизм. Все это Кронфельд по своему обыкновению говорил очень спокойно, пожалуй, даже лениво, и, наверное, его настроение мне передалось, потому что я вдруг увидел, что страх отпустил. Неправильно будет сказать, что я и вправду поверил, будто свою болезнь я раздуваю до вселенских масштабов: просто неизвестно почему у меня опять



возникла надежда. Вдруг почудилось, что не все еще решено. Что Господь чего-то ждет. И почти сразу же мне пришло в голову — раза два это было и раньше — начать писать другой «Синодик», «Синодик» тех, кто лежит рядом. Это была совершенно шальная идея, наверное, я просто устал бояться, ждать и вот опять вспомнил о той работе, которой занимался все последние месяцы перед больницей, да и в больнице тоже, работе, которую привык считать как бы своим оправданием, своей санкцией на жизнь. Но прошлая жизнь была для меня отрезана, она кончилась, и мне вдруг показалось допустимым и даже правильным писать о тех, кто лежит здесь. Тут было намешано много разных вещей, и еще то, что я знал, что виноват перед ними, перед ними всеми, буду виноват и дальше — ведь я продолжал смотреть на них так, как будто они уже умерли, и ничего не мог с собой сделать. Эти люди и вправду были обращены только в прошлое, только обратно, вспять, новое не существовало для них вовсе. Тут было что-то близкое, чрезвычайно похожее на смерть, и это давало мне право писать о них для «Синодика», перевешивая даже то, что они все же были живы, что я хоронил их живыми.

Наверное, не все из сказанного выше звучит безупречно, но то, как я намеревался рассказать о своих сопалатниках, мне вряд ли может быть поставлено в укор. Если бы я сумел их написать, в «Синодике» они, безусловно, были бы равными среди равных. Я знал, что не должен писать о них, пока их не полюблю, пока не захочу сохранить как своих близких. Господи, я действительно хотел полюбить их такими, какие они есть.

Конечно, полюбить их было очень трудно, их не любил, давно уже не любил никто, даже их собственные дети; на них уже была эта печать, что никто и никогда любить их больше не будет, они вправду были настолько грязны, отвратительны, что я был в полном отчаянии. Мне надо было хотя бы начать, сделать первый шаг любви к ним, а зацепиться не за что. В общем-то я был готов, понимал, что эта любовь не дастся мне легко, что понадобится огромный труд и огромное количество сил, чтобы их полюбить, а есть ли они у меня, достанет ли их, я не знал. Наверное, я все-таки надеялся на Бога, надеялся, что Он вернется, поможет мне, и тогда вдвоем, вместе мы, конечно же, сумеем сделать их любимыми.

Я помню, что у меня тогда был даже план, как прийти к этой любви, я понимал, что их никто не любит, потому что все думают, что как люди, как отдельное человеческое существо, существо, говорившее один на один с Богом, они умерли, больше их нет. Они остались теперь только в упрощенном одинаковом обличье, как бы в виде макета, и только чудо, равное воскрешению, могло сделать их прежними. Творить же чудеса я не умел, мне не было это дано, я и сам был человеком, оставленным Богом, человеком, которого Бог больше не слышал. И все-таки ни в чем, что было в эти несколько дней, я не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. План, о котором я говорю, был следующий: болезнь, а потом больница почти целиком стерли все то, в чем они были не похожи друг на друга, в чем они были разные, диагноз как бы сделал их близнецами. В диагнозе было отмечено все, что считалось важным и необходимым, чтобы они могли жить дальше, то же, что было в них от-

дельным, что они сумели сохранить из той своей жизни, которая была до болезни, все это почиталось никому не нужной чепухой, отклонениями, нюансами, которые ничего не меняют; так вот, я думал через Кронфельда, медсестер, нянечек узнать их диагнозы и отсесть это. Пускай осталось бы совсем мало, почти ничего, но это было бы то, чем они в самом деле были, а не болезнь, которой они были больны. В этих клочках была бы их жизнь, ведь каждый из них прожил длинную-длинную жизнь, в которой было все, что делает нас людьми, и я начал бы из этих мельчайших фрагментов собирать, склеивать их такими, какими они были раньше. Это была бы очень медленная и тонкая работа, постепенно края бы стягивались, закрывали лакуны, а я бы все больше и больше привязывался к ним: ведь если бы мне удалось воскресить их, сделать прежними, они стали как бы делом моих рук. Тогда бы я и полюбил их, впервые полюбил, сначала потому, что сам столько в них вложил, потому, что они были бы моими созданиями, моими детьми, а потом я бы понял, что все это, в сущности, ерунда, и осталась бы просто любовь.

Таков был мой план. Но еще ничего не было сделано, я просто сказал себе, что эти люди достойны любви, просто понял, что они люди, как все начало меняться. Я вдруг почувствовал, что Господь следит за мной, ждет, что у меня получится. Он был еще очень-очень далеко и не приближался, но Он уже был здесь, я не мог ошибиться. Возможно, я беру на себя слишком много и слова мои звучат кощунственно, но мне казалось, что Он как бы решил следовать за мной, довериться мне, то есть если я, человек, способен их полюбить, способен их спасти и воскресить,

то и Он, Господь, спасет и воскресит всех нас. Я знал, что должен их полюбить, что Господь хочет, чтобы я их любил, что Он очень этого хочет и с трудом сдерживает Себя, с трудом Себя убеждает, что то, что я захотел их полюбить, — это еще мало, так мало: все это идет не от сердца, а от ума, головы и еще от страха; вот если я в самом деле их полюблю, если в человеке, в простом человеке, а не в Христе — Сыне Божьем, все же есть любовь к своим ближним — ведь это самое малое, что можно требовать от живого существа, — тогда мы действительно достойны жизни, только тогда.

Я чувствовал, как все это важно для Бога, то есть Он тоже запутался и не уверен, не знает, что делать дальше, не знает, нужны ли вообще люди этому миру. Он уже склонялся к тому, что не нужны, что все зло от нас и мы неисправимы, но если я полюблю тех, кто здесь лежит, то, значит, Он, уйдя от нас, ошибся, тогда мы совсем не так плохи и еще можем быть спасены. Я знал, что если смогу всех их написать так, как тех людей, которых любил, даже зачем всех, пусть нескольких, пусть одного-единственного — это как с праведником в Содоме, — если я сумею хотя бы начать работу, то та беда, которую я чувствовал буквально на ощупь, остановится, перестанет к нам приближаться.

\* \* \*

Итак, стоило мне только подумать об этом «Синодике», как все плохое оцепенело, замерло и теперь будто ждало, будут они написаны или нет. Люди здесь, где

смерть была делом естественным, где она была ежедневна, желанна, считалась благословением, перестали умирать. Они как бы отдались мне в руки. Стараясь ничем мне не помешать, никак не отвлечь, они день за днем тихо и кротко лежали на своих койках, но я видел, что каждый из них верит, надеется, что именно его я выберу, чтобы сохранить.

Я знал, все время сознавал, что план мой — чистойшей воды утопия, что это совершенно невозможная для меня в моем нынешнем состоянии работа, работа на много-много лет, но больные как бы не хотели этого понимать и ждали так, будто я способен был это сделать. Они и вправду были как дети, верящие, что для взрослого — меня — нет ничего невозможного; или как те, кто пошел за Христом, моля Его: воскреси, излечи, накорми. Во всем этом не было никакой игры, не играла ни одна сторона, и то, что я тогда снова почувствовал Бога, свидетельствует, что и для Него, который знал истинные мои мысли и намерения, все тоже было очень и очень серьезно. И все-таки, когда я понял, сколько работы, сколько ученичества в психиатрии мне предстоит, прежде чем я смогу отсечь от них болезнь — ведь если бы мне это удалось, я в каком-то странном смысле их бы вылечил, снова сделал бы их людьми без болезни, — так вот, для этого мне надо было прочитать великое множество книг, которые совершенно не известно где было достать, вообще бездну всего узнать, а где, как — у меня даже подходов никаких не было.

Сам не знаю почему, я дня через два рассказал это Ифраимову: и про план, правда, без Бога, без всего того,

что делало его как бы из последних времен, а просто: что вот такой работой я занимался раньше, до больницы, а теперь здесь не получается, все уходит, ничего не могу вспомнить и поэтому думаю начать писать тех, кто рядом. Трудности этого предприятия я вижу вполне отчетливо, но попробовать хочу. Наверное, для него это выглядит смешно и по-детски, каждое свое слово я умалял, смягчал иронией, и все же, продолжал я, если бы он или кто-то другой, я просто не знаю, как к ним обратиться, мне бы посодествовали, я бы был им очень и очень благодарен. Ведь у них знаний о сем предмете, конечно же, больше, чем у меня, они видят, наблюдают больных десятилетиями, все-все на их глазах; в общем, повторил я, конечно, это дурь и блажь, но вдруг кто захочет помочь.

То есть я просто забросил удочку, вообще не веря, что кто-нибудь клюнет, даже боясь, что кто-то клюнет, потому что я, уже говоря с Ифраимовым, стал понимать, что все это вышло за мои пределы, — Господь готов был подумать о возвращении к человеку, больные перестали умирать, — и вдруг ужаснулся всему тому, что на себя взял, всему тому, что на себя принял. Я был, конечно, рад, что Бог согласился или, вернее, почти согласился вернуться, что в моем мире Он опять есть, и в то же время я вдруг ясно увидел, что меня ждет участь какого-то невиданного самозванца и провокатора. Провокатора, который обещал миру спасение, людям, многим-многим из них — исцеление и воскрешение. Пускай даже обещано это было нетвердо, но ведь все равно внушил надежду, сделал так, что они в это поверили, на это поставили, а теперь, если я ничем не сумею им помочь, — а разве я

был в силах им помочь, несмотря на то что намерения у меня были самые добрые, — окажусь неким абсолютным злом, человеком, который обманул в самом главном, обманул всех ему доверившихся. Я вдруг понял, что от меня, только от меня они ждут исцеления, что Господь ждет, что именно я, моя любовь скажут, спасти Ему этот мир или нет. То, что я хотел, было правильным, безусловно правильным, и в то же время это было совершенно отъявленное самозванство, потому что я явно ни в какой части ничего не способен был исполнить.

И все-таки я, зная, что у меня на это нет сил, что мне это не будет дано, пошел по этому пути, пошел, потому что остановиться и свернуть было негде и некуда, но шел я по нему совершенно невнятно и обреченно и так же кончал разговор с Ифраимовым. Я никак и ни в чем его не торопил и не форсировал и поэтому совершенно не ожидал той реакции, которая последовала. Ифраимов выслушал меня спокойно и, как мне показалось, без тени любопытства, а назавтра ко мне началось буквально паломничество. У дверей моей палаты еще до подъема собралось все местное население, как бы все народы и языки этого мира. Господи, они шли ко мне все, больные и воспитанники прежнего интерната, нянечки и санитарки, медсестры, врачи, включая самого Кронфельда, — все-все. Иногда они буквально выстраивались ко мне в очередь, даже лежащих санитарки совершенно безропотно прикатывали к моей палате, причем те были вымыты, на свежем белье и так ухожены, как перед приходом минздравовской комиссии.

И вот один за другим они обрушивали на меня целые кули своей жизни, тут были намешаны и болезнь, кото-

рую я должен был вычлениТЬ, и множество живых деталей, множество мелких подробностей их собственной жизни — за ними-то я и охотился. Больные очень быстро разобрались, что мне от них надо, это было как наводнение, они говорили и говорили, буквально не могли остановиться, но стоящие за ними, ждущие своей очереди, были спокойны, терпеливы, кротки, никто никого не торопил: все понимали, как это важно, чтобы каждый из них выговорился. Важно для всех, они даже помогали тому, кто плохо себя помнил, добавляли, если он, стесняясь, говорил о себе чересчур кратко: а вот, помнишь, было еще и это с тобой, а вот тогда-то ты нам сказал это, или сделал то, или так учудил. Легко они уступали друг другу и очередь, а совсем немощных и всегда пропускали вперед; в сущности, они, по-моему, догадывались, что кого из них конкретно я внесу в «Синодик» — разницы нет, главное, что они или все спасутся, потому что Господь вернется, или все погибнут.

Когда-то в газете я долго и, как мне казалось, безуспешно учился стенографии, однако в больнице выяснилось, что основные навыки этого искусства я усвоил. Наиболее существенное я почти всегда успевал записать и знал, что память поможет мне восстановить остальное. То, что идет ниже, — это первоначальная обработка и сведение стенограмм, отнюдь еще не «Синодик», просто попытка разобраться и вычлениТЬ общее — их болезнь — из мешанины судебных, историй, впечатлений, которая на меня свалилась. Как я теперь сам вижу, это очень холодный и очень высокомерный взгляд на больных; разумеется, я не решусь утверждать, что такими они ко мне при-



ходили. Вернее сказать, это их рассказы, пропущенные через то, какими я их видел раньше.

Взгляд этот был неправилен, теперь я чаще и чаще думаю, что он был совершенно неправилен, возможно, именно он все погубил, на них нельзя было смотреть холодно и изучающе, совсем нельзя было. Их с самого начала надо было любить, любить и спасать, а не анализировать, только любовь могла их спасти; я должен был не знать, должен был вообще забыть, что они больные, что главное в них — болезнь, я чересчур убедил себя, что от них остались лишь лоскутки людей и дальше мне предстоит бесконечная работа по заполнению провалов и разрывов, мелкая кропотливая работа; и вдруг, когда они предстали передо мной целыми, сумевшими даже болезнь сделать своей собственной, ни на чью другую не похожей болезнью, частью себя, я, ведомый своим планом, вдруг снова начал разрезать и препарировать их, то есть стал снова делать их больными. Господи, я, конечно же, не должен был идти этим путем, не должен был смотреть на них, как врачи, потому что врачебный взгляд давно и однозначно приговорил их к смерти, я же пришел, чтобы их исцелить. Но я просто не знал, как со всем этим справиться.

Раньше всего меня поразило не то, что больные сами про себя рассказывали живое, что в них еще была жизнь, а что нянечки, как оказалось, искренне обижались на них, искренне почитали их хитрыми и лживыми, искренне их боялись и с ними боролись, то есть считали их равными себе, знали, что они живые. Потом я записал, что, в сущности, все больные — и те, кто почти постоянно был в

эйфории, и те, кого я знал мрачными и отрешенными, похожими на тени каких-то недобрых птиц, — отказались от нового, вообще отказались от новых впечатлений, отношений, людей, то есть они не хотели ни в каком виде продолжения жизни, не видели в ней ничего хорошего, ничего достойного внимания; единственное, для чего она еще была им нужна, почему они ее длили, — происходящее вокруг напоминало, будило в них воспоминания. Нынешняя же жизнь была для них все время мелькающими, исчезающими и снова возникающими неведомо откуда огоньками. Эти огоньки походили на светляков в густой южной ночи, больные шли за ними, как за поводырем, пытаясь что-то понять, что-то найти в своем прошлом, теряли их, долго, натываясь друг на друга, блуждали в полной темноте, снова находили, и тогда им хватало света, чтобы увидеть, что они в больнице и жизнь кончается. В этой полной обращенности вспять, этой попытке уйти в прошлое, в сознательном отказе от будущего, признании его недостойным и ненужным, — если бы их спросили, они бы единогласно высказались за то, что жизнь человечества дальше длиться нет смысла, — было какое-то страшное упорство и в то же время слабость.

Легко, как во сне, переплетая события и людей из своей жизни, они почему-то в итоге получали такой убогий мир, что мне все время было их жалко. Их вообще было жалко: они были суетливы, бестолковы, все время собирались в какую-то дальнюю дорогу, наверное, эта дорога вела в прошлое, спешили и все никак не могли упаковать вещи, чего-то путали, теряли, забывали. Особенно беспокойны они были ночью: в мире, в котором они жили,

как бы гасили свет, его закрывали, и им пора было уходить, и тут, когда им надо было особенно торопиться, они обнаруживали, что их ограбили, разорили, что ущерб огромен и невосполним, все нажитое пропало и возвращаться не с чем. Лишившиеся всего, вынужденные теперь остаться в больнице, где и люди, и санитарки, и врачи, и само место вызывало у них лишь отвращение, они становились упрямы, подозрительны, доводы на них никакие не действовали, заставить их что бы то ни было сделать было невозможно. В то же время они как один были чрезвычайно легковерны, они все-таки продолжали верить, что не все потеряно, что еще есть надежда, может быть, это была просто шутка, или воры устыдятся и вернут то, что взяли. А пока они снова принимались копить необходимое для дороги, снова готовились в путь, только теперь еще чаще, еще тщательнее пересчитывая и проверяя имущество.

В стенограммах нередко и другое свидетельство их отказа от настоящего — это, кстати, было вообще первым, что поразило меня в больнице, — они, как и от прочего, отказались от своего лица и теперь не узнавали себя в зеркале; так же и в своих соседях по палате они видели совсем других людей, тех, кто окружал их когда-то давно, в молодости. Это был поразительный маскарад, душа в них уже отделилась от тела и ушла, тело, в которое она была заключена, стало ей омерзительно, и она легко забыла его, сбросила, как старую кожу. Но кожа эта осталась, была еще жива. Плоть, лишенная души, вывернута и обнажена; и все они, особенно старухи, были бесстыдны, грязны и все время вождели, все время хотели.

Стоило случайно дотронуться до них рукой, как они начинали хотеть, им было необходимо заполнить пустоту, они не могли больше оставаться одни.

Душа не просто, уйдя, освободила их; уйдя от них живых, уйдя при жизни, она надругалась над ними, и вот то, что свобода плоти, ее радость, радость ее освобождения, а это тоже было, была связана в них с надругательством, толкало их на самые дикие извращения. Им нужны были оргии, им надо было быть растоптанными, распятыми, брошенными, они должны были страдать, испытывать к себе омерзение, знать, что они грешны и непоправимо виновны, — это было условием их радости, той ценой, которую они за нее платили. Но и в похоти своей они были жалки: немощные и слабые, они редко доходили до конца, злясь, они плакали, снова и снова терзали свою бесильную плоть, а потом их как бы прощали, они обо всем забывали и засыпали.

Вместе с душой они отказались и от этики и в этом смысле тоже вернулись к началу, в детство. Раньше этика их сглаживала и смягчала, везде вводила начала компромисса, терпимости, теперь же они как-то разом огрубели. Это касалось и черт лица, и поведения, и речи — все сделалось резче и определеннее, так что они стали напоминать пародию, карикатуру на самих себя.

Вернувшись в детство, они ушли от Бога, снова сделались язычниками. В них не осталось ничего похожего на христианство, на покаяние, на сознание своей вины, не ждали они и милости. Страдания казались им лишь ничем не заслуженной и ничем не оправданной карой, в них жило ощущение бесконечной несправедливости это-

го мира, несправедливости, выпавшей именно на их долю; думаю, что в Бога никто из них больше не верил. Я не сужу и не судил их, никого из них, но когда в первый день я записывал их рассказы или исповеди, не знаю, как лучше это назвать, единственные, кто вызвал у меня настоящее сочувствие, были инсультники. Обычно мрачные и злобные, часто буйные (потом, когда они уставали, это сменялось апатией и отрешенностью), они хотели исправить мир силой и действием, разбить, сломать все двери и перегородки, снова открыть его, сделать сквозным и просторным. Борьба их была неудачна, они терпели поражение и для этого мира как бы умирали. Они отказывались от него, и он тоже от них отказывался. Переход инсультников от нормальной, деятельной жизни к необратимой болезни и больнице был очень скор, это и вправду был удар, мгновенная ломка, и они продолжали жить, зная, что в их болезни не было последовательности и естественности, не было правильности, всего того, что в избытке имели те, кто просто впал в детство.

Часть их мозга, очевидно, и сейчас была здорова, но она не могла пробиться сквозь больные ткани, никак не могла восстановить связи, найти своих, это было как во время войны: семью раскидало по стране, кто на фронте, и неизвестно, жив ли, погиб, а может быть, ранен и лежит в госпитале или пропал без вести, и про остальных тоже ничего не известно: бомбежки, эвакуация, все для всех канули, и никто никого не может разыскать. Никто не знает, есть ли у него еще жена, дети или он на этом свете один и все ни к чему. В этой уцелевшей части оставалось много жизни, и она, как могла, билась в наглухо

закрывает дверь, она не понимала, кто посадил ее в эту камеру; как здоровый человек, неведомым путем попавший в психушку, она ничего не понимала: почему, кто, зачем — и сходила с ума.

С первого дня, как я начал стенографировать за ними, я всегда помнил, что мысль их спасти, внеся в «Синодик», была случайна; я стал думать об этом только потому, что меня самого ударили, только потому, что я вдруг увидел, что оставлен Богом. Здесь было мало альтруизма, мало того, что могло бы меня оправдать, все это делало честь лишь моей интуиции, мне ничего за это не полагалось, ничего не должно было мне зачесться, я спасался сам, и они были кругом, за который я цеплялся, чтобы выплыть.

Я ухватился за этих людей, стал о них думать, стал хотеть их сохранить, когда понял, что в этом мире я совсем один, что я так же оставлен и Богом и людьми, как они, я просто не мог больше быть один. Только когда Бог уравнил нас в одиночестве и брошенности, только когда Он свел меня вниз, свел к ним, я увидел их и вспомнил их и сказал им, что они мои братья. Я сначала только сказал, потому что еще не чувствовал их своими братьями, только умом понимал, что они мне братья, — я все-таки считал себя выше и долго пытался и хотел описать их сверху, хотя Господь и поставил нас вровень. Я говорил себе, что я старший среди равных, что я как старший брат: отец умер и я в семье, роде заступаю на его место. Я, конечно же, был совершенно не готов раствориться, смешаться с ними, я только хотел как поводырь повести их к свету, чтобы Бог их увидел и вспомнил о них. То есть я думал, что я один знаю, где свет, один знаю, что Бог есть.

Собственно говоря, теперь во мне так сразу все изменилось, что я уже не понимал и не помнил, почему раньше я не видел, что описание этих людей и есть моя работа, то, для чего я сюда попал, может быть, то, ради чего я вообще существовал на свете. А моя работа над добольничным «Синодиком» — только подготовка, только репетиция, ученичество. И еще: мне как бы сразу открылось, что будет дальше, моя роль, что мне дано, вернее, позволено сделать и что из этого может произойти, я вообще вдруг очень отчетливо увидел весь путь; смогу я их исцелить или не смогу — было единственным, чего я не знал. Но следствия того и другого были мне ясны. Я видел все очень холодно и отстраненно, это было как в поздний осенний день, когда уже нет листьев, все прозрачно и голо, ясно, что скоро зима, снег, тепла, бабьего лета больше не будет, оно в прошлом, видно, очень-очень далеко, нет ни иллюзий, ни надежд — только смирение, потому что ничего не изменить. Мне кажется, что то, как я тогда смотрел на мир, было близко к тому, как смотрел на него Господь. Он почти до безнадежности отдалился от созданного Им человеческого рода, видел его теперь целиком, от начала до конца, и не питал больше никаких иллюзий, никаких надежд. К человеку Он охладел, ушла любовь, тепло, которые долго, очень долго мешали Ему нас разглядеть. Он очень нас любил, все мы были Его детьми, детьми Божьими, и Он нас прощал, был к нам добр, нежен, главное, снисходителен, Он долго умел себя убедить, что мы все еще дети и какой же может быть спрос с детей. Теперь это ушло, Он устал от нас, понял, что мы взрослые и ничего не исправишь. Взгляд Его на нас все

больше повторял взгляд врачей, мы стали для Него разновидностями болезней, как бы паноптикумом, собранием самых разных отклонений, нарушений, уродств.

Если раньше каждого из нас Он считал достойным своим собеседником, ведь Он Сам сотворил не массы, не толпы, а одного человека; то есть Он сделал так, что наша мера — один человек, а все остальное мы, соединяясь в семьи, классы, народы, государства и еще бог знает как, придумали, сами придумывали потому, что боялись говорить с Ним один на один.

Он смотрел на людей, смотрел, как они прятались за спины друг друга, они все время хотели уйти в тень, стать невидимыми для Него, и это рождало всегдашнее очень медленное и осторожное коловращение, впрочем, если им сразу не удавалось спрятаться, они толкались, ругались, могли и подраться, они, как в нору, зарывались друг в друга и тут же, зарываясь все глубже, друг друга откапывали, — это и была их жизнь, их история. Они не были готовы говорить с Богом, и не только из-за тех грехов, которых много было на каждом; просто жизнь, которую они уже давно, много-много поколений вели, была жизнь без Бога, и теперь, когда Он вдруг вставал перед ними, Он только всем мешал, и, главное, они не знали и не помнили, как с Ним говорить, о чем с Ним говорить. Словом, они уже стали чужие Ему, Он им казался чем-то вроде соглядатая, который вдруг в эту их жизнь входил и все сразу сбивал, все нарушал, менял и ее цели, и смысл, и даже ритм: то, что было, делалось ненужным и неправильным — для чего, почему Он все это у них отбирал?



Они не понимали, зачем Он приходил, ведь они своей жизнью, вечным блаженством, которым они пожертвовали, уже сказали Ему, как хотят жить, вернее, не как хотят, а то, что иначе они жить не могут. Они уже со всем смирились, на всем поставили крест, поняли, что они ни на что не имеют права, что они слабы и не достойны никаких Его милостей, может быть, лишь некоторые из них — капли сострадания, а теперь Он являлся, чтобы с ними говорить, хотя знал, что говорить им не о чем. Вот они и прятались от Него и только злились, раздражались, что, как они ни пытались от Него за другими укрыться, все-таки кто-то из них всегда оказывался прямо перед Ним; им это казалось Его, Бога, хитростью, что кто-то всегда был перед Ним, недостойной хитростью, и они его, несчастного, — не Бога, конечно, а человека, — сострадая, впускали в себя обратно, и опять кто-то оказывался на краю. Получалось, что, спасаясь сами, они топили друг друга, и это продолжалось столько, сколько Он здесь стоял. Это была очень недобрая Его шутка, что всегда кто-то оказывался на краю, не в гуще, а с Ним один на один.

\* \* \*

Через неделю после того дня, когда мне стало ясно, что я должен начать писать «Синодик» здешних обитателей, ко мне в палату снова пришел Ифраимов и без вступления, без всякой связки продолжил рассказ о «группе Эвро», Институте природной гениальности и о тех его остатках, которые оказались в нашем отделении. Во всяком случае, я так думал, что речь идет об этих предметах,

пока Ифраимов, вдруг резко повернув, к моему изумлению, сказал: «Насколько я знаю, Алеша, вам и самому хорошо известно, что на рубеже двух веков — восемнадцатого и девятнадцатого — не много было в России столь же читаемых и почитаемых писателей, как мадам де Сталь».

Дальше в тот вечер — как будто те записи, та работа, которой я занимался, больше уже не была нужна и единственная, кого следовало сохранить, была Жермена де Сталь, — он говорил только о ней. Де Сталь была моей давней привязанностью, теперь, как я узнал, и его. Конечно, услышать то, что думает на сей счет Ифраимов, мне было небезынтересно, хотя, пожалуй, в том положении, в том месте, где мы тогда находились, скорее, странно. Я не вступал с ним в полемику, ни в чем ему не противоречил, насколько помню, даже вообще не сказал, что занимался тем же сюжетом, но все равно для меня это был диалог. И судя по тому, с каким напором он говорил о Сталь и тогда, и в следующие дни, он это чувствовал. Впрочем, может быть, Кронфельд и проболтался, что я собирался писать о ней книгу.

«Ее современники в один голос утверждали, — продолжал Ифраимов, сидя рядом со мной на кровати, — что роль, сыгранная ею не в литературе — в жизни, — единственная и, что еще ценнее, она получила ее не по наследству, не по праву рождения, а сама родила и выкормила эту роль, то есть воистину она была ее собственной, ее и больше ничьей. В сущности, такое восторженное отношение тех, кто совпал с мадам де Сталь во времени, неудивительно: все мы любим себя и как часть

себя любим свое окружение, странно другое — почти так же относятся к Жермене де Сталь и те, кто живут сейчас.

Хотя ей не было дано управлять странами и народами, но все сходятся, что без казны, без армии, без двора, — словом, одна она достигла большего, куда большего, стала наставницей, властителем помыслов и тому подобное целого поколения. И, может быть, не одного. Шлейф ее идей, ее уроков тянется очень-очень далеко, даже сейчас, когда де Сталь читают уже мало, в редкой книге не найдешь характеров, которые восходят к ней. А тогда те, кому Господь судил родиться женщиной, от России до Испании и обеих Америк, не просто зачитывались ее «Дельфиной» и еще более популярной «Коринной» — они этими романами были созданы и сформированы. Не многим из них удалось в жизни повторить судьбу персонажей Жермены де Сталь, еще меньшим это принесло счастье, здесь, впрочем, она никого не обманывала: героини ее прекрасны, но несчастны и гибнут; но это был тот идеал, о котором мечтают все, и то, что никто его так и не достиг, только очистило и сохранило его. И они, те первые, кто в юности прочитал ее книги, ничего не исказив, передали его своим дочерям, те — своим, и так, как я уже говорил, многое, очень многое дошло и до нас; весь девятнадцатый век, во всяком случае в своей женской половине, построен ею. Сама де Сталь несправедливо быстро отошла на второй план, но все равно помянуть это имя не грех.

У Жермены де Сталь, — продолжал Ифраимов, — был очень сильный, рассудочный, почти мужской ум, она скорее была мыслителем, философом или эссеистом —

всего вернее последнее, — чем писателем; ее работа «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями», где она, отсекая крайности, с блеском продолжает Монтескье, была ярче и талантливее ее романов; современники это понимали ясно, ясно это и сейчас, время здесь ничего не изменило. Эта работа вполне рационалистическая и спокойная по тону, с бездной блестящих, остроумных наблюдений, с бездной ума, понимания разных и разноязыких стран, народов, отдельных представителей рода человеческого — де Сталь вообще была открыта для всего и все принимала — истинно ее, а романы — производное ее таланта. По этому поводу, конечно же, можно спорить, но в пользу сказанного — и то, что всего лучше она была в живой беседе, здесь знавшие ее единодушны: в разговоре она была быстра, умна, точна, весела. Там, в салоне, который стал собираться в их доме, еще когда она была ребенком, а карьера отца при французском дворе дошла до своей первой из трех вершин, де Сталь была необыкновенна. Не она создала этот институт — салон, и не ею придуман этот жанр — беседа в салоне, но то, что это было сделано «под нее», по ее мерке, — тут сомнений нет. В разговоре она действительно была хороша, говорила едва ли не афоризмами и в то же время была совершенно естественна, без намека на вычурность, без какой-либо попытки подавить собеседника. Люди ей были интересны, интересны такими, какими они были, и ты это чувствовал с первого ее слова. У нее была редкая быстрота реакции, умение предугадать ход, то есть много расчетливого, шахматного, и в то же время неожиданность, лихость, бесшабашность

сравнений, так что все, что она говорила, звучало до странности по-новому, не утомляло. У этого, конечно, была немалая база, она получила очень хорошее образование и знала много. Она по-настоящему знала много, то есть знания были ею пропущены через себя, продуманы, сделаны своими. Но не в этом суть; ее хватило и на большее, ума в этой женщине было столько, что еще в отрочестве, девочкой, она поняла, что не ум делает нашу жизнь такой, что ее стоит жить, и это понимание она тоже сумела пропустить через себя, так пропустить, что, как я уже говорил, поколения любили, безрассудно отдавались страстям, страдали по ее книгам. И еще на одно совсем уж дерзкое достало у нее ума: она сумела прожить свою жизнь так же, как ее героини.

И все же Жермена де Сталь, — говорил Ифраимов, — никогда не была счастлива. Да, в ее жизни было в избытке того, о чем в юности она загадывала и мечтала: она была окружена замечательными людьми, влюблялась, меняла любовников, рожала детей, была в центре чуть ли не всех интриг и авантюр, решавших в ту эпоху судьбы Франции и Европы, тем не менее умирала она как бы обманутой, убежденная, что Господь не дал ей того, для чего предназначил. И ее современники, и мы без малейших сомнений ставим ее выше любых титулованных особ, но сама она всю жизнь думала и хотела лишь одного — быть как они. Она мечтала об их доле, об их участи, о том, что было им дано, а ей нет, — она хотела власти, власти над другими людьми, просто власти. Более того, она всегда была уверена, что Господь ее для этого и предназначил, для этого она и была рождена. То есть ее права на власть как бы от Него, Госпо-

да, и исходят. Здесь не было безумия: то, сколько с ее умом и в ее время она сделала за жизнь, — лет за пять до смерти она сама в Коппе, своем поместье, подвела итог — справедливо представлялось ей ничтожным, несоизмеримо малым, это была бессмысленная растрата данного ей. Она писала, что была марионеткой, которую судьба вместо престола поместила в игрушечный мир парижского салона. Все, чем она обладала, конечно же, требовало соответствующих средств, соответствующего масштаба, она же так и осталась ваятелем, зодчим, вынужденным до конца своих дней промышлять миниатюрами.

Действительно ли Господь искушал ее властью — это не такой простой вопрос даже для тех, для кого Господь Свят, Всеблаг и искушать никого не может. Для нее же, которая верила, безусловно верила, но сомневалась, многие друзья которой были вовсе агностиками, он был еще более не прост. Родись она в другие времена, когда право на трон давалось лишь рождением, то есть редчайшим случаем, простым везением, — и все было бы понятно, но она появилась на свет Божий перед революцией, была выращена революцией, той революцией, которая возвела в принцип равенство, равенство всех и каждого. То есть то, что говорилось раньше лишь немногими философами, при ней, на ее глазах стало основой всего права, в том числе и права на власть. И этот принцип соблюдался. После казни Людовика XVI немалое число лиц, не обладавших никакими достоинствами, кроме жажды власти, добирались до вершины, утверждая и подтверждая, что власть может получить каждый, вопрос только, сумеет ли он ее удержать.

И если мы вспомним, что одна только революция была тогда источником власти, одна она давала на нее право, потому и брат короля Филипп Орлеанский отказался от своего титула, стал Филиппом Эгалите — Филиппом Равенство, а сын его впоследствии был посажен на французский престол под именем Луи-Филиппа, следовательно, сам Филипп Эгалите был признан правым в том, что голосовал за казнь брата, — то, что она, умнейшая из умнейших, мечтавшая о власти как никто другой, эту власть так и не получила, трудно понять. Но это лишь малая часть ее счета к Богу.

Дело в том, что ее семья, вернее, ее отец, собственно, и породил эту революцию, то есть все права на нее, в первую очередь право ею распоряжаться, принадлежали ему, а по наследству — ей, его любимейшей дочери. Ее отец, барон Неккер, трижды бывший государственным контролером при последнем Людовике, своими докладами о положении финансов страны создал революцию из ничего, и, конечно же, он должен был ее возглавить. Помимо того, он был честен, всеми уважаем; нет сомнений, он управлял бы страной куда лучше, чем все, кто получал власть, — от Робеспьера до Наполеона. И народ Франции хотел его власти: он был той фигурой, которая устраивала всех, он мог бы примирить и успокоить страну, в самом деле стать ей хорошим правителем.

Ни Неккер, ни она так никогда и не поняли, почему он был столь быстро удален, столь быстро ушел в тень, единственный ничем себя не скомпрометировавший и, в общем, по любым понятиям, светлая фигура. Революции тогда были внове, и, конечно, де Сталь не могла знать,

только догадывалась, что это есть почти маниакальное ускорение жизни и власть, поколения власти меняются при ней очень быстро, за считанные дни, месяцы. То есть что я хочу, Алеша, сказать: возможно, она ошибалась, возможно, ее обвинения Бога несправедливы, но факт остается фактом: она была знатью, первостатейной знатью, самой родовитой знатью революции и имела все права на престол. Доводы, что я здесь изложил, свидетельствуют об одном: в ее позиции, безусловно, была логика, но сама она не считала это существенными, юристом она была меньше всего. Если бы на суде ей предложили обосновать свое право на власть, она сказала бы об ином. Она начала бы с того, что в молодости ее любовниками были Талейран, впоследствии, после поражения Наполеона, спасший Францию; Баррас, входивший, а какое-то время фактически возглавлявший правящую Директорию; бывший вместе с Наполеоном консулом Бенджамен Констан и еще многие, в чьих руках в разное время были судьбы Франции, но которых по ряду соображений она называть не может.

Известно и подтверждено, в частности, их собственными письмами, что политическая карьера каждого из этих людей, как правило молниеносная, начиналась с одного: с любви, со связи с ней, Жерменой де Сталь. Все они без исключения были ее. Все они любили ее, ласкали ее, владели ею. Она была женщина, и они входили, вступали в нее. Она принимала их всех, всех прятала в себе и укрывала, всем дала силы. Она сама так же, как Господь Бог, так же, как революция, была источником власти, он был в ней самой, в ее нутре, и те, кого она впускала в



себя, получали власть. Потом она бы обратилась к присяжным: «Долгое время я пыталась обманывать себя, я не могла примириться, принять, что власть во мне самой и мне же самой недоступна. Согласитесь, — сказала бы она им, — что для меня, жаждущей власти Жермены де Сталь, были придуманы муки хуже, чем для Тантала. Я прожила жизнь, но ни разу так и не напилась, разве я не заслуживаю снисхождения?»

У Сталь был изощренный ум, и она не верила, что выхода нет. Многие-многие годы она доказывала себе, что ее любовники добывают, берут власть не из нее, дело в салоне, он один — та лесенка, по которой они поднимаются вверх. Она обожала свой салон, холила его, лелеяла, каждого, кто приходил к ней во вторник или в пятницу — дни, когда она принимала, — она встречала как своего единственного друга. Собственно, это естественно и понятно, я уже говорил, что лишь в салоне она чувствовала себя по-настоящему хорошо, лишь там, среди ярких, незаурядных людей, которых она сама выбрала и пригласила, она понимала, что живет не зря. Очень рано, кажется, почти сразу после казни Робеспьера, когда возобновились ее традиционные вторники и пятницы, создала она и легенду о своем салоне; цель ее была проста: она хотела малого — чтобы источник власти был где угодно, пускай совсем близко, рядом, только не в ней. Чтобы доказать, что власти в ней нет, что изнутри она обыкновеннейшая баба, она была готова на все. В этом и суть легенды, которую она потом развила чуть ли не в целое учение.

Жермена де Сталь, — продолжал Ифрамов, — утверждала, что совсем небольшая, но хорошо организованная

и хорошо законспирированная группа, объединенная общей целью, с умным и волевым руководителем во главе без труда может взять судьбы мира в свои руки. Необходимо для этого одно — железная дисциплина, готовность всего себя подчинить нуждам организации. Салон ее и есть «крыша» для такой группы. За ширмой светской болтовни и отвлеченных философствований здесь решается, кто и как будет править Францией. Легенда эта в свое время была очень популярна и широко распространена в немалой степени благодаря Наполеону. У Фуше, который заведовал французской тайной полицией, среди друзей мадам де Сталь было множество осведомителей, и он знал, что на самом деле представлял собой ее салон, поэтому высылку де Сталь сначала из Парижа, позже и вовсе из Франции мне объяснить нелегко; возможно, Фуше просто нужны были заговоры, чтобы укрепить свое положение.

Вообще, как мне кажется, Алеша, судьба мадам де Сталь чем-то родственна судьбе первочеловека Адама. Их жизни как бы дополняют друг друга. Такое ощущение, что Жермена де Сталь была задумана совсем для другого времени, что Господь изначально предназначал ей быть Евой, Адамовой женой, праматерью, и она просто опоздала родиться. Вспомните эпизод из Бытия, где Господь говорит Адаму, чтобы тот сам дал имена всему живому, что Он, Господь, создал и чем населил предназначенную человеку в удел землю. Но чтобы дать каждой твари ее истинное, единственно ей принадлежащее имя, Адаму надо было знать ее природу, надо было узнать, понять, кто на самом деле она есть. Все это знал Господь,

создавший ее, но не Адам. И когда ангелы одну за другой стали подводить к нему Божьи твари, он, чтобы понять их суть, понять, кто же они, входит в них, на глазах Господа познает их как Еву, как мужчина познает женщину, познает, как Баррас познавал в Жермене де Сталь суть власти, — и только после этого нарекает их.

Если верить биографам мадам де Сталь, — говорил Ифраимов, — в тысяча восемьсот десятом высланная из Франции, оставленная всеми близкими друзьями, она поселилась в Швейцарии, в своем родовом поместье Коппе. Первые месяцы она была очень грустна, подавлена, никого не хотела видеть, но потом судьба преподнесла ей неожиданный подарок. В нее влюбился молодой француз, офицер Жан Рокка, и, хотя ему было двадцать два года, а ей к тому времени сорок четыре, они поженились. Через год она родила дочь, которую окрестили тем же именем, что и ее саму, — Жермена. Вскоре после родов мадам де Сталь тайно покинула Швейцарию и через Вену и Варшаву приехала в Россию. Она побывала в Киеве, Москве, Петербурге, была принята Александром I, войска Наполеона тогда уже форсировали Неман, и ее, имевшую славу самого опасного врага корсиканца, везде встречали восторженно. Осенью тысяча восемьсот тринадцатого она отправилась на корабле в Лондон, где ее по тем же причинам, что и в России, ждал не менее триумфальный прием. Потом мадам де Сталь снова поселяется в Коппе, а в октябре шестнадцатого года возвращается в Париж. 21 февраля 1817 года по пути на бал, устроенный главным министром Людовика XVIII, на лестнице его особняка она упала. Паде-

ние вызвало кровоизлияние в мозг, от которого спустя пять месяцев Жермена де Сталь скончалась. День ее смерти, 14 июля, — день начала Французской революции.

\* \* \*

Эта внешняя канва событий бесспорна и не вызывает никаких сомнений, но суть их, как это нередко бывает, осталась скрыта от всех историографов Жермены де Сталь. Чтобы понять ее, нам необходимо отступить на пять веков назад. В 1495 году, в девятый день месяца Аба, то есть в тот же день, когда были разрушены и Первый и Второй Иерусалимский Храм, испанский король Филипп Кастильский издал указ об изгнании евреев из страны. Через два года после этого указа две знатные еврейские семьи добрались до Женевы и здесь нашли приют у прапрадеда барона Неккера, Жака Неккера. С Жака, собственно, и начинается возвышение рода Неккеров.

Вторая половина пятнадцатого века была одним из самых страшных периодов в длинной истории евреев. В разных концах Европы множество их общин были полностью вырезаны или насильно крещены, в других перебиты все мужчины и только женщинам, да и то за огромный выкуп, оставлена жизнь. Некоторые из известнейших равнинов-каббалистов (среди них ученики знаменитого рабби Лурия) полагали, что недалек тот день, когда все евреи будут истреблены и труба Господня возвестит, что пришло время Страшного Суда. Поэтому в ешивах, руководимых этими раввинами, с особым рвением изучались тексты, связанные с Девятым Аба и Страшным Судом. Наибольшее вни-

мание привлекали два вопроса: первый, вполне практический — что делать еврейкам тех общин, где ни один мужчина не уцелел, если у них нет возможности перебраться в другой город. Как им выполнить заповедь Господа — «размножайтесь», как продлить и продолжить свое племя? Второй — весьма странный комментарий Талмуда к двадцать второй главе Торы, в котором утверждалось, что когда народы предстанут перед Страшным Судом, в каждом из них найдется по несколько Коганим (они и станут заступниками этих народов), то есть прямых по мужской линии потомков Аарона, в чьих жилах не течет никакой другой крови, кроме еврейской. Причем текст можно было понять так, что ни сами они, эти Коганим, ни жены их не будут знать, что они евреи.

В конце концов после долгой работы ключ к пониманию этого комментария был найден. Буквы двадцать второй главы Торы, переставленные в определенном порядке, образовали новый текст, который не только объяснил загадку с Коганим, но и дал ответ еврейкам, оставшимся без мужей и женихов. Среди прочего он содержал рецепт некоего состава — основой его была та самая мандрагора, что в древности помогла понести Рахили, — выпив который женщина, не имевшая мужа, если обыкновенное женское у нее не прекратилось, могла забеременеть и родить дитя, которое было ею самою. Добавляя такой женщине еще целую жизнь, Господь как бы признавал ее правоту перед Ним и Свою вину. Последнее, правда, не совсем точно. В сущности, это не было новой жизнью, а именно продлением старой. Все тленное, все, подверженное старению и распаду, обновлялось в женщине полнос-

тью, другое же она сохраняла. Никакие бедствия не должны были стереться из ее памяти, никто из убитых не должен был быть ею забыт. Женщине позволялось использовать это средство всего три раза, дальше вина и грех переходили на народ, так и не сумевший помочь соплеменнице.

В числе прочего, чем бежавшие из Испании евреи отблагодарили Жака Неккера, оказался и этот секрет продления жизни. Насколько я знаю, первым, кто из неевреев воспользовался им, была Жермена. В семье Неккеров он был забыт, и она обнаружила его совершенно случайно, от скуки разбирая в Коппе родовой архив. После некоторых колебаний и сомнений в богоугодности этого шага она решила продлить себе жизнь.

Таким образом, дочь Жермена, родившаяся у Жермены де Сталь от Жана Рокка, вопреки обманчивой очевидности, не имела к Рокка никакого отношения и была самой Жерменой де Сталь. Для своей второй жизни мадам де Сталь выбрала не Францию, которая столь жестоко обманула ее надежды, а полюбившуюся ей Россию. Подобрал трех надежных женщин — кормилицу, няньку и гувернантку, она перевезла годовалую девочку туда, купила на ее имя большое и очень красивое поместье южнее Оскола и, устроив дела, села в Петербурге на корабль, отправлявшийся в Англию. В России Жермена де Сталь была крещена по православному обряду и записана в дворянский список под именем Евгении Францевны Сталь, помещицы Тамбовской губернии».

Сказав мне, что де Сталь поселилась в России, Ифраимов вдруг потерял нить разговора и принялся нести стран-

ную околесицу о русско-французской войне 1812 года, о женственности России...

Потом он сказал, что жизнь Жермены де Сталь у нас продолжалась целых три поколения и он наверняка расскажет мне в свое время о наиболее примечательных событиях, здесь с ней случившихся, но не сейчас и не сегодня, теперь же нам пора разойтись — мы и так полночи никому не даем спать, и на этом кончил. Он поднялся я тоже встал и пошел его проводить. Уже зная Ифраимова, я был уверен, что продолжение последует не раньше чем через неделю, но следующим вечером он, едва мои старики разошлись, опять пришел ко мне, сел рядом и, по всей видимости, готов был продолжить историю жизни де Сталь. Причем держался он на этот раз необычно, у меня даже возникло ощущение, что за ночь он на что-то для себя важное решился, однако сделать то, что задумал, без моей помощи не может. Скорее всего, речь шла о «Синодике», я даже был уверен, что именно о нем, и, значит, жизнь мадам де Сталь будет рассказываться мне теперь не просто так, а потому что Ифраимову надо, чтобы она вошла в «Синодик». Впрочем, может быть, все это мне только померещилось.

\* \* \*

Иногда Ифраимов не мог сразу начать говорить, и тогда долго, чуть ли не полчаса, он сидел совершенно неподвижно, положив руки на колени, как по отвесу вытянув спину и полуприкрыв глаза. Собственно в такой позе он оставался все время, что был здесь вчера, только глаза

его были открыты и повернуты ко мне. На этот раз пауза была особенно длинной, и я вместо того, чтобы спокойно ждать, стоило ему пошевелиться, сразу влез и для заправки спросил об Адаме и Древе познания. Ответил он немедленно, но как-то совсем не то, что я полагал от него услышать.

«Древо познания,— сказал он,— а с ним и многие другие деревья вслед за человеком тоже были изгнаны из Рая, но деревья оказались лучше людей, все они обращены ввысь, к Богу, и сейчас единственное, что соединяет твердь небесную и земную, не дает им окончательно разойтись,— это молитвы да деревья. Едва укрепившись в земле,— продолжал он,— деревья сразу же начинают тянуться вверх, один за другим они пускают в небе новые побеги-ветки, и эта корневая система более мощная, чем та, что держит дерево в земле. Поднимаясь все выше и выше, она пронизывает, прорастает воздух, небо, как пуповиной связывая его с землей. Все же дерево подобно Вавилонской башне, и, хотя Господь понимает, что оно растет не из гордыни, ни одному из деревьев, как бы высоки они ни были, не суждено до Страшного Суда возвратиться в Рай. Открыт он лишь для человека.

В сущности, каждое дерево как бы повторяет судьбу человеческого рода. Зачатие его тоже происходит на небе, там вызревают семена, там они набирают силу и соки, а потом так же сразу и отвесно, как Адам, падают вниз, на землю. Но выношены они в небе, туда же и стремятся вернуться. Растут и поднимаются деревья очень медленно, шаг за шагом, для глаза неразлично. То есть путь очищения и спасения человека постепенен, труден и не



всем дано его пройти. Из тысяч упавших семян прорастут, укрепятся в земле единицы, но дальше они будут держаться, цепляться за жизнь, и, пока Бог с ними, они устоят. Есть деревья, которые живут многие сотни и даже тысячи лет, но все равно, как я уже говорил, вернуться в Рай никому из деревьев не суждено. Как человека грех, их изнутри подтачивают грибки и гниль. И все же, даже умирающее и обессиленное, в последнее лето отпущенного ему срока, дерево принесет в небо столь же чистый плод, как чисто и непорочно дитя, рожденное самой грешной женщиной.

Видите ли, Алеша, — продолжал Николай Семенович, — вы вправе у меня спросить, за что дерево было наказано? Точно я этого, конечно, не знаю и знать не могу, но одно предположение выскажу. На райском дереве были разные плоды, и дело не в том, что Адам слишком рано съел один из них, грех дерева в другом: сладчайшим из всего выросшего на нем был плод, который я бы назвал плодом конца, завершения пути; плодом знания, истины, ответа, но без дороги, без какой-либо возможности пойти и самому прийти к ним и к Богу; его Адам и сорвал по малости лет. С тех пор и нам, его потомкам, ответы нравятся куда больше вопросов. Нам стало так трудно говорить с Богом, так трудно Его понимать, потому что после грехопадения языки у нас сделались как бы разные. Мир Бога — это мир вопросов, лишь вопросы соразмерны сложности Его мира.

Вот представьте, я вас спрашиваю, что за человек наш врач Кронфельд; даже если вы его знаете как самого себя и не поленитесь мне все растолковать, согласитесь; ваш

портрет будет бесконечно проще и примитивнее этого самого Кронфельда. В Талмуде сказано, что человек, каждый человек так же дорог Богу, как весь мир, что Он создал. Человек и так же сложен, как мир, потому что он, этот мир, — в каждом из нас. Каким бы Кронфельд ни был, умен или глуп, хорош или подлец, может быть, ни то и ни то, согласитесь, в моем вопросе он всегда поместится, в вашем же ответе — никогда. Ответы — чужие в Божьем мире, они искусственны и враждебны ему. Они просты и делают пространство вокруг себя таким же простым и понятным, но это иллюзия, это неточный, искаженный, приблизительный мир, мир, где все расплывчато, где границы размыты, где одно накладывается на другое, так что даже добро трудно отделить от зла. Зло ради благой цели, добро, оборачивающееся злом. Этот мир уже не тот, что был создан Господом, он другой, и мы не сможем вернуться к Богу, если не научимся спрашивать. Чем тоньше и мудрее будут наши вопросы, тем скорее мы поймем Его мир. Закон же познания, собственно, один — такт. В нас должно быть знание, про что можно спрашивать, про что вообще нельзя, потому что есть такие проклятые вопросы, которым под силу разрушить все сущее. На некоторые вопросы приблизительные ответы все-таки есть, на другие их нет и не может быть, на третьи есть, и мы вправе спрашивать, но ответа все равно никогда не добьемся и не поймем его. Мир, в котором мы живем, живой: он изменчив, подвижен, мы должны помнить об этом и помнить, что наши вопросы не должны бороться и враждовать с ним, наоборот, быть ему созвучны. Они должны быть признаны и приняты им.

Все это, Алеша, наверное, было бы нетрудно объяснить людям, беда другая: уходит или уже ушел язык, которым можно задавать вопросы. Данное Господом Пятикнижье Моисеево написано на таком языке, но только в своем изначальном древнееврейском обличье. Слова в нем многозначны, в тексте изобилие метафор, образов, сравнений. Помните, Алеша, хорошие метафоры — это не игра слов; они истинны, в них реальное подобие вещей, единство мироздания, сотворенного Единым Богом. Кроме того, слова тогда писались без огласовки, и на бумаге часто самые разные вещи выглядели одинаково или сходно. Все это позволяло тексту дышать, меняться, человеку он открывался всякий раз по-новому, по-новому им понимался и толковался. То есть он был живой, такой же живой, как и мир. Из переводов же это ушло. Переводы Библии — и Септуагинта, и Вульгата, и церковнославянская Библия — и по свойству языков, и по свойству самого перевода сузили и упростили смысл Торы. Перевод всегда есть понимание текста лишь одним человеком — переводчиком, перед каждой фразой он как бы пишет: я, такой-то, живший тогда-то и там-то, понял, что говорил Бог так. И все это, кто он и кем был, попало в Библию. Переводы Священного Писания были рубежом, после них возник канон и стало принято оставлять слову только одно значение, но этот язык годится лишь для ответов.

Было время, когда люди не писали, а рисовали слова, слова были тогда куда ближе к тому, как человек видел мир, как он думал, молился; человек был в каждом написанном им слове, в каждом из них было то, что тебе от-

крылось или ты просто угадал. Переписывая слово, ты рисовал, изображал свое понимание его, и так, сколько бы раз оно ни было переписано, оно всегда было новым. Когда Тора на Синае была дана человеку, век этот был на исходе. Почти все народы уже писали одинаковыми, похожими друг на друга, как капли, буквами; но те, кто помнил и понимал другое написание слов, еще были живы. Египет частью возобновил, частью не дал им забыть его. Потом эти люди умерли, и с тех пор мы занимаемся странной работой: тысячи лучших умов комментируют и толкуют Священное Писание, но языка, на котором они могли бы передать то, что им открылось, нет. Слова, которыми они пишут, определены, законченны и как бы остановились. Таким же был Исав: в нем все было завершено и достроено, меняться он не мог, и из-за этого Бог отнял у него первородство.

Однозначность слова — страшная болезнь, на таком языке мы можем говорить только друг с другом, он рожден ложью, страхом быть обманутым, ни доверия, ни свободы в нем нет совсем. Само слово перестало быть целым, оно все больше мельчает, дробится, превращается в термины. Дробится и язык, множество знаков отделяют слова друг от друга, рвут их связи. Этот язык хорош для юристов и чиновников, но на нем нельзя молиться. Печально и другое: слова теперь стало принято окрашивать — свой, чужой, плохой, хороший, — краска ярка, точна, контрастна, и она забивает смысл: в конце концов не так уже важно, что значит слово, если тебе объяснили, как к нему относиться. Буквы, конечно, были великим изобретением, письмо они упростили в несчетное число

раз, но, увы, эта простая технология не может передать сложного. Каббалисты не правы: Тора открыта для нас вся, вся нам дана, закрытой сделали ее мы сами».

Здесь Николай Семенович себя оборвал, было уже очень поздно, вокруг спали. Он сидел молча, и я подумал, что он ждет, когда я встану, чтобы, как и вчера, проводить его до палаты. Я принялся нащупывать ногами тапки, но он вдруг опять заговорил.

\* \* \*

«После первой, очень бурной жизни, проведенной мадам де Сталь по большей части во Франции, вторая жизнь, прожитая ею в России, была как бы отдыхом. Она, особенно поначалу, небогата событиями, и рассказать вам я могу, в сущности, немного. Лишь одна история представляет интерес, да и то потому, что ее последствия, или даже, можно сказать, она сама, тянутся до сего дня.

Евгении Францевне Сталь следует отдать должное: кровь Неккеров сказала и из нее получилась очень рачительная хозяйка. В середине XIX века, когда крупные помещичьи хозяйства в России были, как правило, заложены и перезаложены, почти не давали дохода, прибыль от ее имения, едва ли не единственного в губернии, постоянно росла, причем, что особенно свидетельствует в пользу Евгении Францевны, крестьяне, ей принадлежащие, считались в округе самыми зажиточными. Жила она очень замкнуто и уединенно, денег ей, в отличие от Парижа, тратить было почти не на что, и она большую часть того, что приносила земля, снова вкладывала в имение, с

азартом занимаясь разного рода улучшениями. Имея в виду в будущем возить яблоки в Москву, она по берегу реки разбила два огромных сада, сажала леса, кажется, вообще первая за пределами Украины и Новороссии отдала всю барскую запашку под сахарную свеклу, выстроив рядом с полем маленький, но тоже приносящий изрядный доход сахарный завод. Барон Неккер не раз говорил своему господину Людовику XVI, что для того, чтобы подданные исправно платили подати, есть лишь одно средство — не мешать им на них заработать. Евгения Францевна старательно следовала этому принципу, в числе прочих льгот давая своим крестьянам ссуды, и немалые, на развитие всяких промыслов. Сельская жизнь настолько ее увлекла, что она, вопреки первоначальным намерениям, проводила в имении и зиму, то есть жила в деревне круглый год, вовсе после того, как ей исполнилось двадцать четыре года, не бывая в столицах. Даже в Тамбов она наезжала от случая к случаю обыденкой и лишь во время ежегодных дворянских съездов проводила в городе неделю, а то и две.

До этого она выбиралась то в Москву, то в Петербург довольно часто, но всегда останавливалась в гостиницах под чужим именем, и, хотя у нее случались весьма бурные романы, они остались в тайне и не скомпрометировали ее. По любым понятиям, она была чуть ли не лучшей невестой губернии: богата, молода, привлекательна, умна — и сначала сватались к ней много и настойчиво, но она всем отказывала, причем так решительно и определенно, что как бы сразу становилось ясно: она не хочет выходить не за тебя именно, а думает вообще остаться в

девах. Первое время об этом немало сплетничали, но других поводов для пересудов не было, и говорить о ней скоро кончили, перестали ездить и женихи. Поскольку с людьми она была равна, уважительна, замуж в итоге так ни за кого и не вышла, отказы никого не обидели, и отношения ни с кем у нее испорчены не были. За ней лишь утвердилась репутация странной женщины, во всем прочем ее оставили в покое.

Жизнь довольно быстро подтвердила убеждение де Сталь, что если бы русские дворяне больше времени проводили в своих имениях, а не в Петербурге, земля по плодородию почвы и климату содержала бы их куда лучше, чем служба. С этой мыслью она даже дважды выступала в дворянском собрании, оба раза речи ее были встречены очень хорошо и многими поддержаны, но результат это имело лишь один: за ней теперь уж окончательно утвердилась репутация женщины со странностями.

Правилу не покидать имения без крайней надобности она следовала неукоснительно, не уехала она никуда из своего Соснового Яра и во время эпидемии холеры, которая летом пятьдесят первого года охватила юг России, а к сентябрю докатилась и до Тамбова. Кажется, единственная из окрестных дворян. Не заперлась она и в доме, как поступили те, у кого не было денег сняться с насиженного места; довольная собственной смелостью, она продолжала ежедневно, как это и было заведено, объезжать поместье, лично наблюдая за всеми работами. Единственное, что она сделала, чтобы предохранить себя от болезни, это заказала в Осколе собственной конструкции весьма необычный портшез. Кроме деревянного низа,

в котором для притока свежего воздуха просверлили множество мелких отверстий, все пять его прочих сторон, крепившиеся друг к другу на шарнирах, были изготовлены из очень красивого, травленного свинцом, богемского стекла. В этом стеклянном ящике — его носили четверо крестьян и сопровождал приказчик — она велела поставить обитую голубой тафтой кушетку, единственную вещь, которую купила еще во Франции, и теперь передвигалась, возлежав на ней в длинном кисейном платье, белой кружевной шляпке и в белых же бальных туфельках, которые она очень любила и которые ей очень шли. Чтобы уж наверняка себя обезопасить, она внутри ящика зажигала ароматические свечи. В деревнях и в соседних усадьбах ее удивительный паланкин стал буквально за один день известен каждому и впечатление на всех, от господ до крестьян, произвел огромное, что Сталь очень забавляло и веселило.

Летом того же года она по другую сторону реки, в соседней Воронежской губернии, прикупила еще одну деревню, Соловку, вместе с деляной строевого леса и в конце сентября, когда бумаги были наконец оформлены, уже законной владелицей отправилась ее осматривать. Холера к тому времени улеглась, но она все равно решила ехать не в коляске, а в портшезе. Едва они по мосту перешли через реку, еще со спины она обратила внимание на молодого человека, который шел впереди. Она увидела его издали и только потом сообразила, чем он привлек ее взгляд: одет он был явно по-господски, но повадкой и походкой напоминал скорее простолюдина. Это сразу бросалось в глаза. Чтобы проверить впечатление, она за-



хотела посмотреть на его лицо, но он шел налегке и, как ее носильщики ни старались, догнать им его было трудно. В конце концов ей стало скучно гадать, кто же это, и она задремала.

Спала она сладко и, по всей видимости, долго, а потом неожиданно была разбужена шумом, бранью, но, главное, тем, что паланкин остановился. Еще не успев толком проснуться, она прямо перед собой увидела стоящего на коленях того самого юношу. Глядя на нее в упор, оң попеременно то быстро-быстро крестился, то начинал яростно рыться в кошельке, успевая к тому же обороняться от приказчика, старавшегося столкнуть его с дороги. Зрелище это было до крайности забавное; на вид он был, как она и думала, совсем мальчик, и с первого взгляда было ясно, что на этой земле он себя прочно не чувствует. Лицо у него было милое и хорошее, и ей тут же пришла в голову мысль с этим мальчиком поговорить, может быть, даже взять с собой в новое имение. Она открыла рот, чтобы подозвать его, но тут он наконец нашел в своем кошельке что искал, и, как крестьяне ни пытались ему помешать, ловко положил на окантовку стекла копейку, после чего бросился бежать.

Увидев, что она проснулась, приказчик виноватым голосом принялся ей что-то объяснять, но она все никак не могла сообразить, что произошло, и только потом ее вдруг осенило: мальчик принял ее то ли за статую, то ли за живую Деву Марию. Сегодня в православных храмах как раз отмечали Богородицын день, и утром крестьяне приходили к барскому дому, чтобы поздравить ее с праздником, принесли по обычаю хлеб-соль, в ответ одарила их и

она, теперь же ее саму приняли за Богородицу. Это было так невозможно смешно, что ее, Евгению Францевну Сталь, которую вся округа считала старой девой, теперь вот приняли за Деву Марию, что она, снова вспомнив, с какой решительностью и одновременно ужасом мальчик только что пожертвовал ей копеечку, начала хохотать будто ненормальная и все никак не могла успокоиться.

Потом крестьяне понесли портшез дальше, но ей после этой встречи хотелось сумасбродничать, делать глупости, и она не придумала ничего лучшего, чем заставить людей возвратиться обратно, искать свалившуюся монету. Угомонилась она лишь тогда, когда в дорожной пыли копейка наконец была найдена и приказчик передал ей ее из рук в руки. В итоге до Соловки они добрались лишь в сумерках, осматривать что бы то ни было было поздно, да и надо сказать, что заниматься делами ей сегодня совсем не хотелось. Она лишь лениво отметила, что крестьянские избы плохи, многие даже покосились, службы полуразрушены, так что если бы она поехала в коляске, поставить на ночь лошадей было бы некуда, а господский дом каменный, что для здешних мест редкость, и, на первый взгляд, сохранился вполне сносно.

Дом был в два этажа, и она приказала постелить себе на втором, в маленькой угловой комнате, где был камин и ее легко и быстро можно было согреть; паланкин же, поскольку сарая нет, оставить на первом этаже в большой зале для приемов. Едва стало тепло, она сразу же легла. Однако доспать спокойно ей снова было не суждено. Под утро снизу послышались крики, ругань, все очень походило на ее утреннее приключение, и, когда она, так нико-

го и не дозвавшись, сама оделась и спустилась на первый этаж, еще не остывшие от схватки крестьяне сказали, что только что тот же человек дважды пытался проникнуть в дом и разбить ее портшез. Причем второй раз ему это едва не удалось, они поймали его уже в снях, хотели связать, но он дрался как бесноватый, в конце концов вырвался и убежал. Она спросила их, не говорил ли незнакомец, чем портшез ему не угодил; они подтвердили, что да, говорил, вернее, все время кричал, что он уничтожит чары, разобьет хрустальный гроб и освободит Спящую царевну. Она знала эту сказку, и ей вдруг сделалось очень хорошо, что она теперь Спящая принцесса и он больше не принимает ее за Деву Марию. В той сказке, насколько она помнила, освободить принцессу и взять ее в жены должен был прекрасный принц, и она подумала, что такое сватовство было бы занято, да и вообще к ней что-то уже давно никто не сватался. В последнее время она нередко жалела, что напрочь всех отвадила. Не то чтобы она вдруг стала готова выйти замуж, просто она все больше скучала, все больше уставала от затворничества, а женихи были каким-никаким, а развлечением. Сельское хозяйство постепенно лишалось для нее новизны, становилось рутинной, и она отдавалась ему без прежнего рвения. Ей не хватало новых людей, новых впечатлений, и, пожалуй, впервые за две жизни пугали одиночество и старость.

И все же она тогда решила, что сама не сделает ничего, чтобы приблизить к себе этого мальчика, хоть он и был мил и сразу ей понравился. Больше того, который придумал и дал ей в своей пьесе такую сказочную и ро-

мантическую роль; действие ее, к счастью, еще не завершено, в этом она была уверена и, может быть, потому не стала ничего предпринимать. В ней почему-то сразу было это понимание, что пьеса именно его, и ей, во всяком случае в начале, не надо мешать ему, пытаться что-то изменить, только слушаться и за ним следовать. И еще: она чувствовала, что в этой истории есть какой-то глубокий смысл и длиться она будет необычно, для пьес просто несуразно долго, все время обрастая новыми линиями и поворотами, а для чего все задумано — и мальчику, и ей, и другим участникам станет ясно лишь в самом конце.

\* \* \*

В своей новой деревне, назначая «дани и оброки», определяя порядок работ, которые необходимо будет сделать за осень и зиму, она раньше предполагала пробыть дней пять-шесть. Теперь же, после ночного происшествия, она подумала, что никто ее обратно в Сосновый Яр не тащит и, если надо, она может провести здесь и больший срок; словом, если этому мальчику необходимо время, она ни в коем случае его не торопит и не подгоняет. В общем, она всячески готова была ему помогать, но ничего особенного не понадобилось. На следующую ночь он явился снова и на сей раз был хитрее. Зная, что вход стерегут, он попытался проникнуть в дом через окно, стал открывать ставни, но действовал неумело, шумно, крестьяне были настороже и легко его поймали. В конце концов они его отпустили, правда, сильно побив.

Наутро, узнав об этом, она накричала на старосту и строго приказала, что если набег еще раз повториться, не причинять этому человеку никакого вреда, а только поймать его, связать и, оставив в сених, ей доложить; а потом от жалости к мальчику проплакала весь день. Три ночи прошли спокойно, он, очевидно, зализывал раны, в четвертую же попытка была повторена. Но и на этот раз все для него закончилось неудачей. К тому времени она уже знала, кто он. В здешних местах его печальная судьба была известна почти каждому. Отцом его был князь Павел Иванович Гагарин, а матерью — тоже дворянка, Елизавета Иванова, чьи родители владели по соседству совсем маленьким поместьем, вернее, просто хутором. Повенчаны Павел и Елизавета не были, и ребенок, следовательно, был незаконнорожденным. Из-за этого отчество и фамилию он получил по имени своего крестного и звался Николай Федорович Федоров. Родной его отец умер очень рано, но пока были живы дед князь Иван Алексеевич, знаменитый сановник царствований Екатерины и Александра, и дядя мальчика, князь Константин Иванович, они не оставляли его своим покровительством. На их деньги он учился в тамбовской гимназии, а потом прошел полкурса в одесском Ришельевском лицее. Теперь же, после их смерти, он остался совсем без средств и, кажется, единственное, на что может рассчитывать, — место преподавателя где-нибудь в уездном училище.

Когда староста ей доложил, что, как она и хотела, этот малый лежит связанным в сених, она снова отправила его к Федорову, велев убедить того, что время освобождать принцессу не пришло, чары еще чересчур сильны и, если

он сейчас разобьет гроб, она неминуемо погибнет; сама она идти не решилась. Еще она сказала передать ему, что, согласись он, Федоров, кротко ждать часа, когда колдовство ослабнет, он может быть допущен к принцессе уже сегодня. Едва староста ушел, Евгения Францевна немедля встала, надела то самое платье из кисеи, в котором он принял ее за Деву Марию, ту же шляпу и бальные туфельки и быстро спустилась вниз. По углам портшеза она зажгла четыре большие восковые свечи, еще четыре черные и тонкие ароматические свечки она зажгла внутри портшеза, словом, сделала по возможности как тогда и, убедившись, что все в порядке, легла на кушетку. Затем она опустила за собой крышку «гроба» и принялась ждать, когда староста кончит увещевать Федорова и пустит его к ней. Она знала, что и ее одежды, и свечи, изнутри и снаружи отражающиеся в хрустальном стекле, делают все очень красивым и таинственным, как и должно быть, совершенно сказочным, и радовалась, что он увидит ее именно такой и, что бы ни было дальше с ними обоими, именно такой запомнит. Наконец староста открыл перед ним двери, и он очень медленно, щурясь от ярких бликов света, подошел к ее гробу. Он опустился на колени, трижды перекрестил ее и поцеловал стекло там, где к нему ближе всего были ее глаза и губы. Потом он сел рядом.

Хотя веки Евгений Францевны были полуопущены, она впервые сумела его хорошо разглядеть. Конечно, он был уже не мальчик, но очень молод и чертами лица напомнил ей Рокка, с которым она была счастлива. На мгновение она даже забыла, что перед ней не Рокка, и ей снова сделалось обидно и за него, и за себя, что она так и не

родила от Рокка ребенка. В сущности, возможно, она тогда вспомнила о Рокка и не только из-за Федорова, в ней вообще в последние месяцы что-то стало меняться. Многое из того, что всегда представлялось ей второстепенным и малозначащим, теперь возвращалось, и всякий раз ей становилось грустно, что она в свое время это не увидела, не оценила, не поняла. Вернулось, в частности, немало людей, она привыкла слышать, что мадам де Сталь жадна до новых лиц, что она из тех, кому люди интересны, и думала, что здесь обид быть не должно, а оказалось, что невнимательна она была к очень многим. Сейчас ей было жаль и их, и себя.

И все же дело, наверное, было в самом этом мальчике, в Федорове, а не в том, что он похож на Рокка или на кого-нибудь еще, тут было иное: с Федоровым, едва он появился в ее жизни, изменилось ее место, ее положение в мире, она вдруг увидела его совершенно иным. Она как бы и впрямь посмотрела на мир из гроба. Раньше в ней была бездна движения, бездна действия, она всегда была в центре каких-то интриг, авантюр, заговоров, всегда была окружена людьми, которых или убеждала, или что-то им говорила, — то есть все шло от нее к ним, теперь же, когда он появился в ее жизни, она стала другой. Часами, боясь пошевелиться и испугать его, она лежала совершенно неподвижно, тело ее затекало, потом болело, но она, с детства не переносящая никакой боли, терпела это безропотно. Она лежала и, полуприкрыв глаза, смотрела на этого мальчика; иногда, если он говорил, слушала его, правда, дикция у Федорова была плохая, да и стекло глушило голос, так что долго она почти ничего не понимала и лишь

потом по его губам научилась разбирать, что же он говорит. И, конечно, она ни разу даже в ответ не сказала ему ни слова.

Так почти каждый день она лежала час за часом, не бодрствуя, однако и не засыпая, в странной полудреме. Время в ее мире было им как бы замедлено или же вовсе остановлено. Он вообще все утишил и успокоил: ведь во время этих свиданий — и первого, и второго, когда он провел у нее целую ночь и ушел лишь под утро, она даже точно не знала, когда, потому что задремала, и дальше — не происходило вообще ничего. Едва ли не все время он сидел, просто сидел и смотрел на нее с какой-то невообразимой нежностью, часто в глазах у него она видела слезы, раза два он даже плакал, почему — она не знала. Иногда он начинал ей рассказывать про себя; даже когда она не слышала слов, она это понимала, потому что голос его становился совсем грустным. Бывало, он просто что-то ей рассказывал и тогда нередко увлекался как ребенок, принимался размахивать руками, вскакивал, кричал, затем сразу осекался, словно это впрямь было совершенно неуместно, снова садился и снова, не отрывая глаз, на нее смотрел и смотрел. К середине ночи он часто уставал, ложился лицом на гроб, кладя голову там, где был ее живот, тогда сквозь стекло скоро она начинала чувствовать его тепло и тоже засыпала. Он приучил ее к неподвижности, терпению, смирению, в ней было чересчур много силы и движения, теперь это ушло, и сразу из прошлого к ней вернулись люди, которые были так же медленны, как и ее свидания с Федоровым, и которые раньше просто не успе-



вали за ней. За этих людей она тоже была ему благодарна.

В Соловке Федоров и Сталь виделись почти каждый день, потом через полмесяца, задержавшись там вдвое против того, на что рассчитывала, она вернулась обратно в Сосновый Яр и не удивилась, скорее приняла как должное, что он последовал за ней. Здесь все продолжилось: если он приходил, прислуга оставляла его одного, правда, теперь уже не в сенях, а в холле — в Сосновом Яре был большой настоящий господский дом, она спускалась, ложилась в гроб, и тогда его впускали к ней. Иногда, когда она чувствовала себя плохо или у нее не было желания быть с ним, ему говорили, что сейчас из-за наложенного на нее заклятья видеть ее нельзя, и он безропотно уходил. Он вообще был очень тих и послушен. Но случалось это довольно редко, он скоро, неожиданно скоро для нее стал частью ее жизни; наоборот, когда он сам по какой-то причине день или два не появлялся, она скучала, не знала, куда себя деть, к вечеру начинала за него бояться, мучила прислугу, почему его нет; когда же он наконец приходил, у нее отлегалось от сердца, сразу же становилось легко и хорошо.

Все-таки ей, наверное, в этой ее русской жизни очень не хватало любви, не хватало детей, а он был как ребенок — и в своих рассказах, и в сочувствии, которое он у нее вызывал, и слушала она его как ребенка, как свое порождение; жалела, любила его, скучала о нем она тоже как о своей части, плоть от плоти себя. Так продолжалось довольно долго, месяца два или три. До нее уже стали доходить пересуды окрестных помещиков, что вот

она мучает, издевается над несчастным сумасшедшим. История эта вообще наделала в Тамбовском крае много шума, дошла даже до губернатора, возможно, именно из-за стеклянного гроба: всем это сооружение и то, что она притворяется мертвой, показалось верхом цинизма.

По-видимому, эти разговоры на нее как-то подействовали, но вдруг она поняла, что больше не может спокойно слушать его признания в любви. Ей все труднее было видеть его только ребенком, ей уже все время приходилось уговаривать себя, что он ребенок, что он все равно что ребенок; особенно ей было тяжело, когда он ложился телом на стекло и его тепло, нагревая гроб, начинало доходить до нее. Это была легчайшая ласка, как будто он едва ее касался, как будто он грел ее своим дыханием, дыханием своего тела; она забывала, что ее от него отделяет стекло, он как бы ложился на нее, она чувствовала, что он лежит на ней, и начинала его безумно хотеть. Она хотела его так, что тело ее уже не могло быть спокойно и двигалось под этим его теплом, он как бы растворял стекло, приближался к ней, ложился на нее, и она была готова расступиться, открыться для него, чтобы впустить его в себя.

Он засыпал, и тогда она, устав мучиться на своем ложе, приподнималась, сама прикасалась лобком к нагретому им стеклу, туда, где был его живот и его пах, где стекло было совсем горячо от его тела, и начинала тереться о него, доводя себя почти до исступления. Все в ней было теперь так обострено, что ночью, когда дом успокаивался и жизнь в нем замирала, даже горящие свечи не мешали ей разли-

чать его тепло, она умела различать его и словами: она говорила своей старой французской кормилице, что оно совсем другое, живое, очень мягкое, от него не надо держаться на расстоянии, потому что им нельзя обжечься и уколоться. Когда же свечи гасли, она чувствовала это тепло совершенно явственно, тепло шло от него волнами, и она считала их, как на море. Она знала, что Федоров тоже ее чувствует, и была благодарна ему — ночью, когда она лобком прижималась там, где у него был пах, она видела, как, отвечая ей, набухает его плоть, как она выпячивает его узкие штаны и он, пытаясь устроить ее удобнее, начинает во сне что-то бормотать, ворочается, стонет и все никак не может успокоиться.

Довольно рано ей в голову начала приходиться мысль, что для них обоих было бы хорошо, если бы она сделала его своим любовником, взяла на содержание или даже женила на себе. Но тут было немало самого разного рода препятствий: она колебалась, не могла решиться. Она уже давно привыкла жить одна, ни от кого не завися и ни с кем не считаясь, привыкла дорожить своей репутацией, и пойти на то, что все это сразу будет разрушено, ей было нелегко. Кроме того, она ценила Федорова таким, каким он был, ей нравилось лежать под хрустальным стеклом, нравилось быть Спящей царевной, нравилось, что ее любили как Спящую царевну, она не хотела ничего из этого терять, то есть она была бы рада сделать его своим любовником, но чтобы осталось и то, что было в их отношениях раньше. Как он на нее смотрел, как с ней сидел, как она лежала под ним, лежала совсем рядом от него и все равно была для него недо-

стижима и недоступна. Ей по-прежнему нравилось целомудрие их отношений, и как это совместить с тем, что он сделается вдруг ее любовником, она не знала. Не знала она и как он примет, что она перестала быть Спящей царевной.

Рассказывая о себе, Федоров не раз говорил ей, что он девственник, и она привыкла уважать то, что у него никогда никого не было. В его понимании мира очень многое было построено на том, что он никогда не имел дела с женщинами и что она, которую он спасет и освободит от заклятья, воскресит для жизни, будет его первая женщина. Она и впрямь не знала, согласится ли он вообще стать ее любовником.

По внешности в их отношениях за эти несколько месяцев ничего, совсем ничего не изменилось, но с каждым днем, с каждой ночью она хотела его больше; он спал, а она, желая его, распяляла себя до невменяемости, забыв про стекло, она билась о него, терлась, припадала к нему, дрожала, она все время была в каком-то истерическом состоянии, беспричинно плакала, даже днем не спала, почти ничего не ела. И вот, посреди этого бреда, всего боясь — в ней никогда не было столько страха, — по-прежнему не готовая ни на что решиться, в то же время хорошо понимающая, что так продолжаться больше не может, иначе она сойдет с ума, она вдруг вспомнила, что кормилица недавно говорила ей, что в Тамбове открылась новая, очень хорошая аптека немца Шлихтинга, в которой продается какое-то редкое лекарство от простуды, сделанное на основе то ли морфия, то ли опиума.

\* \* \*

О замечательных свойствах китайского опиума, о восточных опиумокурильнях вообще, о том, что испытывает человек, принявший это снадобье, не однажды заходила речь еще в ее парижском салоне. Двое из ее знакомых тех лет, проводившие многие годы в Индии, вообще не могли без него жить; один из них, барон Орсер, печальный человек с желтым, почти китайским лицом, — он был из тех медленных людей, которых в последнее время она вспоминала все чаще, — как-то раз долго объяснял ее гостям, что счастье, полное, абсолютное счастье близко, рядом, и главное, оно легко достижимо. Нищие, голодные индусы умнее своих белых властителей и хорошо это понимают, целый день они готовы работать, но не ради еды, денег или власти; все, что им нужно, — это трубка опиума. Потому что, молод ты или дряхл, здоров или умираешь, достаточно одной трубки, чтобы в тело твое вошло блаженство, чтобы ты вернулся в рай, вернулся в то время, когда о грехопадении никто еще и не думал. Опиум как бы смывает со всего пыль, природа обветшала, потускнела, потеряла краски и свежесть, теперь это возвращается.

Сначала ты начинаешь различать запахи, потом в тебе обостряются и другие чувства, ты как бы снова ребенок, и Бог снова берет тебя к себе, берет в мир, каким он был в первый день творения. Вокруг все цветет, все благоухает — и деревья, и травы, и цветы; ты не знаешь их имен, потому что ни у кого из них еще нет имени; тот день, когда Господь скажет тебе: «Как ты их назовешь, так и бу-

дет», — еще не пришел, но имена им и не нужны. Краски настолько яркие, выпуклы, как будто они существуют отдельно и вообще до всего, ничто ничего не забывает и ничему не мешает; ты различаешь все, из чего состоит мир, и не только вовне, но и воздух, который в твоих легких, каждую каплю крови, которая ходит по твоим жилам, каждую свою мышцу и каждый мускул, ты тоже пока еще нов и чист, тоже первожденный и безгрешный.

Но, увы, за все приходится платить: пробуждение, возвращение в наш мир настолько страшно и так быстро, боль, — а болит каждая клетка твоего тела, каждый твой хрящик и косточка, кажется, что все в тебе растоптано, сломано, разорвано, — и огромность утраты так велики, ведь ничего еще не успело притупиться, ты ни к чему еще не привык и ни с чем не смирился, ничего не забыл; так же, наверное, чувствовал себя Адам сразу после грехопадения. Утешает одно: в этот рай нетрудно вернуться.

«Курильщик опиума, — говорил Орсер, — никогда не скажет вам, дарит ли ему трубка лишь приятные сновидения (и тогда цена, наверное, чересчур высока), или и вправду опиум делает мир таким, каким он и был создан Богом, — я и сам до сих пор этого не знаю. Иногда я уверен, что это явь, назавтра же снова склоняюсь к тому, что я просто спал. Во всяком случае, когда я курю трубку и со мной заговаривают, я слышу, понимаю, отвечаю вполне впопад, но это так вплетено в сновидения, так неотделимо от них, что, очнувшись, я все помню как сон».

Таков был тот давний рассказ Орсера, после него она видела барона лишь несколько раз, скоро он уехал из Парижа в Овернь, в свое поместье, и там, по слухам, через

месяц умер. Теперь вместе со Шлихтингом и его аптекой все это пришло ей на память; сначала она пожалела Ор-сера, что мало обращала на него внимания, а потом сразу, без перехода подумала, что можно было бы и Федорову давать небольшое количество опиума, он наверняка никогда еще не имел с ним дела, значит, привычки к нему в нем нет и небольшой безвредной дозы — она бы ни за что не хотела причинить Федорову зло — будет совершенно достаточно, чтобы его усыплять. Тогда так, спящим, он и станет ее любовником. Ей очень понравилось и показалось забавным, что он мечтает о ней, будет ею обладать, то есть мечта его исполнится, но он никогда об этом не узнает. Даже помимо того, что благодаря опиуму она наконец перестанет мучить и себя и его, идея сама по себе была очень хороша; она подумала, что раньше она бы с радостью, даже с вожделием написала такой роман. Сюжет, начиная с их первой встречи, был строг и странен, но в нем было скрыто много силы, жизни, она чувствовала эту жизнь, и соединено все тоже было на редкость естественно, а главное, она знала, что в этой истории и дальше будет мало случайного, наоборот, она сможет длиться, развиваться, расти сама, возможно, уже без ее и Федорова участия. Чем это может кончиться, она не знала, она могла проследить сюжет довольно далеко, была уверена, что он нигде не сыплется и не разрушается, пожалуй, даже наоборот, становится все устойчивее, все прочнее стоит на ногах, однако финала — это с ней было впервые — она не видела.

В ней всегда, что бы она ни делала, было чувство собственной правоты, ей не надо было искать никаких

оправданий, и все-таки ей показалось вдруг приятным сделаться героиней какого-то загадочного русского романа, стать такой же невольницей сюжета, как и те персонажи, которых писала она сама. С недавних пор, Федоров лишь это подчеркнул, в ней было все больше фатализма; власть не только над миром, но и над своей собственной жизнью, даже над самой собой, ускользала, утекала из ее рук, но она не печалилась об этом, она вообще становилась другой, она вдруг открыла, как хорошо ни за что не бороться и ни за что не отвечать, признать наконец, что твоя судьба расписана с начала до конца и незачем, глупо пытаться свернуть в сторону; в ней появилась умиротворенность, она и в походке, и в жестах, и даже в речи стала спокойнее, полюбила думать, что раз действительно все так и ничего сделать нельзя, значит, она невинна и безгрешна или виновата очень-очень мало, а это была щедрая компенсация за смирение.

На следующее утро она послала свою старую гувернантку в Тамбов, дала ей коляску, чтобы она быстрее обернулась, но, получив в руки лекарство, неизвестно почему стала медлить и ни в первый, ни во второй день не дала его Федорову. В ней был какой-то неясный страх, она вдруг стала бояться Федорова, бояться своей связи с ним. Дважды за неделю, в дни, когда ей было совсем невмочь, она даже не велела кормилице его пускать, что в последнее время не случалось ни разу; вообще его визиты теперь, когда у нее появился опиум, доставляли ей куда меньше радости, она была напряжена, холодна, никак не могла заснуть, и ожидание утра, когда он уходил, превратилось в пытку. По-видимому, это было естественно; сей-



час, когда их отношения должны были совершенно измениться, она понимала, что не хочет этих изменений и даже была бы рада, если бы их роман сам собой исчерпался.

Но назавтра она снова его хотела, снова не могла без него жить и его дожидаться, говорила себе, что это ее обычная бабья тревога, обычные нервы, то, что с ней бывает всегда и перед тем, как она начинает большую работу — потому что никогда не знаешь, получится она у тебя или нет, и перед долгой связью — потому что жизнь делается совсем другой, а во благо ли это, кто скажет. И все-таки даже в дни, когда она любила Федорова, как раньше, страх не уходил; впервые ей предстояло войти в колею, которая куда ведет — она не знала, и из которой выйти, она чувствовала это, она уже не сможет. Она привыкла быть хозяйкой своей жизни, из-за этого она в России так и не вышла замуж, теперь же от прежней свободы ей предстояло отказаться. Наоборот, вступить в дело, о котором ей ничего не известно и в котором она не властна. То, что она передумала в последние годы, усталось, которой в ней было все больше, частью ее уже подготовили, и все-таки ей было очень нелегко принять и согласиться на эти условия. Недели две она колебалась, тянула, за это время дважды испробовала опиум на себе, правда, принимала его очень немного, но и такой дозы ей хватило, чтобы убедиться, что Орсер мало что преувеличивал. Потом, вроде бы уже совсем решившись, она никак не могла придумать, как сделать так, чтобы Федоров выпил опиум и это выглядело бы для всех естественно, и, главное, он ничего бы не заподозрил. У нее был быстрый ум, она любила и умела изобретать, а здесь, что ни приходило ей в

голову, она сама же отвергала: то ее не устраивало одно, то другое. Наконец она сообразила, что надо просто подмешивать опиум в свечи, которые она ставит на крышку гроба, тогда пьянеть и засыпать Федоров будет медленно, почти как обычно, и ничего не заметит.

Наверное, это был действительно лучший выход. Чтобы они выглядели по-фабричному, в городе она приказала закупить разные формы для отливки свечей, все, какие есть, но когда их привезли, они ей не понравились, в итоге она велела своему собственному столяру вырезать новые формы, почему — она и себе не могла объяснить, в виде колокольни Ивана Великого. В гостиной у нее висела гравюра с этой колокольней, так что образец у столяра был. Теперь, ожидая Федорова, она день напролет плавил в глубоком блюде покупные свечи, смешивала воск с каплями опиума, заливала его в формы, а потом садилась рядом и не отходила, пока он совсем не застывал. Часто она не выдерживала, воск твердел очень медленно, она открывала форму, он был еще теплый и как живой, когда она нажимала, немного подавался под ее пальцами. Она брала свечу в руки, гладила, ласкала; покупала она дорогие, хорошо пахнущие сорта, запах возбуждал ее, ей хотелось прикоснуться губами, поцеловать эту только что отлитую ею колокольню, но она, боясь испортить, сдерживала себя и клала заготовку обратно в форму.

Потом был день, когда она поняла, что отступить ей больше некуда, еще за несколько часов до прихода Федорова она сама в головах и в ногах укрепила на своем хрустальном ложе опиумные свечи, затем, как обычно, легла на

кушетку, сказав горничной, чтобы та зажгла их не сейчас — она хочет побыть одна в темноте, а когда Федоров будет уже в доме. Впервые она ложилась в гроб задолго до Федорова, ей надо было попрощаться с этой наивной и чистой историей, в которой все было так красиво: и свечи, и хрусталь, и сказка, ими разыгранная, и, хотя она обманывала его с самого первого дня, его чистота, конечно же, оправдала и обелила их обоих. Ни за что в эти два месяца ей не было стыдно, и не было в ней ничего, кроме благодарности ему. Теперь все должно было измениться, она знала, что с сегодняшней ночи она и ее грех переселят его, он сделается ее игрушкой — и только. Ей было обидно, что она такая плохая, дурная женщина, что он не сумел ее исправить, хотя бы сделать лучше, что ей мало было его чистоты и невинности, мало той любви и преданности, что он ей дал, что в ней столько похоти. Это не было ни самобичеванием, ни раскаянием, она все про себя понимала и просто прощалась с тем, что было.

\* \* \*

В тот вечер Федоров пришел в свое обычное время, часа через два после того, как стемнело, и вообще все было, как обычно, так что она даже огорчилась и за него, и за себя, что в нем нет никакого беспокойства, никакого предчувствия, то есть он не слышит ее, не видит, что она сегодня совсем другая. Он сидел, рассказывал о своем детстве, кажется, даже то, что она уже слышала, но ей было трудно сосредоточиться; заснул он очень быстро и как-то разом, опиум оборвал его на полуслове. Для верности она

еще немножко подождала, потом осторожно выбралась наружу и вдруг, развеселившись, смеясь, как девочка, побежала в туалетную комнату, где горничная уже налила ей ванну.

Потом, когда умягченная и свежая она лежала в постели, кормилица к ней в спальню привела Федорова. Из-за опиума ноги его цеплялись друг за друга, сам он цеплялся за кормилицу и выглядел совсем по-детски — мило и неуклюже. Ей нестерпимо захотелось взять его в постель, но не как мужчину, а как ребенка, согреть, приласкать, дать грудь. Кормилица, одной рукой поддерживая его, чтобы не упал, другой начала его раздевать, де Сталь подумала, что надо встать и помочь ей, но осталась лежать. Федоров был невелик ростом, но сложен довольно изящно, и ей было приятно смотреть, как он появляется из своих грубых, сшитых по большей части деревенскими портными одежд. Наконец кормилица довела Федорова до ее постели и ушла.

Сначала де Сталь лежала с ним рядом, грела своим бедром и не трогала, потом она, будто что-то вспомнив, и вправду начала играть с ним так, будто он был ее сыном; просунув под него руки, стала тихонько напевать, укачивать, затем дала грудь. Он в самом деле стал ее сосать, напрягся, зачмокал, но грудь была пуста, он отвернулся и обиженно заплакал. Тогда она поняла, что его детство кончилось, как и ее молоко, и больше она не должна быть ему матерью — только женой. Она захотела его, все, что скопилось в ней за два месяца воздержания, за два месяца этой пытки, когда она лежала под ним в стеклянном ящике и только ловила его тепло, все это сделало ее не-

терпеливой и резкой, она теперь ласкала его плоть чересчур страстно, пугая ее. Та была неумела, не всегда отвечала ей сразу и впопад, де Сталь злилась, руки ее становились грубы, жестки; все-таки он вошел в нее.

В первую их ночь сам, без нее, он, конечно, ничего не мог, но скоро де Сталь успокоилась и сумела к нему приспособиться; как бы ни был он неуклюж, в нем было много природной силы, и в итоге она осталась им очень довольна, ни о чем больше не жалела. И на душе и в теле все в ней теперь было легко, она очень хотела есть, решила, что к завтраку прикажет подать себе бутылку шампанского, а потом поедет в коляске кататься. Под утро пришла кормилица, чтобы одеть Федорова. Де Сталь стала помогать ей, обтирать его губкой, ей было важно, чтобы на нем не осталось никаких ее следов, даже ее запаха; днем без нее он должен был быть таким же, как раньше, ему не должно было прийти в голову, что ночь с ней — это не сон. Ей очень понравилось гладить его так, не рукой, а губкой, она возбудилась, снова его захотела, но было поздно, вот-вот он мог проснуться, и она с сожалением дала увести его вниз. В зале кормилица положила его на гроб, положила так, как он обычно засыпал, — локоть подоткнут под голову. Сама она забралась на свое обычное место и сразу же крепко заснула, даже не слышала, как он встал и ушел.

И все-таки что-то в нем оставалось, пусть не мозг, но тело его точно ее помнило, потому что с каждой ночью, что он провел у нее, он становился более умелым; если раньше, как я уже говорил, в постели он был сущий ребенок и она все делала за него, всякий раз чувствовала, что

совращает его, смотрела на него, будто на игрушку, то теперь он как какой-то сказочный богатырь — вчера был мальчик, а сегодня обернулся мужчиной. Он научился брать ее, владеть ею, ее хотеть и ею наслаждаться, причем это произошло так быстро, что иногда ей казалось, что он притворяется, что спит и ничего не помнит. И она, которая раньше сама им владела, тоже вдруг почувствовала себя с ним женщиной, тоже научилась ему отдаваться, покоиться в его руках, быть его.

Раньше он сидел рядом с гробом, храня и оберегая ее, он был на посту и падал, лишь засыпая от изнеможения. Федоров был ее рыцарь, ее жених, пришедший, чтобы разрушить злые чары, пришедший спасти. Она не была его, он не имел на нее никаких прав, он даже не мог подумать о ней, что она — его, скорее она принадлежала сейчас старухе-колдунье, и только его подвиг, только если он победит колдунью и разрушит чары, даст ему на нее права, так он и смотрел на нее. Теперь же в его взгляде де Сталь чаще и чаще ловила, что когда-то давно он уже владел ею, но потом потерял, гроб разделил их, но придет время, и они снова будут вместе.

Она видела, что он смотрит на нее не как на невесту, а как на жену. В его глазах осталось совсем мало жажды подвига, так забавлявшей ее, готовности сразиться со всеми силами тьмы, других возвышенных стремлений; с той ночи он просто хотел ее, он, наверное, и сам замечал, что смотрит на нее как-то не так, смущался, беспрерывно краснел, и еще, когда он засыпал, плоть его поднималась сразу, то есть он все время хотел ее; она даже заметила, что он теперь засыпал вовсе не от усталости, он торопил

сон, сон был его радостью, потому что во сне он соединялся с ней. Мозг с каждым днем больше и больше уступал его телу, уступал ради того, чтобы он мог владеть ею, де Сталь. Ей было приятно наблюдать в нем эту борьбу, теперь иногда даже наяву плоть его набухала, вздымалась, и она едва сдерживала себя, чтобы не расхохотаться, глядя, как он, стесняясь ее, пытается прикрыться то локтем, то полый сюртука.

Час или два, пока он не засыпал, они по внешности проводили так же, как раньше, оба они были теперь другими, то, что было между ними, тоже было совсем другим, но они обманывали себя и друг друга, как только могли. По-прежнему он сидел рядом с ней, что-то ей рассказывал, а она лежала совершенно неподвижно, оставив в закрытых глазах лишь незаметную щелку, через которую он был ей виден. Первые дни после того, как Федоров стал ее любовником, были для нее очень счастливыми, она вдруг поняла, что до него никогда и ни с кем по-настоящему не чувствовала себя женщиной, она всегда подозревала, что и Талейрана, и Барраса, и Констанна, прочих ее любовников и мужей влекло к ней разнообразие ее талантов, ее ум, то, что ни о ком в свете не говорили больше, чем о ней, и, конечно, иметь ее любовницей было очень приятно; еще больше ее пугало старое подозрение, что в ней, в самом ее нутре, там, где она зачинала и вынашивала, находится источник власти и люди, жаждущие власти, чающие ее, как голодные, припадают, в сущности, к нему, а не к ней. Все это касалось даже Рокка, которого она так любила. Федоров же был чист, ему даже не надо было оправдываться, он был вне подо-

зрений, и то, что он ее полюбил, то, что сейчас он, стесняясь и пряча свою вставшую плоть, то и дело смотрел на нее как на любовницу, как на женщину, с которой уже спал и которую хочет еще, свидетельствовало, что изнутри она самая обыкновенная баба и что она прекрасна, любима, желанна, как самая обыкновенная баба.

\* \* \*

Но дар, который он ей принес, был недолговечен, недели через три она вдруг отметила, что говорит он уже не как прежде, пока еще в его словах не было ничего нового, немного изменился темп речи, немного по-другому он стал ставить акценты и ударения, но она знала, что это лишь прелюдия. Она не была испугана или подавлена, разве что в первый день — до этого она благословляла опиум, из-за которого мозг его, когда он был с ней, спал, — теперь же она приняла как должное, что в ней ему оказалось доступно все, не только ее плоть; она приняла это как данность, пожалуй, она даже была к этому готова и потому смирилась так быстро.

Из-за этих трех недель счастья в ней тогда была готовность прощать всех и вся, в первую очередь, конечно, его, она и потом никогда не забывала, что эти недели дал ей именно он. Нового в том, что он говорил ей, с каждым днем становилось больше, он как бы предчувствовал, что скоро она родит ему сына и он сделается отцом, говорил очень по-взрослому, иногда, как ей казалось, даже нарочито. Мысли и ощущения, которые в нем раньше были совершенно неясными и неопределенными, теперь под ее



влиянием оформлялись, приобретали стройность, собственная база в нем была, здесь нет сомнений, и сначала она просто ему помогала: он брал из нее только инструментарий для огранки идей, для сведения их в систему — и все. Но скоро он убедился, что мир его неполон и некоторые лакуны он сам заполнить не может, и тогда легко, без тени сомнения в своем праве, стал находить, заимствовать из нее целые куски жизни. Однако надо отдать Федорову должное: в отличие от большинства ее французских любовников, свято веривших в ее гений и никогда не дерзавших что-либо менять — из-за этого они настолько грубо и, в общем, на живую нитку соединяли ее и себя, что ей всегда себя было жалко, — он все окрашивал в свои цвета. То есть он никогда не соглашался быть простым копиистом, послушным ее учеником, наоборот, беря из нее то, что ему было нужно для очень жесткой конструкции, которую возводил и в конце концов на исходе их совместной жизни, то есть через пять лет, возвел, — какие-то элементы этой конструкции были рождены ревностью, борьбой с ней и с ее миром, другие — борьбой за нее, но все замешано на его собственной совершенно иступленной вере, он ей самой не оставлял и капли свободы. Обычно де Сталь было ясно, что откуда идет, в другой раз то, что он брал в ней, так странно им переплеталось, что она сама не могла разобраться и только догадывалась, что за чем стоит. В общем ей всегда было с ним интересно, иногда она почти с восторгом следила за тем, что он с ней делает. Его ревность особенно поражала ее.

Познав ее как женщину, он одновременно познал всю ее прошлую жизнь и всю ее возненавидел. Спящая ца-

ревна, она была суждена и предназначена ему и только ему, он должен был разрушить злые чары, пробудить ее, она должна была воскреснуть и стать его. Он приходил к ней, сидел возле ее гроба, потому что она была его, он верил, что он, Федоров, не когда-нибудь, а скоро, может быть, завтра, как Христос Лазарю, скажет ей: «Встань и иди», — и, как Лазарь за Христом, она пойдет за ним. Теперь он узнал, что раньше она уже была чья-то, то есть была ему неверна, и он проклял все то время, когда она была не его, все то, что ее совратило. То, что тогда было вокруг нее, чем она жила, что знала, ценила, любила, — все это был мир греха, и он не имел права на существование. У него был очень сильный и последовательный ум, на мир он смотрел почти математически, он не понимал компромиссов и не был склонен заниматься самообманом, но раньше, до нее, ему не хватало опыта и знания жизни, чтобы наконец найти четкий и однозначный ответ — почему?

Почему так страшен и греховен наш мир? Путь его к этому ответу был очень медленен и занял много лет, так что я, — говорил Ифраимов, — искусственно здесь все сжимаю, но что-то он разглядел, конечно, сразу. Картина греха, которую он в ней нашел, поразила его, грех проник во все, все было им заражено, и Федоров понял, что никакое исправление жизни невозможно, это иллюзия, ложь, все должно быть вырезано, удалено, как раковая опухоль. В сущности, это было прощением ее, он понял, он впервые понял силу греха, понял, что противостоять ему она не могла. Шаг за шагом все было рассмотрено им и признано виновным, он отверг не только балы, рауты,

салоны, театр, рестораны, которые она так любила, это было лишь завершение цепочки, но и модисток, портних, вообще все эти бесконечные мануфактуры, производящие шелка и батист, бархат и кисею, он отверг гобелены, фарфор, резную мебель, картины, поваров, священнодействующих на кухне, и тонкие вина, все отношения, которые связывали ее с людьми, ее первый брак с бароном де Сталь и второй, когда она вышла за Рокка, тоже были греховны, и дети, рожденные в этих браках, тоже были рождены в грехе и для греха, и он отверг семью, отверг деторождение; в первую очередь в нем, в деторождении, он увидел корень того, что грех растет и множится, этот грех, этот потоп греха во что бы то ни стало надо было остановить, положить ему предел, человек размножал не себя, а зло, человек плодил не себе подобных, а порок.

Образ Божий, по которому человек был создан, давно уже в нем стерся, он, Федоров, как ни старался, вообще больше не видел Его, а только дьявольскую гримасу. Слушая его, она часто думала, что он — замечательная иллюстрация слов Христа: «Спасешься верою», — его вера и Его жизнь были так равно чисты и искренни, что ей временами приходило в голову, что он как бы считал себя совершеннее Бога, во всяком случае, он не боялся, был готов к тому, что его учение идет против Бога. То есть людям, когда они праведны, Бог, создавший мир, в котором есть зло и смерть и зла этого становится больше и больше, этот Бог должен казаться несовершенным, и здесь нет гордыни, такие люди не могут и не должны мочь принять никакую несправедливость, из-за этого они очень рано уходят от Господа, начинают Его не понимать. По-

чему мир был создан именно таким, почему, зачем было оставлено место для зла — все это кажется им результатом очень странной, очень сомнительной сделки, в отношении человека она точно нечестна, он, конечно же, ее жертва. Если Господь просто ставил опыт — что сильнее, добро или зло, то человек жертва, и тогда в Его, Господнем, мире зло явно сильнее, человек был создан Им так, что противостоять злу он не в силах. Федоров был убежден и говорил это Сталь, что мир должен быть изменен разом и навсегда; для того, чтобы длить страдания дальше, не может быть никаких оправданий, мир уже завтра, и это лишь начало, следует радикально упростить, сделать ясным и определенным, большинство бед человека связано именно со сложностью мира, он все время путается, все время теряется, ничего и никак не может понять, ни в чем разобраться, зло он творит по неведению, без умысла.

Две вещи Федоров признал за особенное коварство Господа — то, что человека Он создал по Своему образу и подобию, тем самым как бы подчеркнув соразмерность человека Себе, внушив ему, что каждый, каждая живая человеческая душа важна для Него так же, как весь мир, как вся Вселенная. Он внушил человеку, что в деле спасения ему нет нужды искать помощи себе подобных — зачем, когда у него есть Он, Бог; только его собственное нравственное совершенствование, только его собственный путь от зла к добру, путь к Богу воскресит его. Господь столько взвалил на слабые человеческие плечи, плечи человека, который всю жизнь, выбиваясь из сил, должен был в поте лица своего, как Сам же Господь ему предназ-

начил, добывать хлеб насущный и даже детей своих, свою плоть и кровь, рожать в муках; человек, конечно же, не был готов, не мог вынести этого разговора с Господом на равных, он чересчур устал, жизнь его была безнадежна и беспросветна, лямку он еще как бы по привычке тянул; что же до Бога, человек был грязен, неучен, терялся, если что было не так, и, конечно, Господа, который судил ему эту жизнь, он мог только бояться. Ведь даже Моисей, чтобы не ослепнуть, должен был говорить с Богом, отвернув от Него свое лицо, — Моисей, праведный из праведных, столь часто с Богом говоривший, столь Богом любимый.

Господь говорил человеку, что тот должен и может обращаться к Нему всегда, что Он всегда его услышит и придет на помощь, если то, что хочет человек, праведно, но разве Он всегда приходил? Сколько горя, сколько смертей, сколько невинно убиенных; человек боялся обращаться к Богу. Бог был чересчур грозен, чересчур велик и страшен во гневе, Он готов был и один раз уже разорил все, что было Им Самим построено: разве отец стал бы наводить потоп на свой дом только потому, что его собственные дети выросли не такими, как он хотел? Нет, Он был им не отец, а Господин, и они всегда смотрели на Него не как на отца, их породившего, а как на своего Хозяина, который вправе пустить по миру, разметать, а то, опалившись гневом, и вовсе стереть с лица земли. Все они были дети Адама, одна кровь, братья, но Он, когда они принялись согласно и дружно строить Вавилонскую башню, не успокоился, пока не разделил их, пока не сделал их друг другу чужими, а чужих — таким его

создал Он Сам — человек всегда боялся, всегда считал врагами, готов был чужого убить, растерзать. С тех пор ни один из них другого никогда уже не понимал, каждый стал себялюбцем, эгоистом, думающим лишь о себе; разве так должен был поступить отец со своими родными детьми?

Когда Федоров это ей говорил, она, отвлекшись от его слов, вдруг подумала, что он, судя по всему, до сих пор страстно верит в Бога и в то же время он уже начал ненавидеть Его, он уже перешел свою меру страданий и больше прощать был не готов, и сразу ей пришло в голову, что атеизм — это очень горькая попытка оправдания и прощения Бога, Он невиновен ни в каких страданиях человека, потому что Его просто нет, люди отказываются от Бога, чтобы снять с Него вину.

«О, — продолжал Федоров, — смешение языков — далеко не первая и даже не самая страшная Его хитрость. Господь шел на все, только бы не дать человеку найти дорогу в Рай, вернуться туда. Зачем, — спрашивал он ее, — мир был создан таким несообразно сложным, зачем эти мириады растений, зверей, птиц, гадов, наконец, насекомых? Какое это имеет отношение к поиску добра? Нет, все это придумано только для того, чтобы сбить человека с толку, чтобы человек, как в лабиринте, потерял путь и не смог выбраться наружу. А Каин? Ведь и он убил Авеля потому, что не знал, какая жертва угодна Богу, Господь Сам заповедал людям обрабатывать землю, а Каинову жертву, первые плоды трудов его, не принял. Но человек, — говорил Федоров, — недолго плутал и недолго был дитем неразумным, он успел вкусить от Древа

познания добра и зла и успел полюбить добро, и вот, когда Господь понял, что человек все равно найдет дорогу в Рай, поколение строителей Вавилонской башни уже нашло, Он стал сокращать время жизни человека на земле; если праотцы жили по многу сотен лет, это и было нормальным сроком человеческой жизни, то мы редко когда живем по пятьдесят: не успеет кончиться детство, не успеет человек понять, разобраться, что добро, а что зло, и ступить на дорогу праведных, а смерть уже тут как тут».

Федоров мечтал о совсем простой и понятной жизни, в сущности, он хотел, чтобы люди, чем бы они ни занимались — прокладкой железных дорог, производством машин или земледелием, — сделались солдатами; жизнь солдат, само устройство армии, все это казалось ему правильным, почти совершенным; во всяком случае, здесь был шанс на спасение, это были бы обычные армии, только назывались бы они трудовыми, а так весь механизм их жизни был бы тот же самый.

Сталь знала, что эта идея отнюдь не просто абстрактные мечтания, у Федорова был образец, в России еще до сих пор существовали созданные после победы над Наполеоном военные поселения, где крестьяне жили именно так. Подобную деревню, или, вернее, полк, она сама видела несколько лет назад под Новгородом, ее возил туда как бы на экскурсию граф Строганов, большой поклонник и ее, и этих поселений. Деревня ей тоже понравилась: все было очень чисто и ухожено, даже разбиты клумбы; дети, в любом месте России оборванные, грязные, нечесанные, здесь были одеты в аккуратную, сшитую по мерке военную форму, и хотя им было всего

семь-восемь лет, маршировали они с выправкой и удалью гвардейского полка. Не было тут и курных перекошенных изб: Строганов объяснил ей, что, как только деревня становится военным поселением, старые избы сразу же сносятся, а на их месте вокруг большого квадратного плаца ставятся, замыкая его, бараки-«связи», разделенные на одинаковые ячейки, каждой крестьянской семье — своя.

На этом плацу, когда в полевых работах перерыв, солдаты-крестьяне маршируют, разучивают разные артикулы, словом, осваивают военную науку. В деревне нет ни пьянства, ни столь привычных для русских расхлябанности и разгильдяйства, все подтянуто, во всем порядок. В штабе полка разработаны планы учений и сельхозработ на каждый день года, так что каждый знает, что и когда он должен делать. Утром по команде офицера горнист играет зóрю, они встают, затапливают печи, потом построение, и с плаца колоннами под музыку идут в поле. Когда же работы закончены, опять колоннами — обратно, в деревню, дальше еда, оправка и по сигналу горниста — отбой. Крестьянский труд и труд воина соединены, слиты в их жизни, в итоге из военных поселян получаются едва ли не лучшие солдаты в русской армии, кроме того, это армия, которая сама себя кормит.

Страсть Строганова к военным поселениям ей тогда показалась вполне естественной, тем более что эти деревни, как я уже говорил, ей понравились, к тому времени она давно научилась смотреть на все, связанное с армией, глазами русских. Но она помнила, что в первый свой приезд в Петербург, это было еще в 1809 году, была по-



ражена восторгом и вниманием, с каким русские наблюдали за парадом, и записала в дневнике, что в этой огромной бескрайней стране, где каждый сам по себе бредет по жизни, часто без цели, без смысла, и только страх затеряться, заблудиться, пропасть соединяет их всех, согласное и точное, легко послушное любой команде движение сотен и тысяч людей должно казаться верхом совершенства.

«Армия, — говорил Федоров, склонившись над ее гробом, — последний шанс сделать так, чтобы человек отказался от своей неродственности, от своего небратства, от неравенства, от убеждения, что все ему чужие и он другой; в армии, — говорил он, — все справедливо и честно, в ней нет незаконнорожденных. Сила армии в том, что она не дает поблажек себялюбию человека, и как он стоит, и как двигается, и как одет — во всем он такой же, как остальные. Если бы она видела, как счастливы новобранцы, когда после многих-многих месяцев муштры и учения из них вместе с потом выйдет все то, чем Господь разделял их, вдруг они видят, что стали как бы одним человеком, не множеством разных, не похожих друг на друга людей, а одним существом, что они сошлись так тесно, что между ними не осталось и зазора, даже не скажешь, где одного сменяет другой, тогда-то они строем, печатая шаг, пройдут наконец по плацу как надо. Каждый из них теперь взвод, рота, батальон, бригада, корпус, дивизия, армия, и каждый из них ликует, потому что ему больше никогда не придется говорить с Господом один на один, он будет говорить с Ним только так, взводом, ротой, батальоном, бригадой, корпусом, дивизией, армией. Теперь

они наконец поняли, что не одиноки в мире, что никто из них ни за что больше не отвечает, ты просто должен быть как все, и тогда ты всегда будешь прав и, что бы ни сделал, вины на тебе нет.

Даже на войне, где устав разрешает им идти не парадным строем, а врассыпную, они продолжают помнить, что их жизнь — только часть общей жизни, что одна, сама по себе, что бы ни говорил Господь, она ничего не стоит; и пусть даже пуля сразила тебя, ты жив и оправдан, если твоя армия победила. И за это вновь обретенное братство они готовы умереть».

Федоров думал, что армия упрощенных и уравниных людей сама поймет, что мир таким сложным, каким он был создан Богом, даже если он и вправду прекрасен, ей не нужен, что он ей мешает, и тогда люди совместным трудом всего за несколько лет сроят горы и возвышенности, засыпят болота, впадины, низины, превратят реки в прямые, ровные каналы и повернут их течения, так что они потекут туда, куда надо человеку, а не туда, куда направил их Он. Они сделают множество дамб и искусственных прудов, и им больше не надо будет молить Бога о спасительном дожде, воды всегда будет вдоволь, а то зимой и ранней весной, когда земля спит, реки разливаются, а летом, когда земля иссыхает, губя урожай, совсем мелеют. Человек вырубит леса и превратит их в пашню, оросит пустыни и тоже сделает из них пашню, и вот, когда вся земля станет одним огромным ровным полем и уже никто не будет голодать, никто изо дня в день не будет думать лишь о хлебе насущном, человек сможет заняться главным делом — делом воскрешения своего рода, высо-

ким делом преобразования земного, смертного по своей природе мира в мир без смерти — Царствие Небесное.

Федоров не был бесплодным мечтателем, ум его был практичен и точен, он понимал, что всего этого сразу не достигнешь, и де Сталь довольно рано начала догадываться, что орудием своих преобразований он на первом этапе предназначил стать ей. Он решил пропустить жизнь через нее, как через фильтр, и отсечь все, что окажется ей созвучно, все, что она пожалеет, захочет удержать. В его новом мире могло быть сохранено лишь то, что было ей безразлично, чего она не знала и на что никогда не обращала внимания: простая крестьянская, лучше домотканая одежда, такая же простая, без изысков еда, орудия труда, нужные, чтобы это произвести, и, в общем, пожалуй, все. Деревни Федоров пока был готов оставить — жизнь в них была проста, добро и зло здесь было нетрудно отделить друг от друга, — но не города. Из-за нее он возненавидел города, он кричал ей, что это отвратительные, чудовищные паутины: улицы, дворы, дома — все до края наполнено пороком и, как Содом и Гоморра, должно быть уничтожено.

Идея спасения и воскрешения человеческого рода, каждого человека, когда-либо жившего на земле, без изъятия, была самой важной в его представлении о мире, и в ней он так слил ее и себя, что, слушая его, де Сталь даже не пыталась с ним разделить. За первые три месяца их общей жизни он, с ее помощью пройдя и продумав то, что было изложено выше, обвинив и едва не прокляв Бога, отрезав все пути примирения с Ним, вдруг начинает медлить, топчется на одном месте, как человек, который за-

был дорогу, потом и вовсе останавливается. Неожиданно он обнаруживает, что в нем нет знания, как спасти людей, и ему нечего им сказать. Хотя де Стальхватило интуиции, чтобы заметить приближение кризиса загодя: ночь за ночью, как бы совершенно ее опустошив, он, словно заведенный, повторял один текст, но и это не было началом; еще раньше постель для них обоих вдруг сделалась рутинной, он спал с ней, как с женой, от которой давно не ждешь ничего нового, сегодня то же, что вчера, и то же самое будет завтра, — но тогда ей показалось, что это просто реакция на чересчур бурное развитие их романа, он осваивал ее так страстно, что за несколько месяцев сумел в ней найти и взять больше, чем все ее прежние мужья и любовники; в ней даже появился страх перед ним, она испугалась того, насколько вся она ему нужна, насколько ничего он ей самой не оставляет; как колодец, он вычерпывал ее до дна, вычерпывал даже грязь.

Теперь, когда де Сталь вынашивала его ребенка, она была только рада, что их отношения стали более спокойными и ровными, что утишился его ни с чем не сравнимый восторг познания ее. То, как он понимал, что она должна отдаться ему вся, вся без остатка, давно вышло за пределы разумного, и она была не готова снова идти ему навстречу. Конечно, она была не права, что отнеслась к этому так легко, в то же время ребенок, которого она зачала от него, который в ней сейчас рос, вытеснял из нее Федорова, и поделаться с этим ничего было нельзя. Она успокоила себя тем, что после размеренной провинциальной жизни, к которой Федоров привык и приноровился, которой только и мог жить, то, что случилось с ним в эти

три месяца, от первой его любви к женщине — к ней, Евгении Францевне Сталь, до восстания против Бога, все это было для него слишком много, и, когда он, потеряв нить, вдруг понял, что ему нечем помочь людям, что он никогда и никого не сумеет спасти, то есть он как бы мошенник и обманщик, — шок был, конечно, очень силен. Однако, что это начало душевной болезни, ей даже в голову не приходило. В сущности, ко всей этой истории она отнеслась довольно равнодушно, конечно, она жале-ла его, даже плакала, когда видела, что ему особенно худо, но, в общем, занята была в основном ребенком, думала о нем, а про Федорова думала, что он сам виноват — то, что случилось с ним, Божье наказание за гордыню.

\* \* \*

На пятом месяце беременности, когда ей уже стало трудно скрывать свой живот, она за один день собралась, после чего, никого, кроме кормилицы, не предупредив и не взяв с собой, уехала в Петербург. Здесь, занимаясь собой, отдыхая, читая книги, она до родов прожила в маленькой финской гостинице на окраине города. Там же она родила сына, месяц сама кормила его грудью, а затем, оставив ребенка на попечении хорошей няньки, очень аккуратной и чистоплотной датчанки, стала собираться домой, в свое тамбовское имение.

Когда она возвращалась обратно, была уже в полуверсте от дома, из леса прямо ей навстречу вышел Федоров. Был июль, жара, она ехала в открытом ландо, о чем-то задумалась и, увидев его прямо перед собой, от

неожиданности остановила кучера, уже открыла рот, чтобы сказать Федорову, что у него теперь есть сын; она забыла, что он даже не знает, что жил с нею, но Федоров, не обратив на нее никакого внимания, явно вообще ее не видя, прошел мимо, и тут она поняла, что вне хрустального гроба она для него не существует и, сколько бы раз он ее ни встретил, пусть даже она с ним заговорит, все равно он ее не узнает. Через день после приезда горничная, как обычно, едва стемнело, впустила Федорова в дом, и роман их возобновился тем же порядком, что и до ее отъезда.

Задним числом то, что он ее не узнал, неприятно поразило де Сталь: она думала, что в нем больше любви и интуиции, он хотя бы должен был почувствовать, что она рядом. И то, что все у них продолжилось так, как будто на эти полгода она никуда не уезжала, не родила его сына, тоже ее огорчало; он же настолько был занят своими мыслями, что и в самом деле без труда соединил и заполнил разрыв, кажется, даже начал с той своей фразы, на которой опиум прервал его в их последнюю ночь. Но потом она решила, что все к лучшему и так, конечно же, куда проще.

Когда он встретился ей на дороге, она уже обратила внимание, как он постарел, но тогда виделись они мельком. Теперь, при свете свечей, он показался ей совсем стариком: глаза потухшие, говорит медленно и невнятно, бубнит, бубнит про какие-то свои обиды, но и это монотонно, скучно, без всякого азарта. Он жаловался ей на Бога, говорил, что Бог путает его, сбивает, так что он теперь не может додумать до конца ни одну мысль, что Бог

специально делает так, что почти каждый день у него болит голова, особенно досаждают звон в ушах — то гул, как из морской раковины, а то колокольчики звенят и звенят, мелодия хорошая, но из-за нее он все забывает.

Он и в самом деле часто сбивался: то через слово себе противоречил, то, наоборот, как сломанная игрушка, раз за разом повторял одно и то же. Изредка он вдруг начинал страшно богохульствовать, кричал, что Бог вор, что Он у него все украл, это он, Федоров, придумал, что смерти нет и люди воскреснут, и праведные, и грешные, все-все воскреснут, а Господь это присвоил себе. Но эти вспышки редко продолжались долго и гасли сами собой. Снова, пока опиум не брал свое, он занудливо перечислял обиды, все ему казались жуликами и проходимцами, он жаловался, плакал, и она была счастлива, когда он наконец засыпал. Ночи с ним доставляли ей еще меньше радости, чем лежание на кушетке. Их свидания продолжались по инерции, и она знала, что была бы рада, если бы он больше вообще не приходил. Про себя же она вдруг поняла, что так к нему привыкла, что сама на разрыв не решится.

Не принося никакой радости, эти встречи, впрочем, ее время от времени забавляли. Иногда, например, он неожиданно вспоминал, где остановился, и снова, видя, что не знает, как воскресить людей без Бога, начинал метаться, бросался из крайности в крайность, какие-то совершенно второстепенные вещи вдруг представлялись ему едва ли не решающими, и он почти что с прежним пылом принимался их изничтожать. Он помнил, что сначала ему надо победить неродственность и небратство народов,

соединить их в одно целое, лишь тогда, позабыв распри и войны, человечество сможет взяться за дело воскрешения, и тут он открывал, что корень и первопричина зла в жадной и мерзкой Англии — ненависть к Англии была ее, де Сталь, — которая испокон века стравливает страны друг с другом, чтобы нажиться на крови. Сила же Англии в ее индийских владениях, и, значит, России, которая отвечает за всех, надо будет послать к берегам Индии свой флот, однако Россия как мирная страна не может первая напасть даже на Англию, и русским кораблям придется крейсировать бок о бок с английскими и ждать, пока нервы у тех в конце концов не выдержат и они не откроют огонь. Теперь агрессор — Англия, закон на стороне русских, они легко захватят английские суда, потому что русские солдаты лучшие в мире и дело их правое, после чего трофеи будут проданы, поделены честно между народами мира, Индия же присоединится к Общему делу.

Покончив с Англией, он длинно и зло принимался ругать все прочее, что мешало народам соединиться: по очереди, одно за другим, он высмеивал мусульманство, католичество, иудаизм, протестантизм, которые тоже разделяли людей, были врагами истинной веры — православия; говорил он неумело, многое было притянута за уши, однако подчас у него получалось очень лихо, почти как с Англией. В сущности, она понимала, что этот бред безнадежен и жалок, но она уже смирилась с тем, что он неисправим, а с таким ей было, пожалуй, веселее.

Все это продолжалось довольно долго, если считать и время, когда она уезжала в Петербург, — почти год, тер-



петь его ей становилось с каждым днем труднее, она удвоила, потом утроила количество свечей, чтобы он скорее засыпал, однако совсем с ним расстаться не могла. А потом в одну из ночей она отвлеклась от мыслей о ребенке — единственная ее отдушина и отрада с тех пор, как она вернулась в имение, — и ей вдруг опять стало с Федоровым хорошо. Она уже забыла, когда последний раз хотела его, и теперь, почувствовав, что снова вся его, что в ней не должно быть и не осталось ничего, что было бы от него скрыто, что не только тела их соединились, а все сделалось одним целым, она поняла, что сегодня он очнется и пойдет дальше.

Сначала Федоров вспомнил, почему восстал против Бога. Он вспомнил, что поднялся против Господа из-за нее, де Сталь; Господь две жизни искушал ее властью, источник власти был в ней самой, но она так никогда и не получила ее, и все это, как она и он, сошлось в Федорове с убеждением русских, что Господь так же всю жизнь искушал Россию и так же потом обманул ее. Он сделал русскую землю новой Святой землей, а русский народ вместо евреев — новым избранным народом Божиим, поручил ему хранить истинную веру и ждать Второго пришествия Христа и торжества праведных. Россия приняла этот крест. Девять веков невыносимых страданий и невыносимого терпения, девять веков веры и готовности принять Христа, готовности на любые жертвы ради спасения народов земли — и все оказалось не востребуемым, никому не нужным; получалось, что Он не истинный Бог, не Всеблагой Господь, а простой искушитель.

Едва Федоров это вспомнил, он сразу же увидел и тот путь воскрешения, которым он должен будет пойти и повести за собой человеческий род; в сущности, все было мгновенно: год душевной болезни, сумасшествия, ничтожности, бреда и вдруг из этого как чудо — свой путь спасения, совсем другой, нежели путь церкви.

«Истинно говорю тебе, — слышала она через стекло, он стоял над ней, и голос его почти гремел, — спасения достойны все; даже самый последний грешник, узря свои преступления, ужаснувшись им, пройдет через такие муки, через такие страдания, что искупит зло и очистится».

В Федорове теперь было очень много милости, благородства, и ему надо было и в ее, и в своих глазах оправдать Бога. Он говорил:

«Все люди — дети Божьи, все они созданы по Его образу и подобию, и, значит, они не могут пасть так, чтобы их уже нельзя было спасти. Человек, весь род человеческий будет спасен, каждая его часть будет спасена, ни один не будет забыт, ни один не станет изгоем». Он вообще, уходя дальше и дальше от Бога, все настойчивее пытался Его простить и оправдать; так, в другой раз он убеждал ее, что Апокалипсис, гибель рода человеческого и венчающий эту гибель Страшный суд и по Господу вовсе не обязательно должны предшествовать воскрешению только праведных, это лишь предупреждение человеку. Стоит ему исправиться, отказаться от греха, и Господь с радостью и любовью освободит его от страданий, пощадит, как раньше Ниневию.

Он даже, чтобы она не подумала, что в нем, прощающем Господа, говорит гордыня, однажды сказал ей, что в

Евангелиях все это уже есть — дело спасения человека заведено Господом самому человеку; Христос дал нам лишь начатки учения, только семя его, и, если мы окажемся доброй почвой, почвой, хорошо увлажненной и взрыхленной, оно вырастет в нас, созреет и даст плоды. Он часто вспоминал слова Христа: «Дела, которые творю Я (воскрешение из мертвых), и он (пошедший за Мной, то есть человек) сотворит, и больше сих сотворит...» — и другие: «Шедше научите все языки...» Так что он, уже решившись на самую безумную революцию, навечно разрывая со всем прежним миром, рвя с Богом, Который породил и этот мир, и его самого, не захотел ни в чьих глазах быть самозванцем и начал в Господе, от Которого уходил, искать санкцию и корень того, что делал.

У Сталь было время и была любовь и терпение, чтобы понять и разобраться в Федорове. Многое, как я уже говорил, он брал из нее, она всегда была к нему близка, разве что когда уезжала в Петербург, и первые месяцы после возвращения оттуда — тогда она больше думала о ребенке (но ребенок был тоже его, зачатый им), чем о нем самом. Ночь же соединяла их в одно, тогда ей все в нем было открыто, так же как ему в ней, и они, сойдясь в единое существо, даже не могли разобраться, кто из них где, и брали друг из друга, как из самого себя, что хотели. Но на рассвете они расходились, она отделялась от него и снова могла смотреть на Федорова со стороны; то же и вечером: он приходил, садился у ее гроба, они любили друг друга, были друг от друга совсем рядом, но между ними была ее смерть, и пробиться сквозь нее они не могли. Лежа в гробу, она слышала его как бы

издалека, и, конечно, и он сам, и то, что он говорил, казалось ей тогда другим, и она часто повторяла слова, слышанные еще от отца: смерть все расставит на свои места. Расстояние между ней и Федоровым позволяло ей судить о нем вполне здраво, спокойно, и она уже давно поняла, что он не мог простить Богу, из-за чего восстал на Него.

Первым была смерть: Федорову казалось, что, сделав человека существом смертным, Господь не понял и не оценил того, что создал. Человек по своей природе был добр, но жизнь была так коротка, и так скудна она была на радость и щедра на страдания, радости хватало очень немногим, а ждать — человеку было отпущено совсем мало времени, — ждать он не мог и пытался отнять, отщипнуть у своего собрата хотя бы кусочек ее, кричал тому: у тебя вон сколько, а у меня вообще ничего. Смерть родила зависть, злобу, ненависть, из-за нее люди сделались врагами друг другу. Если бы радости было хотя бы чуть больше или больше был бы срок жизни человека на земле, он успел бы разобраться и осмотреться, успел отделить важное от второстепенного, выбрать добро, понять и полюбить его. Люди подходили к этому совсем близко. «Вон, — говорили они, — это добро, а это зло, и я больше не хочу зла, я хочу добро, потому что добро прекрасно, а зло отвратительно», — и они шли к добру, но дойти не успевали. А дети их — сумеи они это передать детям — вообще не знали бы зла, вообще не стали бы его касаться, но Он сделал так, что дети начинали все сначала. Хотя это принадлежало всем людям, всему роду человеческому, это было то, что че-

ловек понял и выбрал сам, а Он отнимал это у человека, у его детей, и те тоже, даже если находили добро, дойти до него не успевали.

Возможно, Федоров об этом в конце концов и забыл бы, жил бы как другие и вспомнил о смерти уже только стариком, со всем смирившись, все приняв и простив. Но и любовь пришла к нему через смерть, он любил ее, де Сталь, так, как только может один человек любить другого, но гроб и смерть разделили их. Он приходил к ней каждый вечер и каждый вечер видел, что она прекрасна и мертва, и не мог не ужаснуться смерти, не мог не поражаться ее силе, и поэтому никуда не ушел его еще детский страх, что жизнь так хрупка и вот-вот может прерваться.

Вторым было неравенство людей. Сначала она думала, что ненависть к нему Федорова была рождена французской революцией и целиком взята из нее, де Сталь, но потом поняла, что ошибается: социальное, классовое неравенство, неравенство богатства — все это волновало его очень мало; самым первым впечатлением детства, потрясшим его, были слова няньки, из которых он узнал, что его отец, отец, плоть от плоти которого он был, отец, которого он страстно любил и должен был продолжить и продлить, по закону вовсе не был его отцом; он, Федоров, был незаконнорожденным сыном и не имел права ни на имя его, ни на любовь. У него, Федорова, как бы вообще не было отца, цепь зачатий и рождений, идущая от Адама, была прервана, все корни его были обрублены, он как бы был изгнан из рода человеческого и отрезан от Бога. Мир, где отцы допустили, а возможно, даже сами установили такой порядок, признали его справедливым,

угодным Богу, не имел права на существование, и он тогда еще поклялся себе его уничтожить.

Революция, которую он задумал, должна была разрушить устройство этого мира, не оставить из него ничего. Первым шагом он признал всех отцов недостойными быть отцами, недостойными зачинать детей и продолжать род. В неумной гордыне он хотел повести все свое поколение, поколение детей, на кладбища, чтобы там, среди могил, они, навсегда отказавшись от преходящего, начали бы великое совместное дело — дело воскрешения зачавших их. Отцы, совершив смертный грех, потеряли право зачинать детей, право это по наследству перешло к детям, и те теперь станут из себя рождать, восстанавливать, воскрешать своих отцов. И среди них не будет ни одного незаконнорожденного. А дальше отцы, уже как дети, унаследовавшие благословение своих детей-отцов, восстановят собственных отцов, и так начнется этот медленный путь воскрешения всего человеческого рода, возвращения его к Богу.

Федоров не хотел никакого продолжения жизни, он хотел повернуть ее вспять, замкнуть, погрузить в себя. Правда, как-то он сказал де Сталь, что здесь ничего не будет простым повторением: дети, восстанавливая из себя отцов, будут проживать их жизнь совсем по-новому; отцы спешили, бездумно спешили жить, дети же будут кропотливы и внимательны, ничего в той жизни не останется незамеченным и неоцененным. Путь, которым, по Федорову, человечество теперь должно было пойти, этот путь не был кругом или петлей — удаление Адама и его потомков от Бога, уклонение их от добра во зло и постепен-

ное оставление зла, возвращение к добру — это даже не был просто поворот, поколение за поколением уходило все дальше и дальше от Бога, теперь повернули и пошли назад — нет, ноги должны были ставиться точно след в след, так, как будто назад ты идешь спиной. Жертвенность последнего поколения, отказавшегося, несмотря на свою святость, от рождения детей и начавшего воскрешать отцов, — страшный укор отцам: как вы с нами, и как с вами мы, целомудрие этого поколения, его непорочность и непорочность зачатия им отцов, рождение отцов, очищенных от первородного греха. Но женщин он воскрешать не хотел, он ненавидел их, говорил де Сталь, что именно их блуд, их податливость рождала незаконнорожденных, кажется, он считал их еще более виновными, чем отцов.

В Федорове была поразительная вера, он не сомневался, что этот его путь ведет и приведет весь род людской в Рай, что он самый прямой и короткий. Сталь так и не разгадала, натолкнуло ли его на это то, что она собой восстановила и воскресила свою мать, следовательно, это был как бы и ее путь, или лишь утвердило в том, что он правилен. Ведь он сам с того первого мгновения, как увидел ее тогда на проселочной дороге, пошел за ней, потому что знал, верил, что сможет ее воскресить. Федоров жаловался де Сталь, что здесь, на земле, им будет очень трудно воскрешать отцов, не память о них, не их души, а такими, какими они были, то есть телесно, как люди и должны воскреснуть. Другое, райское воскресение, которое предлагает праведникам Господь, неполно и ущербно, но на земле воскресить человека телесно вряд ли возможно, земля вообще не родной дом человека, земля —

место его изгнания, место страдания и смерти. Человек упал на землю, был выброшен сюда из своего гнезда, из Рая, и снова пал, когда смерть подкосила его. Чтобы восстановить человека, его надо вернуть назад, в космос. Небо — вот истинный дом человека, то место, где он был зачат, выношен и рожден; там, в космосе, где нет силы тяжести, которая гнетет живое, гнет его к земле, можно будет разыскать все те атомы, из которых человек состоял. Эти атомы, говорил Федоров, раз побывав частью человека, навсегда остаются живыми, они одухотворены и помнят, в них есть память, частью кого они были. Федоров вообще был убежден, что человека можно собрать заново — по кирпичику, и, когда он будет собран, он встанет и пойдет, и так же по кирпичику можно сложить его душу, то есть она тоже делится и дробится, а потом собирается и вновь становится целым; он был великолепный конструктор; это был мир, состоящий из големов, но вера в Федорове была такова, что и де Сталь уверовала, что он сможет спасти и воскресить всех.

Я уже говорил, что Федоров очень боялся быть принятым за самозванца, он знал, что тогда за ним никто не пойдет. И еще: несмотря на веру в то, что он призван, его не оставлял страх перед самим собой, перед своей гордыней, перед Тем, против Кого он пошел. Федоров все время искал, кто был бы готов идти тем же путем, что и он, может быть, даже встал на эту дорогу раньше его. Он не раз с восторгом рассказывал Сталь, как строилась Башня, и всегда жалел, что не знает имени ее архитектора, имен других строителей, клялся, что они и их жизнь будут восстановлены. Еще он часто рассказывал ей о сыне



праведного Ноя Хаме; из комментариев Раши и некоторых других, которые он ей цитировал, следовало, что вина Хама не в том, что он, увидев наготу отца своего, не прикрыл его, а позвал братьев смотреть, это сглаженная и смягченная версия — лишь намек на то, что было. В жизни же Хам, кажется, оскотил отца. Он оскотил его, узнав, что Господь обещал Ною сделать его новым Адамом, обещал, что Ной сыновьями, которых он родит уже после потопа, сыновьями, не знающими греха, начнет новый род человеческий. Господь хотел совсем заново начать человеческую жизнь, хотел, чтобы все, что было между Адамом и потопом, вся эта длинная история удаления человека от Него, Господа, отпадения его во зло была бы вычеркнута и навсегда забыта. Он говорил, что она так слита с грехом, так пронизана им, что воскресить ее — значит воскресить грех. Господь говорил Ною, что память об Адаме и его потомках должна умереть, ничто из той жизни не может быть восстановлено и возвращено. Он наслал на землю воды, чтобы смыть все, все до последнего следа. Узнав, что Господь обрек всех предков Ноя на смерть, на окончательную, без воскресения, смерть. Хам восстал против Него.

По другому комментарию, Хам, якобы увидев Ноя нагим, лег рядом и совокупился с отцом. Хам не был так же чист, как Ной, грех был ему знаком, хотя до потопа он как мог старался его избегать, все же он был взят на ковчег, спасен от всеобщей гибели из-за своего отца, Ноя. Жизнь сына, его, Хама, жизнь была дана Господом Ною в награду за праведность, и Хам это знал. Хам знал и то, что придет время, придет его черед воскресить отца, но был наивен, боялся, что не сумеет это сделать во всей полноте и

целостности, потому что главное в Ное — его чистоту и святость — он восстановить не сможет, ведь в нем самом этой святости нет. И тогда, чтобы познать Ноя, познать его всего, он соединился с ним.

\* \* \*

Если считать со дня их знакомства, де Сталь прожила с Федоровым пять с половиной лет, с 1849 по 1854 год. За это время она родила ему трех сыновей; так же как и с первым ребенком, едва талия ее начинала полнеть, она уезжала из имения в Петербург, там рожала, месяц сама кормила ребенка грудью, потом передавала его кормилице, все той же датчанке, после чего возвращалась обратно в Соновый Яр.

Все три сына Федорова были крупными, красивыми мальчиками, как ей нравилось, голубоглазыми и белокурыми, но душа не сумела оплодотворить их сердце, мозг, тело, и они продолжали жить несмышленными младенцами. Она часто думала, почему у Федорова от нее такие дети. Она знала и другие случаи, когда человек рождался уже завершенным и законченным, не способным к развитию, правда, не всегда ребенком, или когда развитие человека останавливалось слишком рано: она думала, что судьба этих людей, возможно, поможет ей понять, какое будущее ждет и сыновей Федорова.

Первый человек, Адам, был сотворен взрослым, значит, Господь не желал его развития и сразу создал его настолько совершенным, насколько вообще мог быть человек. То есть первый человек не был первым ребенком,

детство вообще не было создано Богом, и путь от рождения до того, каким человек был задуман Богом, был дан человеку в наказание. Но душа Адама была душа ребенка, это несомненно, и, может быть, здесь корень непонимания Богом человека и такого долгого удаления их друг от друга. Красноволосяй Исав, старший брат Иакова, любимый сын Исаака, тот самый, что по всем человеческим законам должен был получить первородство, и Исаак уже призвал его, чтобы благословить, был все же лишен первородства Господом: Господь подставил слепому Исааку для благословения второго его сына, Иакова, потому что душа и ум Исава были завершены, и он не мог идти дальше в познании Бога. Значит, Господь признал, что путь человека к Богу, его путь от зла к добру есть благо и что человек сам должен пройти его весь. Все-таки знание Бога о человеке было не полно, и Христос, взявший на себя грехи мира, Христос, с Которого жизнь человеческого рода была начата как бы заново, — новый Адам; до этого человек уходил дальше и дальше от Бога, теперь сделал первый шаг навстречу Ему, и шагом этим была не проповедь, не чудеса и воскрешения, и даже не Голгофа, а зачатие Христа Его Матерью Марией.

Вряд ли, говорила себе де Сталь, душа и мозг сыновей Федорова так и не пробудились, потому что Федоров, когда зачинал их, был усыплен опиумом и они как бы унаследовали его сон; скорее, Господь просто боялся, боялся, что сыновья человека, поднявшегося против Него, повторят его путь. Грех гордыни Федорова был страшен, и наказание очень жестоко. Федоров не мог простить отцам ни одного незаконнорожденного сына, но все трое его сыновей были

незаконнорожденными. Он навсегда отказался от рождения детей, потому что знал, что страдания человеческого рода продлятся с ними еще на одно поколение, он верил, что именно с него начнется путь назад, но его сыновья продлили жизнь. Делом, предназначением сыновей было восхождение отцов, но его сыновья, ни разу в жизни его не видя и ничего о нем не зная, никогда не смогут его воскресить, и Сталь понимала, что, значит, он, Федоров, в свою очередь тоже не сможет воскресить отца, и так эта цепь будет тянуться и тянуться. И все же, спустя много лет, когда они с Федоровым уже расстались, она поняла, что Господь вовсе не проклял Федорова сыновьями, наоборот, это было благословение, ведь Он спас их от зла, сделал так, что они проживут жизнь не ведающими греха.

После того как она прервала отношения с Федоровым, жизнь ее довольно скоро вернулась в прежнее русло, она снова занималась хозяйством, построила две большие стеклянные теплицы, но иногда все у нее вдруг начинало валиться из рук, и она, на несколько месяцев бросив имение, уезжала то в Петербург навестить сыновей, то в Москву, то в близкий Тамбов. Первое время ей это помогало; на новом месте она почти сразу приходила в себя, хорошо и крепко спала, со вкусом ела, вообще радовалась жизни, но потом это кончилось. Она вдруг поняла, что сил на жизнь у нее уже не осталось, Федоров как бы все из нее выжал, вычерпал, и она пуста. Она и без зеркала видела, что через год-два станет совсем старухой, и знала, что ей давно время решать, воспользуется ли она мандрагорой и на этот раз или просто спокойно доживет свой век в Сосновом Яре. Она тянула, тянула, с каждым днем больше и больше бо-

ясь начинать заново; в этой своей жизни, как и в прошлой, счастлива она была мало, и искушение все закончить было в ней очень сильно. И все же она продлила себя. 13 января 1862 года она в Москве родила девочку, крещенную под именем Екатерины, которая была ею самой. После смерти де Сталь, последовавшей ровно через два года после рождения ребенка, кормилица перевезла девочку в Сосновый Яр.

\* \* \*

Скучая в деревне, шестнадцатилетняя Екатерина Францевна Сталь зиму 1878 года прожила в Тамбове в купленной за несколько лет до того на ее имя маленькой усадьбе, которая окнами выходила на городской парк. Она любила этот смешной, совсем игрушечный особнячок, и с тех пор, как он стал ее, полюбила и Тамбов. Вокруг ее дома в эту зиму образовался даже свой небольшой кружок, нечто вроде салона — сплошь франкофилы, и она впервые после Парижа снова начала принимать. Все действительно было маленькой копией Парижа, даже дни де Сталь оставила те же: вторник и пятница. Много она выезжала и сама, не пропускала почти ни одного бала в губернском дворянском собрании. На таком балу уже в конце зимы она познакомилась с неведомо как попавшим в Тамбов молодым очаровательным грузином. Целый вечер они буквально не отходили друг от друга, танцевали, пили шампанское, снова танцевали — танцевал он изумительно. Она явно им увлеклась, ей было хорошо и совершенно безразлично, что она нарушает все приличия.

Когда бал закончился, де Сталь, не заезжая в свой особняк, никого и ни о чем не предупредив, повезла его прямо в Сосновый Яр. Он прожил у нее семь дней, которые они буквально не вылезали из постели, а потом как-то сразу ей надоел. Она сказала ему — звали грузина Виссарион Игнаташвили — что ему пора ехать, дальше их отношения продолжаться не могут: она и так непоправимо скомпрометирована. Еще она сказала Игнаташвили, что знает, что он небогат, хоть и князь, и хочет быть ему полезна в благодарность за эту незабываемую неделю. Но князь повел себя очень гордо, взять деньги наотрез отказался и лишь попросил разрешения рассказать ей одну очень странную историю. Она разрешила.

Сюжет был такой: отец Виссариона Игнаташвили Георгий принадлежал к одному из самых знатных и богатых сванских родов. Но в три года он остался сиротой, и к тому времени, как мог сесть на коня и держать в руках оружие, соседи успели захватить почти все его земли, хуже того, переманить к себе его людей. Жить Георгию Игнаташвили было не на что, он бежал из Сванетии в Чечню, набрал там на последние деньги несколько десятков головорезов и, вновь вернувшись в Грузию, скоро сделался известным абреком. Изловить его не могло ни правительство, ни многочисленные местные отряды. К своим сорока годам он сумел, по большей части силой, но иногда и деньгами, восстановить родовые владения, после чего, щедро наградив, распустил свой отряд. Это была непростительная ошибка. Ровно через месяц, в день, когда он праздновал свадьбу со знаменитой имеретинской красавицей Саломеей, в его замок ворвались соседи; молодые только что ушли в опочи-

вальню, люди же князя, их теперь было совсем мало, сплошь были пьяны и не оказали никакого сопротивления. Георгия Игнаташвили — он еще не успел лечь в постель, лишь разделся, — прикрыв рубахой, вывели на двор и немедленно повесили.

Все это произошло неправдоподобно быстро. Отец был ловок, силен, за двадцать лет, что он провел в набегах, бывало всякое, но из любой переделки ему удавалось выбраться целым и невредимым, он даже ни разу не был серьезно ранен. А здесь он, человек редкой храбрости, повел себя так, будто сам хотел умереть. А ведь это был его дом, в своем доме и жалкий трус сражается, как лев, он же и руки на них не поднял, принял все как монах.

Спальня находилась в смотровой башне замка, то есть на самом верху, раньше это вообще была открытая широкая площадка, где стояли две пушки, но Саломея, едва брак был решен, приказала обнести площадку стенами и сделать из нее комнату — так ей понравился вид на горы и на долину Ингури, который оттуда открывался. От спальни вниз шла совсем узкая и очень крутая лестница, и отца, когда его вели, мог держать один, редко два человека, но он же здесь знал каждую дверь, каждый закоулок; кроме того, в замке были, как и везде в Грузии, потайные ходы, и один из них начинался прямо на лестнице, — ясно, что у него были шансы спастись, хорошие шансы. Если бы он хоть попытался что-нибудь сделать, наверняка и люди бы его очнулись, но он, как потом говорили, шел на казнь, будто баран. Похоже, он был так потрясен своим позором, тем, что бандиты ворвались в его и Саломеи спальню в их первую ночь, нашли Саломею полуголой и он не смог ее защи-

тить, что и вправду не захотел после этого жить. Кроме того, мать позже говорила, что он боялся бежать, потому что бандиты сказали ему, что тогда они надругаются над Саломеей, мол, им нужна лишь его жизнь, если все будет тихо, больше они никого не тронут, но если прольется кровь или он сбежит, пусть пеняет на себя: у Саломеи в эту ночь будет столько мужей, сколько их здесь есть. Они знали, как он любил ее, и отлично этим воспользовались.

Отец вообще, хоть прожил жизнь в горах и занимался разбоем, на горца был мало похож: любил читать книги, собирал картины, в замке на его хлебах жило трое художников из Тифлиса, в Грузии он считался знатоком и покровителем искусств, и я думаю, драться голым на глазах полуголой жены с одетыми и вооруженными людьми показалось ему таким жалким и смешным, что он решил, что легче и правильнее, не сопротивляясь, принять смерть. Было и еще одно. С Саломеей он познакомился, когда она была ребенком, дело было в Имеретии, где он жил приживалкой в доме двоюродного деда. Семья Саломеи была очень богата, и хотя они полюбили друг друга, что называется, с первого взгляда (отец и она оба были на редкость красивы), даже поклялись друг другу в верности, о том, что родители Саломеи когда-нибудь согласятся отдать дочь за него — нищего беглеца, и речи быть не могло. Отец Саломеи знал, что он влюблен в дочь, и когда Георгий уезжал, на прощание как бы в шутку сказал, что когда у Георгия будет столько же земли и скота, сколько было у его отца, пускай присылает сватов.

Собственно, из-за Саломеи он и занялся разбоем, иначе, я думаю, он принял бы свою судьбу без ропота. То, что



ему с маленьким отрядом, — а временами против них была едва ли не вся Сванетия — удалось вернуть родовое достояние, он, говорил Виссарион, считал за благословение свыше. Его воспитывала в основном мать, и Георгий был человеком глубоко религиозным, соблюдал посты, мальчиком пел в церковном хоре, вообще любил ходить в церковь — среди горцев это редкость. Удивлялся он сам и тому, что ни разу не был серьезно ранен, хотя всегда дрался впереди, и тоже относил это за счет Бога. Как я уже говорил, своих чеченцев он распустил сразу, лишь Сванетия признала его права на родовые земли; разбой он считал за грех, знал, что его руки по локоть в крови, в том числе и людей совершенно невинных; десять лет он вел настоящую войну, и время разбирать, кто прав, кто виноват, случалось у него редко. То, что Саломея его дождалась и была дана ему в жены, он считал прощением Господа, и годы, которые ему еще оставались, собирался прожить, занимаясь богоугодными делами: хотел, например, выстроить на свои средства в Кутаиси лечебницу для увечных, а в остальном — совсем тихо, в молитве и покаянии. Веря, что именно Бог спасал его во всех переделках, он считал, что, следовательно, жизнь его принадлежит Богу; теперь же, когда Господь отнимал у него Саломею, не дав им и одной ночи, он понял, что Саломея получена им неправым путем, Господь ничего ему не простил и простить не готов. Но тогда зачем ему было жить? Вот он и не сопротивлялся.

Хотя Саломею пытались задержать и в спальне, и на лестнице, она выбежала во двор в то мгновение, когда из-под ног Георгия выбивали скамейку. Здесь, во дворе, ее тоже хотели остановить, но вид ее был столь безумен, что

в последний момент все отступили и никто так до нее и не дотронулся. Достигнув платана, превращенного в виселицу, она прыгнула вверх и, ухватив мужа за шею, повисла на нем. То ли она хотела напоследок обнять его, запомнить его тело, то ли думала своим весом быстрее затянуть петлю и сократить его мучения. Выглядело это, как будто повешены они оба. Картина была настолько страшная, что все, кто был тогда во дворе, оцепенели, никому и в голову не пришло подойти и, расцепив ее руки, увести в дом.

Едва Саломея прижалась к мужу, она почувствовала, что плоть его поднялась, плоть Георгия поднялась с такой силой, что Саломее вдруг показалось, что она может больше не держаться за его шею, плоть удержит ее сама. Зубами она слегка подтянула рубаху вверх, она была все в той же своей льняной рубахе, чуть-чуть раздвинула ноги, и этого хватило: тут же она почувствовала, что он вошел в нее. Кстати, сказал Виссарион мадам де Сталь, подобному не следует удивляться — случаи эрекции у повешенных нередки, они даже описаны в медицине: веревка перетягивает сосуды на шее, но сердце еще продолжает гнать кровь, и та, устремившись вниз, наполняет плоть.

Потом Саломея поняла, что не только плоть мужа, но и семя его в ней; в голове ее поплыло, и она, все так же вцепившись руками и ногами в его тело, потеряла сознание. Оргазм их слился с его предсмертными судорогами, хрипами, и хотя десяток людей стояли чуть ли не вплотную к дереву, никто ничего не заметил. Ее сняли и отнесли в дом, когда он уже давно затих.

Набег кончился, бандиты, и вправду ничего не взяв, ускакали. Саломея как будто совсем пришла в себя, была

спокойна и тверда. Она велела отвести себя обратно в спальню, и там под ее наблюдением в ту же ночь были тщательно заложены камнями все три окна и дверь. Она разрешила оставить лишь два отверстия, оба размером в кирпич: одно в окне, чтобы знать время дня и ночи, другое в двери, через которое ей должны были давать пищу.

Спустя два месяца, когда разговоры об этой страшной свадьбе стали сами собой утихать и домочадцы по взаимному уговору начали стараться жить так, будто ничего не случилось, был сделан целый ряд попыток уговорить Саломею прекратить заточение и выйти из кельи. Для этого сюда, в Джари, дважды приезжали родители Саломеи, но особенно настойчивы были тетки Георгия. Дом остался без мужчин, они страшились, что, как и в его малолетстве, все у них будет отнято, а сами они изгнаны из родных мест. На руку Саломеи объявилось к тому времени немало претендентов из влиятельнейших грузинских родов, и оба семейства были заинтересованы в том, чтобы по возможности скорее выдать ее замуж. Сначала близкие считали, что убедить Саломею в необходимости этого шага будет несложно. Жизнь ее с Георгием так и не была начата, следовательно, ее привязанность к нему вряд ли могла быть особенно сильной; чем дальше все это уходило назад, тем лучше она, молодая красивая женщина, должна была понимать, что ни ей, ни даже Георгию не нужно, чтобы она ставила на своей жизни крест. Собственно, это ее мать и тетки Георгия ей и хотели сказать. Однако ни с кем из них она разговаривать не пожелала, и в конце концов они отступились, решив, что лучше оставить ее в покое. Время,

как известно, лечит, может быть, когда-нибудь она сама захочет вернуться в мир. Сейчас же торопить ее не надо.

Полностью в Сванетии эта история забыта, конечно, не была, наоборот, о Саломее скоро распространилась слава как о святой, были даже случаи паломничества; по этой причине никому и в голову не пришло поживиться хоть чем-нибудь из того, что осталось после Георгия, и тетки его скоро успокоились. Вообще, как ни странно, в горах о Саломее помнили больше, чем в ее собственном доме; два раза в сутки служанка носила ей самую простую еду: хлеб, сыр, немного зелени, а так — будто ее и не было. К тому, что она замурована, что ее не видно и не слышно, домочадцы настолько привыкли, что, когда в середине декабря, впервые после свадьбы, которая была пятого апреля, в доме вдруг снова раздались ее ужасные крики, тетки решили, что она сошла с ума, и долго колебались, прежде чем все же приказали разобрать дверь. Это оказалась длинная работа, и когда в кладке удалось проделать достаточно широкое отверстие, чтобы войти в комнату, Саломея давно затихла. Думали, что она умерла, — как же все были изумлены, обнаружив рядом с ней только что родившегося, с еще не обрезанной пуповиной младенца.

К подобному повороту и родные Георгия, и родные самой Саломеи были готовы, конечно, мало, хотя разногласий — признавать ребенка за сына Георгия или нет — не было: они и похожи были с Георгием словно две капли воды. В итоге все решили, что просто она и муж успели стать близки до того, как бандиты ворвались в замок.

После родов Саломея заняла в доме свое законное место, то есть сделалась в нем полной хозяйкой, и стала воспитывать сына. В семь лет она рассказала ему во всех де-

талях о дне свадьбы — прежде мальчик знал, что в этот день отец его погиб, но подробностей не знал никаких — в замке на сей счет существовал строжайший запрет, рассказала даже то, как он был зачат. Затем она потребовала от него клятвы, что в день совершеннолетия он начнет мстить убийцам отца и не остановится до тех пор, пока последний из них не окажется в могиле. Он обещал. С этих семи его лет она начала делать все, чтобы он вырос настоящим мужчиной.

Лучшие в Грузии абреки учили его верховой езде, стрельбе из пистолета и ружейной стрельбе, от них же он перенял умение владеть саблей, кинжалом; в ярмарочные дни она заставляла его участвовать в кулачных боях и бывала счастлива, если он побеждал и приносил в дом какую-нибудь награду. В замке для него был установлен очень суровый режим: спал он в комнатах, которые не отапливались даже зимой, ел ту же еду, что и простые горцы, носил то же платье, что и они. Она не забывала ни на один день, что растит его для мести, и признавала в этой жизни только то, что могло этой мести помочь. Она хотела, чтобы он был сильным и выносливым, и он каждое лето вместе с пастухами перегонял отары овец на горные пастбища, по многу месяцев охотился; как-то она завела такой порядок, что из еды ему дома давали только хлеб и вино, все остальное — его добыча. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, ей показалось, что и этого мало, и она, чтобы закалить его характер, — раньше подобное было принято в знатных грузинских семьях, — на два года отправила его в осетинский аул, в дом одного из нукеров Шамиля.

Но того, что Саломея хотела, она не добилась. Наоборот, к семнадцати годам он возненавидел всякую

смерть и кровь, даже охота сделалась для него мукой. Возможно, выношенный и рожденный в келье, он просто был трус, хотя, если вы помните, и его отец, несмотря на то, что двадцать лет занимался разбоем, ребенком был другой: любил ходить в церковь, любил молиться, читать «Жития святых», и судьбу свою он готов был принять со смирением, и только она, Саломея, сбила его тогда с этой дороги. И потом, вернув родовое достояние, он тоже собирался вести жизнь совсем тихую, молиться, помогать калекам, сиротам, бедным. Это она, Саломея, жаждала крови, это она не умела забывать обиды, не умела прощать, но сын пошел не в нее. Если бы Виссарион не был единственным ребенком в семье, он бы с радостью стал монахом; насилие вызывало у него такое отвращение, что он первый в их роду даже выбрал для карьеры не военное поприще, а гражданское. К его совершеннолетию он и мать сделались друг для друга совсем чужими людьми, она его едва ли не ненавидела. Зная, что жить вместе они больше не могут, он уехал из Сванетии в Тифлис, поступил в службу, но она через месяц последовала за ним, поселилась в соседнем доме и каждый вечер приходила к нему требовать, чтобы он сдержал клятву и начал мстить. Раз за разом он под каким-нибудь предлогом уклонялся; продолжалось это три года, когда ему исполнилось двадцать два, она поняла, что надежды ее напрасны: мстить за отца он не будет. Она вернулась обратно в Джари и там в их с Георгием спальне покончила с собой.

Когда Виссариону сообщили об этом, он впал в такое отчаяние, что тоже думал наложить на себя руки, потом решил бежать. У него не было сил видеть мать, да и вооб-

ще оставаться в Грузии, но на полпути он одумался и заставил себя поехать на ее похороны. В Джари родные держали его фактически в заточении и отпустили лишь после сороковин. Все это время он почти не выходил из своей комнаты, потому что стоило спуститься в деревню, как его же крестьяне плевали ему вслед, да и в доме никто не скрывал, что считает его виновным в смерти Саломеи. Позже он уехал в Россию, сначала жил в Одессе, в Петербурге, но везде находились люди, которые знали его и его историю, и он снова переезжал. Только в провинции, в небольших губернских, еще лучше уездных городах, где мало чужих, ему никто не мешал.

«В сущности, — закончил Виссарион, — глупо скрывать, что этот человек — я, вы, наверное, и сами это давно поняли. Так я теперь и живу: всегда помня, где и как я был зачат и из-за чего моя мать покончила с собой. Я бы давно последовал за ней, но тогда ни отец, ни она отомщены уже никогда не будут. Теперь о том, почему я решил это вам рассказать. Вы очень похожи на Саломею, так же прекрасны, как она, и в вас есть такая же твердость и сила, что в ней. Женщин, подобных вам, я раньше не знал, и я хочу обратиться к вам с одной очень странной просьбой. Странная история и, как венец ее, странная просьба, — повторил он. — Можно?»

«Я слушаю», — сказала де Сталь.

«Просьба следующая, — он опустил перед ней на колени, — я умоляю вас родить мне сына, который смоем позор с моего отца и с меня».

Нечто подобное она ожидала — и все равно, когда услышала, не удержавшись, захохотала. Он плакал, она

смеялась, потом успокоилась, поцеловала его и неожиданно легко согласилась. Она вообще любила рожать детей, это было самое большое и самое доступное чудо из всех, какие она встретила в жизни. Раньше она часто думала, что было бы хорошо, если бы на память о каждом любовнике у нее оставалось по ребенку. С Виссарионом они прожили еще полтора месяца; наконец она убедилась, что беременна, к тому времени он совсем ей надоел, и расстались они очень холодно.

Последние месяцы перед родами она, как обычно, провела в Петербурге, здесь же 21 декабря разрешилась от бремени здоровым крепеньким мальчиком, которого через неделю, даже не окрестив, отправила с кормилицей в Грузию, по тому тифлисскому адресу, что был оставлен ей Виссарионом. Больше о ребенке она никогда не думала и никогда его не вспоминала. Потом, когда судьба неожиданно свела их вновь, она об этом очень жалела, винила себя, что его жизнь сложилась так непросто.

Отец мальчика Виссарион спустя год выгодно женился, по протекции тестя получил большую должность в Тифлисском генерал-губернаторстве и взял к себе Иосифа — так он его окрестил — не осмелился. Он не скрывал, что он его отец, не скрывал имя матери мальчика, но не поселил его ни в Тифлисе, ни даже в Джари у своих теток, а отвез ребенка в Гори и отдал там на воспитание в семью, издавна связанную с родом Игнаташвили. В Гори уже жили двое бастардов Виссариона от его прошлых связей, и в городе для различения их именовали по фамилиям матерей — так Иосиф Игнаташвили стал Иосифом, сыном Сталь, или просто Иосифом Сталиным. Видите, Алеша, — закончил



Ифраимов, — Сталин, увь, вовсе не миф, как это думает Прочич. Такой человек действительно был, правда, официальная версия его жизни, та версия, что нам известна, о многом умалчивает.

\* \* \*

В 1879 году де Сталь исполнилось семнадцать лет, еще недавно она была угловатым неуклюжим подростком, но, родив ребенка, она вдруг вся как бы смягчилась: и голос, и движения, и кожа — все в ней сделалось очень женственным, она была молода, хороша, прелестна, кажется, никогда раньше она не была так хороша собой. Впервые за долгие годы она была счастлива, переполнена жизнью, жизни в ней было столько, что она сама ее рождала, и это то же, как с хлебами, — ее было больше и больше. В ней вдруг появилось ощущение, которого она раньше не знала и теперь поняла, как ей его не хватало: что это надолго, что Господь наконец-то повернулся к ней, о ней вспомнил и все у нее теперь будет так, как она мечтала девочкой.

Она видела, что время, которое грядет в России, — ее, будто под нее создано, то есть она не зря длила и длила свою жизнь. Она уже изверилась, отчаялась, но вдруг и здесь, в России, все ожило, проснулось. Господь словно вернул ее на сто лет назад, в ее французское детство, дал еще попытку. Во всем действительно была бездна жизни, люди очнулись; куда бы она ни смотрела, она ничего не могла узнать: другая литература, другая музыка, другой театр. Играя, она перечисляла, что только могла вспомнить, что только попадалось ей на улице, прежним не было

ничего: даже моды менялись теперь куда быстрее, чем раньше. В каждом доме все друг с другом спорили, ругались, все шло на повышенных тонах, люди поняли какие-то очень важные вещи, может быть, решающие и для России и для мира, и больше не могли выдержать своей немоты, рвались сказать, выкричатся, что угодно — только бы быть услышанными.

Бились насмерть адвокаты с прокурорами, журналы и газеты готовы были перегрызть друг другу глотку, появились самые разные группировки, партии, кружки, некоторые по-настоящему подпольные, дисциплинированные, напрямую созданные для террора и революции. Ладно бы только это, но и чиновники не могли сговориться с правительством и между собой, и военные не могли, и церковь с мирянами. Раньше дела делались в России чинно: благопристойность и чинность — вот что ценилось, и еще, конечно, послушание — мать всех добродетелей; тот, кто хотел сделать карьеру, хорошо жениться, должен был быть послушным, знать свое место, знать, что устои есть и устои эти незыблемы, помнить, что даже усомнившийся, не то что их поколебавший, будет отвержен. Прежде люди здесь были покойны и жили долго, потому что знали, как им жить, наука была проста — живи, как жил твой отец, дед; в сущности, это была совсем неплохая жизнь. На смертном одре каждый сравнивал, какое приданое получил он и какое его отец, в каком чине отец вышел в отставку, а в каком он, и, в общем, они отходили к Богу умиротворенными. Конечно, они тоже грешили, но делали это скрыто, грех был боязлив, таился, и публично на нравственность никто посягать не смел.

И вдруг как-то разом Россия потеряла вкус к такой жизни. Все стало казаться ей пресным, пустым, недостойным, ни в чем не было удали, размаха, и Бога тоже не было, и милости, не было и сострадания. В самом деле — разве стоит жить, чтобы получить несколько тысяч приданого, к концу жизни дослужиться до надворного советника и родить детей, точно таких же, что ты сам? И зачем им проходить твой путь, зачем по-иному идти, когда ты его уже прошел и все до последнего шажка можешь им рассказать, все приемы: и как бумагу составить, и как угодить начальству, и как взятки брать. Они вдруг открыли, сколько вокруг горя и несчастья — увечные, голодные, больные, — и стали смотреть в ту сторону: сначала просто — нельзя ли чем-нибудь помочь, как-нибудь облегчить, а потом, очень скоро — разве это справедливо и правильно, и как же все это может длиться так долго? Ведь так жить нельзя, нельзя это больше терпеть, что-то надо делать, надо немедленно что-то делать; раз такое возможно, значит, все прогнило, все ни к черту не годится, и вот он, смысл жизни, — все надо менять, именно им все придется менять, они вытянули счастливый жребий. Конечно, им будет тяжело, но они готовы на жертвы, готовы на каторгу, даже на смерть, потому что погибнут они не напрасно, зло уйдет из этого мира, они освободят от него людей. Они сделают так, что все здесь, на земле, а не за гробом будут сыты и счастливы. Конечно, тем, кто будет жить завтра, будет лучше, чем им, но они не узнают главного — счастья жертвовать собой, отдать жизнь за другого, может быть, даже за все человечество. И они завидовали себе, что Господь избрал именно их.

То, чем была Французская революция, все это сумасшествие, растянувшееся почти на тридцать лет, де Сталь знала от первых прелюдий до официального конца — Реставрации. Не только сейчас, но и раньше мало кто помнил то время так, как она; в ней всегда было удивительное любопытство, удивительная жажда жизни, она умела смотреть и умела видеть: в ней не было высокомерия людей, знающих тайные пружины событий; и ничего из того, что было, не прошло мимо нее. Много, если не все, она знала и изнутри, но никогда не переоценивала эту свою причастность; наоборот, ее очень рано поразило, насколько результаты, казалось бы, самым превосходным образом разработанных планов, где были и резервы, и любая страховка, а противник был слаб или его даже вообще не было, как мало эти результаты соответствовали ожиданиям. В сущности, она давно склонялась к тому, что революция — это все-таки действительно время власти народа, народ во время революции делался вдруг странной и непонятной линзой, в ней, столь же быстротекучей и изменчивой, как вода, были перемешаны совсем не ясные, но очень добрые мечтания о радости, милосердии, любви к ближнему с ненавистью и жаждой крови, какую встретишь лишь у маньяка. Приспособиться к этой линзе было невозможно и узнать то, что через нее прошло, никто тоже не мог.

Де Сталь видела, как у самых умных советников сначала Людовика, затем по очереди следующих за ним правительств опускались руки, и они прозревали, что кто-то другой, отнюдь не они, правит событиями. Тогда она и вывела для себя важнейший закон революции — она темна и неведома, никому не дано знать, кто её избранник,

кого, когда, почему она вынесет на поверхность, где его найдет: среди людей, собирающихся по вечерам в бывшей церкви святого Якова или в ее, де Сталь, салоне, а может быть, она остановит свой выбор на маленьком корсиканском лейтенанте. Скорее всего она возьмет их всех, каждому из них, а еще другим будет дано быть победителями и триумфаторами, но, увы, лишь немногим — долго. Народ, творец этих властителей, будет их перебирать, тасовать, будто карты, и когда ему надоест это занятие, когда он успокоится и на ком примирится — никому не известно. Поэтому трудное в революции — не захватить власть, а ее удержать. Проживя всю революцию в Париже, де Сталь в России тех лет чувствовала себя пифией, оракулом, которому как высшей силе открыто грядущее. Временами она скорбела, страшилась того, что видела, и все равно все это безумно, до вожделения любила, любила каждый день своей новой жизни, молила и благодарила Бога, что ей опять это дано. Что вернулось то, что было ее молодостью. Конечно, чтобы не упустить ничего из этого времени, ей надо было поселиться в Петербурге, тут не было сомнений, она это хорошо понимала. Петербург был для России тем же, чем Париж для Франции. Прочая Россия вместе с первопрестольной Москвой могла протестовать, сколько ей вздумается, это ничего не меняло. И что будет с Россией, куда она пойдет, чем станет, конечно же, решалось здесь. С Петербургом ее многое связывало, в Зимнем когда-то ее очень торжественно принимал император Александр, и не этот, нынешний, а первый — победитель Наполеона. Она даже удостоилась нескольких личных аудиенций, это были очень долгие

свидания, они успели тогда переговорить о куче вещей, успели хорошо узнать друг друга и проникнуться взаимной симпатией. Никто из без малого двух десятков больших и малых монархов, что ей довелось встретить в жизни, не произвел на нее столь благоприятного впечатления, как русский царь, и она не скрыла это от него. Хорошо она была принята и петербургским светом, с некоторыми семьями, несмотря на краткость своего пребывания в России, даже близко сошлась. Так что воспоминания, оставшиеся у нее от Петербурга, были приятны, и она, сидя у себя в гостиной в Сосновом Яре, любила перебирать эпизоды того петербургского лета, это были как бы ее реликвии. Она знала, что никого из ее знакомых давно уже нет в живых, следовательно, ничего не вернешь, но поминала и их, и жизнь, которой тогда жила, с нежностью и грустью.

И трое сыновей, рожденных ею от Федорова, все с той же гувернанткой по-прежнему жили в Петербурге. Датчанка приехала в Россию, чтобы накопить денег, потом вернуться в Копенгаген и выйти замуж, но вот жила уже здесь почти пятнадцать лет, де Сталь платила ей щедро, та была аккуратна и скупа, значит, давно приданое было ею собрано, но она никуда не уезжала, а в последние годы даже перестала об этом говорить. Сталь видела, что она привязалась к детям, считает их за своих. Как и ей самой, датчанке нравилось, что они так и остались младенцами; они выросли, были красивы, ухожены, нарядно одеты — и все равно сущие младенцы. Наверное, поэтому, стоило де Сталь приехать, войти в дом, сесть рядом с их кроватями, все в ней успокаивалось, она переставала тревожиться, веч-

но чего-то ждать и хотеть. Души их были чисты, как у ангелов, и жили они тоже, как ангелы или как птицы небесные, — не пахали, не сеяли, но были сыты. Господь питал их из своих рук. Сталь часто думала, что совершится чудо, сделайся она обыкновенными мальчиками, она была бы огорчена. Пока она жила в Тамбове, посещение детей было целым предприятием, теперь, поселись она в Петербурге, она могла бы их видеть каждую неделю, так что она не особенно и раздумывала.

Квартиру де Сталь наняла в очень красивом месте — на Васильевском острове, вокруг с трех сторон была вода, а за водой, по левую руку, — Петропавловская крепость со своим шпилем, по правую же — давно любимый ею Зимний дворец. Квартира была большая и уютная, она выбирала долго, чтобы отсюда уже никуда не переезжать. И все же она в Петербурге не осталась. Она знала совсем другой город, он был для нее населен совсем другими людьми, и она то и дело путала тот Петербург и этот: одни и те же фамилии, одни и те же имена, те же дворцы. Прошлый город был для нее живее нынешнего, и она, как старуха, раз за разом попадала впросак — императора звала не Александром Николаевичем, а Александром Павловичем, а то еще смешнее: внучек принимала за их бабушек и обижалась, что они не делают ей визитов. Конечно, это было не страшно: она быстро привыкала к новому Петербургу и путалась с каждым днем меньше, но однажды ей нестерпимо стало жалко того, что уходило, и так от него уцелело мало, ее воспоминания разрушались, гибли, и она вдруг удивилась, зачем ей это надо. Физически в Петербурге ей тоже было плохо — она ча-

сто простужалась, болела; привыкнув к куда более здоровому климату центральной России, она здесь зябла, никак не могла согреться, ходила по дому в шубе, жгла камин; врач, пользовавший ее, советовал уезжать, говорил, что город не для ее легких, она южанка. Но она колебалась, а когда решила перебраться в Москву, то сделала это не из-за воспоминаний и не из-за климата, не потому, что хотела избавиться от этих пронизывающих ветров с Финского залива; было еще одно обстоятельство, звавшее ее в Москву, но в нем она не желала себе признаться.

В последние месяцы до нее стали доходить слухи, что в Москве в Румянцевской библиотеке работает библиотекарем какой-то Федоров, совершенно необыкновенный философ-энциклопедист, кроме того, человек святой жизни, все свое жалованье до последней копейки отдающий недостаточным студентам, в общем, настоящий Божий человек. Конечно, Федоров — очень распространенная русская фамилия и этот человек мог оказаться кем угодно, но почему-то в ней твердо засело, что это ее Федоров, и она вдруг поняла, что ее по-прежнему к нему тянет, что она опять хочет его видеть. Она знала, что если это тот самый Федоров, искать с ним встречи жестоко, скорее всего, он просто ее не признает, как не узнавал раньше, если видел вне гроба; если же все-таки он поймет, что она, де Сталь, — Спящая царевна, для него это будет страшным ударом, это будет значить, что ее, юную и прекрасную, оживил и воскресил не он, кто-то другой. Ему же, Федорову, не хватило любви, не хватило веры, чтобы разбить злые чары. Подобный риск был, и из-за него одного она не должна



была ехать в Москву, но она знала, что ничего не сможет с собой сделать, знала, что все равно поедет и найдет Федорова в первый же день и успокоится, только если это другой. Лишь много позже, уже в Москве, она наконец поняла, почему ее так тянуло к Федорову: их прошлое — хрустальный гроб, свечи, альков — это было оставлено позади, и она ничего не собиралась воскрешать; но в ней вдруг появилось ощущение, что Федоров и есть источник грядущей революции, истинный ее корень; в отношении Федорова и Петербург, и Россия были вторичны, все вообще было вторично, все было его учениками, и она, чтобы быть принятой революцией, сначала должна прийти к нему.

\* \* \*

«Московская жизнь мадам де Сталь, — продолжил на следующий день Ифраимов, — мне знакома очень и очень фрагментарно. И на то есть причины».

Произнесено это было медленно, четко, так что на сей раз у меня и сомнений не было, что Ифраимов пришел не просто со мной поговорить, а диктует мне текст, причем в том виде, в каком ему желательно, чтобы он вошел в «Синодик». В сущности, и бесцеремонность Ифраимова (раньше я за ним никогда подобного не замечал, а тут я пришел после ужина, а он, сидя на соседней койке, меня уже ждет и безо всякого перехода, даже не поздоровавшись, начинает), и его тон, и что мне навязывают, о ком и как писать, а ведь этих людей я не знал и, конечно же, не мог их любить — это были люди не из моей жизни, а из его, для меня они были чужие, и я по самому свойству «Синодика»

не должен был, не имел права их в «Синодик» включать — все это давало мне основание отказать ему. А я послушно писал, писал и в тот день, и в следующий, и дальше. Даже не знаю, почему я это делал, наверное потому, что сил пререкаться с ним у меня просто не было.

«Основная из них та, — не спеша диктовал Ифраимов, — что на протяжении всего своего пребывания в Москве де Сталь была весьма тесно, причем с каждым годом это только крепло, связана с революционным движением. Временами, можно сказать без преувеличения, она рисковала головой и, естественно, стремилась, чтобы как можно меньше людей знали, чем она занимается. Подпольная работа есть подпольная работа, лишней свидетель здесь всегда враг. Правда, она никогда не была на нелегальном положении, для партии она была ценна именно такой, какой была, — богатая московская дворянка, владелица поместий и хлопчатобумажной фабрики (мать ее еще лет тридцать назад вложила в мануфактурное дело большой капитал, и сейчас доходы, которые Сталь получала из этого источника, чуть ли не в десять раз превосходили доходы от земли). Она была вне подозрений, и эта ее с любой стороны безупречная репутация была для революционеров не менее важна, чем те немалые деньги, которые она щедро на революцию давала.

Поселилась она, переехав из Петербурга, на Ордынке, в довольно скромном по размерам, но очень изящном купеческом особняке; он только что был выстроен хорошим французским архитектором по фамилии Дюбуа. Дюбуа в то время строил в Москве много, дом ей понравился сразу, понравилось и, что особняк еще не был заселен, хозяйева

решили, что он для них мал и собирались или строить, или купить другой. Она заплатила за него не раздумывая, хотя цена по московским понятиям была весьма высока, и, даже не успев толком обставить, переехала сюда из гостиницы. Гостиницы она всегда не любила, она была очень брезглива, и ее раздражала сама мысль, сколько людей спали на той же кровати, на которой сейчас спит она, сколько пользовались той же ванной, умывальником... Хорошая гостиница или плохая, они равно казались ей грязными и неприятными, как вокзалы.

Особняк на Ордынке сыграл в истории русской революции совершенно исключительную роль, но его неправильно было бы называть, как впоследствии не раз делалось, штабом революции; в строгом смысле слова штабом, как, например, Смольный институт, он, конечно же, не был. Будь это так, она бы не сумела прожить в нем, причем сравнительно спокойно, почти сорок лет. Русская тайная полиция была весьма квалифицирована, аресты нелегалов следовали один за другим, временами некоторые партии не могли набрать членов даже для своих ЦК, и все же дом ее никогда по-настоящему засвечен не был.

Назначение дома на Ордынке было особое: здесь русские революционеры знакомились и впервые сходились друг с другом, было это обычно во вторник или в пятницу, то есть в те дни, когда она, и это знала вся Москва, принимала. Каждый раз к ней съезжалось очень много людей, публика была пестрая, но те, кому было нужно, друг друга с ее помощью легко находили, и можно смело утверждать, что едва ли не половина антиправительственных партий и групп зародилась именно тут, в ее гостиной. То, что она

долгие годы не была членом ни одной из них и, значит, для каждой и для всех вместе она была своя и в то же время не своя, выводило ее из-под удара; даже если до полиции и доходило что-то, там не знали, куда ее и ее дом отнести, как их классифицировать, и сведения эти сразу попадали в разряд случайных и неинтересных.

Существовал целый ряд причин, почему ее особняк получил такое значение. Важным обстоятельством были, конечно, деньги, которые, как я уже говорил, она давала очень щедро, но и, надо отметить, очень осторожно, обычно через вторые, а то и через третьи руки. Однако куда существеннее денег было, что, спустя два месяца после ее переезда в Москву, у нее поселился Федоров. Федоров за те годы, что она его не видела, сделался как бы идеальным революционером, и она понимала, почему всех, кто так или иначе мечтал покончить с существующим миром, притягивало к нему словно магнитом. Она оценивала его теперь спокойно, трезво, он давно уже не был ее любовником, и ей теперь это было легко. По-прежнему он вызывал у нее сочувствие, временами даже нежность, но, в общем, они были окончательно отделены друг от друга — просто товарищи по подпольной работе. Она помнила, как в Сосновом Яре он мощно всасывал из нее все, что она знала о Французской революции, и как блистательно и легко это преломлял, приспособлял для России. Но тогда это была еще только потенция, он еще только нащупывал, часто сам не веря себе; многие детали будущего устройства мира уже были ему ясны, но в целом все, конечно, было не оформлено и аморфно, и главное, сомневаясь сам, он не был готов, не знал, как сделать так,

чтобы люди его послушались, пошли за ним. Теперь сомнения в нем не было.

Одно качество Федорова ее особенно поражало: он хотел разрушить мир, не оставить от этой жизни камня на камне, и в то же время и он сам, и то, что он хотел, было так вписано в Россию, так было плоть от плоти ее, что шедшие за ним думали, что это вовсе и не революция и что он не сказал им ничего нового, они и сами это знали, и предки их испокон веку это знали, а он только дал понять, что пришел срок. То есть им было просто, очень просто за ним идти, от них это не требовало никакого мужества, никакой борьбы, они шли за ним совершенно спокойно, не страдая, не мучаясь, не мечась. Много значило, что он и сам был такой, совсем такой, какого они ждали. Все видели, что он святой, подвижник, его бессребреничество смешно было даже сравнивать со столь популярным у французов бессребреничеством Робеспьера. Русь была святой землей, землей, которая была избрана Богом, чтобы вести на дорогу спасения и повести по ней к Господу все другие народы и языки, — это они слышали от него, но то же знали и сами; и они понимали, что как они, русские, избраны среди других народов, так и он избран среди них.

Не было ни одного, кому хотя бы единое его слово могло показаться кощунством, ересью. Вот что он им проповедовал: людьми должна быть преодолена неродственность и небратство, общество должно быть устроено не как сейчас, а как любовно-соборное бытие. Христос завещал нам — Его детям, Его ученикам — превратить, преобразить христианство из молитвы в дело, этим делом должно стать спасение, воскрешение всех когда-либо живших на

земле людей; грехи тогда будут искуплены и жертвы возвращены, мир вернется в то состояние благодати, что было до грехопадения. Он говорил им, что, чтобы христианство стало делом, они должны выйти из храмов и, соединившись, всем человечеством начать всемирную литургию. Земля-кладбище будет трапезою, и все сыны человеческие, став как бы единым сыном, сделаются орудием воли Божьей и обратят свои силы и силы рождающей и умертвляющей природы на воссоздание и преобразование усопших, начнется пресуществление праха в живые плоть и кровь.

И все-таки, едва встретившись с ним, де Сталь нутром уже знала, что не ему суждено возглавить грядущую революцию. И он тоже знал, что избран не он. При всей его пророческой силе, — а она видела, что любой человек, хоть раз его услышавший, готов не раздумывая бросить мир и идти за ним, — это был немогущий, сломанный жизнью старик. А ведь ему тогда не было и сорока лет. Он знал, что Господь не дал ему благодати. В жизни он любил только одну женщину, день за днем, год за годом он приходил к ее гробу, он знал, что Господь еще не взял ее душу к Себе, она лишь усыплена, не мертва, а как мертвая, и все равно ему, учившему об общем спасении и воскрешении человеческого рода, не было дано разрушить чары, не было дано воскресить и ее одну. Возможно, догадывался он и о том, что Господь не захотел, чтобы он остался чистым, что у него есть дети, продлившие его, и, следовательно, время встать на тот путь, что он проповедовал, еще не пришло.

Круг почитавших Федорова учителем был чрезвычайно широк, и круг этот вслед за ним тоже целиком перекечал на Ордынку. Состоял он из людей выдающихся. До-

статочно назвать имена Толстого и Достоевского, были там и другие замечательные лица, например, Владимир Соловьев; каждый из них в свою очередь имел свиту учеников, то есть Федоров был учителем учителей, и все они, повторяю, по вторникам и пятницам наполняли ее дом. Де Сталь очень нравились известные слова о том, что насилие есть повивальная бабка истории, и она (правда, это было несколько позже), если находилась в добром расположении духа, любила себя называть повивальной бабкой русской революции. Здесь было мало преувеличения. Помня, что никому не дано предугадать, какая партия придет к власти и когда, она неутомимо, как добрый пахарь, сеяла эти кружки, группы, организации, партии — в общем, всякий, кто не мог примириться и принять существующий мир, находил у нее помощь и поддержку. Кстати, на «группу Эвро», которая разрабатывала программу-минимум и программу-максимум по увеличению числа гениев в России, деньги дала тоже она.

Однако, Алеша, не нужно, незачем обвинять мадам де Сталь в том, что именно она посеяла на Руси зло и смуту, именно она породила русскую революцию и, следовательно, ответственна и за нее, и за бывшее дальше. Это было бы несправедливо. Отнюдь не она зачинала революцию, де Сталь очень точно назвала себя повивальной бабкой — она лишь облегчила роды. Люди, которых она принимала у себя на Ордынке, настолько остро сознавали несовершенство окружающей жизни, что не могли его вынести, они справились бы и без нее. Конечно, она желала революцию, мечтала о ней; тут была еще одна причина, почему она так страстно ее торопила, о которой я забыл сказать:

она жила свою последнюю жизнь и могла продлиться, снова возродиться и воскреснуть только вместе со всем человеческим родом; а она любила жизнь, безумно ее любила и не хотела умирать. Она уже привыкла, что бессмертна, конечно, в ней был эгоизм, но правдой было и то, что ее давно угнетало, что ей одной дан этот дар, что люди, которых она любила, которые были частью ее жизни, умирают и спасти их она не в силах. Федоров воссоединил ее с человеческим родом, вернул в него, и ей теперь было хорошо, что она как все.

Она помогала этим кружкам родиться, но редко знала, как они жили дальше. Некоторые из них умирали сами по себе или стараниями полиции, но большинство выживало, революция была живым деревом. Они плодились и размножались когда делением, когда почкованием, когда еще Бог знает как, они смешивались и дробились, ветер разносил их споры, извините, Алеша, за невольный каламбур, по всей империи, и везде они пускали корни. И жили они по-разному, иногда сила их в корнях и была, эти были самые осторожные, дальновидные; другие, наоборот, стремились к свету, к солнцу; в неизвестности, в тени они сразу хирели, вяли, эти шли в ствол, ветки; были и третьи, обычно крошечные и никому не известные группки, которые вдруг в один день расцветали каким-нибудь невиданным взрывом, ярчайшим терактом, но век их был короток, они сходили и гибли так же скоро, как подснежники. Кстати, Алеша, в Сибири тела убитых, что сотнями находят по весне, когда стает снег, тоже зовут «подснежниками».

И всех их, отчаянных и выдержанных, бесшабашных и расчетливых, и тех, кто просто хотел покрасоваться, — всех



их она любила до дрожи в ногах, до судорог и спазмов. Дело в том, что многие, очень многие из них были ее любовниками, и ни одного из тех, кого она любила и кто любил ее, она не забыла, не вычеркнула из своей памяти. Часто для них это была последняя ночь с женщиной, утром они должны были идти метать бомбу или стрелять из револьвера в какого-нибудь министра; бывало и наоборот: испуганные и затравленные, в холодном поту, они прибежали к ней в дом сразу после покушения, и она укрывала их иногда на целый день, иногда лишь на несколько часов — больше было опасно, но все равно, уже взяв грех на душу или еще не поставив крест на собственной жизни, когда они приходили к ней, он и она знали, что пути назад нет. Они были обречены, и она, бывшая их крестной, на этом крестном пути теперь, когда они его кончали, как бы благословляла их на смерть своей любовью. И дальше они столько времени, сколько им еще было отпущено, думали не о конце, не о том, что вот они умирают такими молодыми, и даже не о партии и революции, а только о ней, де Сталь, о том, что она была в их жизни и, значит, все правильно.

\* \* \*

Первые лет десять де Сталь ограничивалась тем, что давала на революцию деньги да изредка в особо экстренных случаях кров и убежище, то есть в соответствии с формулировкой устава о членстве в РСДРП, данной еще Мартовым, оказывала партии личное содействие. Но довольно быстро она разобралась в мешанине революционных групп

и организаций и прочно примкнула к социал-демократии, позднее к ее куда более серьезному и решительному большевистскому крылу; после чего с радостью подчинилась ленинскому уставу и рядовым бойцом вошла в одну из пятерок, на которые партия делилась.

Ей всегда в жизни не хватало риска, самой жизни, она вообще была ненасытна и в людях, и в любви, может быть, потому Бог и дал ей в итоге не одну, а три долгих жизни. Так вот, состоя в своей пятерке, она безотказно скрупулезнейшим образом выполняла любые задания партии, ей не надо было объяснять значение дисциплины для подпольной организации и, как было написано в ее закрытой партийной характеристике уже после семнадцатого года, ответственно и блестяще выполняла опаснейшие поручения, проявив себя инициативным, беззаветно преданным делу пролетариата бойцом. Много раз она была курьером, перевоза из Финляндии и Швеции листовки, газеты, деньги; она играла роль богатой русской помещицы, и, так как в самом деле ею была, это давалось ей легко. Она была молода, красива, остроумна, одевалась очень дорого, с чисто парижским шиком и, конечно, на границе не вызывала ни малейших подозрений. Ленин позднее, после Февраля, шутил, что будь де Сталь тогда с ними, большевикам не нужно было бы никакого немецкого вагона: в своем багаже она могла оптом провезти хоть всех революционеров.

Все-таки в конце концов она примелькалась, и партия, опасаясь, что ее частые пересечения шведской границы рано или поздно вызовут ненужный интерес, решила, что лучше, если на время здесь о ней забудут. Пока же использовать ее на юге, в Одессе и Закавказье. Она и сама давно

собиралась посетить Тифлис, там у нее было несколько знакомых по Москве семейств, звавших к себе; помнила она и что в Грузии живет ее сын, которого она не видела с рождения, то есть ровно двадцать пять лет. Партия сочла, что это очень удобно, все знакомства могут весьма пригодиться, и она даже написала Игнаташвили, что, возможно, приедет, но ответа дожидаться не успела; через два дня первым же поездом ей пришлось выехать в Новороссийск. В Тифлисе только что группа боевиков совершила успешный налет на отделение Российско-Кавказского банка, экспроприровав на нужды революции несколько сот тысяч рублей, и задача де Сталь состояла в том, чтобы вывезти из Грузии руководителя акции, известного среди большевиков под партийной кличкой Коба.

По плану она должна была снять на себя и на своего спутника каюту первого класса на пароходе «Эльбрус» акционерного общества «Кавказ», плавающего по маршруту Батуми — Поти — Сухуми — Новороссийск. Предполагалось, что в ее каюту Коба заберется через иллюминатор по подвесной лестнице прямо из лодки, когда пароход будет стоять на внешнем рейде Поти. А дальше они, не вызывая никаких подозрений, спокойно проследуют до Новороссийска. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств она могла рассчитывать на помощь капитана «Эльбруса», который был из сочувствующих их делу, хотя, как было сказано ей на инструктаже, принять прямое участие в операции он, по всей видимости, откажется. Зато на корабле есть матрос, старый член РСДРП, на него она может полностью положиться; матрос должен подойти к ней сам и назвать пароль. У операции был и запасной ва-

риант: если бы в пути выяснилось, что полиция предупреждена и Кобу в Новороссийске ждут, они должны были сойти в Сухуми и попытаться, наняв местных проводников, предпочтительнее абхазов, перевалить через горы и выйти к Нальчику.

В Батуми все обстояло нормально: она вовремя успела в город, взяла каюту, прямо созданную для ее цели, — иллюминатор был лишь тремя метрами выше ватерлинии. Однако, как часто бывает, когда дело начинается чересчур гладко, дальше пошли неприятности. В Потти штормило, шел проливной дождь, и хотя капитан, рискуя вызвать гнев пассажиров и недовольство компании, задержал отплытие на два часа, лодка с Кобой так и не появилась. Напрасно де Сталь, стоя на палубе, через бинокль высматривала берег между этими двумя стенами воды, лодки нигде не было, да и будь она, разглядеть ее было бы невозможно. Она заметила ее только тогда, когда пароход уже снялся с якоря и поворачивал в сторону открытого моря; ветер на минуту разорвал тучи, дождь прекратился, и она увидела одновременно две лодки: в первой, выбиваясь из сил, греб в сторону корабля молодой грузин, судя по всему, этот самый Коба, а ее настигала другая, с тремя краснококардниками. Грузин явно не успевал добраться до корабля, очевидно, он это тоже понял, потому что последнее, что она рассмотрела сквозь опять хлынувший дождь, было — как он прыгнул за борт. Как и она, капитан видел финал погоны; очень удрученный, он спустился на палубу, где стояла де Сталь, и сказал, что грузину не выплыть, в холодном мартовском море он не продержится на воде и пяти минут — погибнет от охлаждения. Все же ей удалось умо-

лить его застопорить машины и подождать хотя бы полчаса: вдруг грузин чудом выплывет. Они простояли не полчаса, а вдвое больше, оба давно потеряв всякую надежду и просто не решаясь поставить точку, сказать себе, что этого человека уже нет в живых. Наконец капитан приказал выбрать якорь, и тут, прямо на том месте, где он должен был показаться из воды, они увидели медленно дрейфующее тело. Палуба из-за дождя была пуста — только она, капитан да тот матрос, что должен был помочь ей переправить Кобу в Новороссийск, он и подцепил багром тело, подтащил его к борту и вдвоем с капитаном поднял наверх.

По всем признакам грузин был мертв. Они долго, едва не ломая ему грудную клетку, делали массаж сердца, искусственное дыхание; вода, которой он нахлебался, из него вышла, но сколько они ни прикладывали зеркальце в губам, оно не запотело. Еще когда матрос цеплял его тело багром, она вдруг вспомнила, что у Кобы есть, кажется, и другой псевдоним — Сталин, так его в Петербурге кто-то даже называл в ее присутствии. Сейчас, когда он лежал перед ней на палубе мертвый, она поняла, что это ее сын. Это был ее сын, которого она ни единого раза не приложила к груди; слезы вместе с дождем текли по ее лицу, она смотрела на него, на своего сына, которого видела всего дважды — родив и теперь, когда он только что умер. Она не знала ничего из его жизни, как он прожил ее, лишь могла, раз была послана его прикрывать, догадываться, что революция соединила их, свела вместе. Революция вернула ей его, но вернула не для жизни, а чтобы она, мать, закрыла ему глаза. Она думала: приходило ли ему хоть раз в голову, что, может быть, он пошел в революцию именно

для того, чтобы вернуться к матери, считал ли он, что это был для него единственный путь к ней; она хотела ему сказать, что это не так, что она приехала к нему не только как к товарищу по партии, нет, она давно без него скучала, жалела, что не оставила его себе, не поселила с детьми Федорова, отдала Игнаташвили; ей все это надо было ему сказать, ей было все равно, слышит ли он ее или нет, она должна была сказать ему, что они вместе. Она хотела, чтобы его последнее тепло ушло в нее и чтобы он, прощаясь с земной жизнью, был согрет ее теплом, теплом матери, которое он знал только, когда был в ее утробе.

Она спокойно сказала капитану, что в Норвегии бывали случаи, когда женщины отогревали моряков, выброшенных на берег после кораблекрушения, своим телом, и что она тоже хочет попытаться. Она велела отнести Кобу к себе в каюту, старательно расстелила постель, раздела его, разделась сама, затем, положив его рядом, обняла всем своим телом и стала греть. Она плакала, говорила ему, что Господь снова соединил их, Господь и революция, говорила, что ехала к нему и вот не доехала, так и не попала в Тифлис, а здесь они встретились. Она говорила ему, что всегда его любила и всегда страдала, всегда жизнь ее была неполна из-за того, что его, ее сына, не было рядом, и вот теперь они вместе; она говорила все это и плакала, говорила и плакала, спрашивала, зачем его у нее отняли, и снова плакала, потом наконец заснула. На море был шторм, «Эльбрус» сильно качало, они шли против ветра, и паровые машины с трудом вытягивали корабль. Она не знала, сколько спала, несколько часов или несколько суток, просыпалась, засыпала, снова просыпалась, го-

ворила: «Сыночек мой, ты снова ко мне вернулся, жизнь твоя была коротка, ты умер молодым, но ты умер в руках у матери, и ты должен знать, — она говорила по Федорову, — что каждый человек воскреснет, все-все воскреснут, так что смерть твоя не окончательна, не навсегда», — и плакала, и винулась перед ним, и снова его утешала.

В том же полусне-полузабытьи она поняла, что он опять в ней, что он послушался и вернулся в нее, вошел в нее, и она, чтобы не выпустить его, чтобы он не подумал больше рождаться в этот страшный, жестокий, такой несправедливый мир, инстинктивно сжала ноги. Она чувствовала, как он все растет, топчется, ворочается в ней, чувствовала, какой он большой и живой, какой он весь ее. А он все рос и рос, и все ему было мало места, и она все уступала и уступала ему, все ему поддавалась, пускала его всюду, куда он хотел, вся для него раскрывалась. И лишь сильнее сжимала ноги, чтобы только он не ушел, не уходил в этот мир, не покидал ее. Она уговаривала, просила его не рождаться, так и остаться в ней, она все плакала и объясняла ему, как жесток этот мир, зачем он ему нужен, разве в ней ему плохо, разве в ней нет для него места или мало тепла, ласки, нежности? Она гладила его, целовала, ласкала всей своей плотью, всей собой. И он, уже зная, что она его мать, уже войдя, уже вернувшись в нее, тоже плакал и плакал, жаловался ей, говорил:

«Мама, мама, зачем ты тогда меня родила, мама, мамочка, я не хочу из тебя выходить, я хочу остаться в тебе, не отпускай меня, не рождай. Мир зол и жесток, если бы ты знала, как мне было без тебя плохо, зачем ты меня родила?» Он говорил ей: «Мама, любимая, не прогоняй меня,

ты моя, моя, ты снова со мной, я снова к тебе вернулся, мама, мама, как долго тебя не было». А потом они оба понимали, что плохое кончилось, он снова и навсегда в ней, снова они одно существо, не будет ни родов, ни расставания, и затихали.

В Сухуми прямо перед отплытием капитан постучал в дверь ее каюты, и когда она вышла, сказал, что, как только что ему стало известно из телеграммы, Новороссийский порт под строжайшим наблюдением, все суда обыскиваются от трюма до клотика, и этому ее грузину лучше в городе не показываться. Она поблагодарила его за помощь и предупреждение, передала для помогавшего им матроса красивый серебряный портсигар, после чего они с Кобой, побросав в баулы и чемоданы ее вещи, сошли на берег. Возможность того, что они смогут доплыть на пароходе лишь до Сухуми, в Петербурге, как я уже говорил, предусматривалась; в этом случае должен был начать действовать второй, запасной вариант эвакуации Сталина из Грузии: по горным тропам через Большой Кавказский хребет и дальше в Нальчик.

В соответствии с этим планом на площади у Сухумского морского вокзала они наняли изящную бело-розовую коляску, как сказал им кучер, единственную в городе на мягких дутых шинах, и, играя молодую пару, проводящую на Кавказской Ривьере медовый месяц, поехали в абхазское село Лыхны. У Сталина там давно были свои люди, и он думал, что без труда найдет в Лыхны двух-трех надежных, хорошо знающих горы проводников.

Однако дело об ограблении тифлисского банка из-за связи с политикой получило очень широкую огласку, до-



шло до Петербурга, и по приказу оттуда, чтобы не выпустить боевиков из Грузии, одна за другой перекрывались горные дороги; поручено это было местным сванским и абхазским родам, и дабы поощрить их усердие, за каждого изловленного боевика была назначена немалая награда. Обычай мешал лыхновским знакомым Сталина идти против своих, и Сталин даже не стал их просить. С огромным трудом и за большие деньги они сумели сговориться лишь с пятнадцатилетним подростком-пастухом, но и тот, сразу обо всем догадавшись, долго колебался, решая, что ему выгоднее — переправить их через горы или выдать. В конце концов, поскольку они предлагали вдвое против того, что давал русский царь, он согласился; однако де Сталь позже всегда была уверена, что именно хитрый пастушок, взяв с них задаток, потом специально вывел их на конный разъезд здешних милиционеров. Так или иначе, едва их остановили, он немедля куда-то исчез, и больше она его никогда не видела. На разъезд они напоролись совершенно неожиданно — они ехали совсем неспешно на медленной скрипучей арбе, правил ею этот мальчик, а они, изображая со Сталиным молодоженов, вошли в роль и самозабвенно целовались.

Сталь этих горских стражей порядка всерьез не принимала, ее деньги и в не меньшей степени ее манеры и обаяние сбивали с толку даже лучших полицейских-профессионалов; возможно, в других обстоятельствах они бы и вправду выпутались, но здесь карты легли так, что шансов у них не было. Человеком, который командовал отрядом, был Виссарион Игнаташвили. Он подъехал к арбе несколько раньше приотставшего отряда, сразу узнал и, обраща-

ясь только к ней, с иронией сказал, что, как писал в письме, он рад ее приезду в Грузию, со вчерашнего вечера он ждет ее на этом месте, чтобы встретить и проводить в свое имение, которое отсюда всего в десяти верстах.

Тон его сразу не понравился де Сталь, поза, в которой он их застал, не оставляла никаких сомнений в характере отношений, которые связывали ее и Сталина.

Игнаташвили делал вид, что ему безразлично, что женщина, которая была его любовницей и которую он любил до сих пор, спит с собственным сыном, к тому же зачатый от него, Виссариона Игнаташвили; все это не сулило им ничего доброго. Сталин, лучше ее знавший отца, похоже, был с ней согласен. Во всяком случае, он спрыгнул с арбы и хладнокровно — это его качество было знаменито в партии — пошел прямо на Виссариона и на конный разъезд; Игнаташвили, боясь, что Сталин может начать стрелять, только что отъехал под прикрытие своего отряда. Сталин шел так уверенно, что лошади под конными даже стали пятиться, расступаться, давая ему между собой проход. Однако перед Игнаташвили он остановился и, поигрывая тонкой плеточкой — единственное оружие, у него бывшее, — сказал его отряду следующее:

«Возможно, этот человек вам сказал, что я один из бовиков, ограбивших банк в Тифлисе, если нет, то это говорю вам я, Сталин, а теперь — то, что он вам наверняка не рассказывал. Я, Сталин, иначе Иосиф Джугашвили, — его старший сын, так что он как хороший горец сторожил эту дорогу не зачем-нибудь, а чтобы продать правительству голову своего сына. Меня это не удивляет. Его отцом и моим дедом был знаменитый абрек Георгий Игнаташвили,

тот самый, кого враги захватили и повесили в день собственной свадьбы. Жена Георгия была настоящей горячкой: зная, что душа мужа не успокоится, пока он не будет отомщен, она сумела зачать от Георгия, когда он уже болтался на веревке. Но сын Георгия Игнаташвили Виссарион Игнаташвили, то есть ваш предводитель, был рожден трусом: боясь покарать врагов, он бежал из Грузии. Когда его мать Саломея Игнаташвили поняла, что Георгий отомщен не будет, она покончила с собой. Тогда этот человек пришел к моей матери, Екатерине Сталь, она сейчас сидит на арбе перед вами, и сказал ей: «Я робок и труслив, как женщина, вся Грузия смеется надо мной и презирает меня; мне нужен сын, храбрый, как мой отец, чтобы смыть позор с нашего рода».

Екатерина Сталь сжалилась над ним и родила ему меня, Иосифа Сталина, но он даже не признал сына. Теперь же, когда я начал мстить, когда я поклялся, что ни один из тех, кто повесил Георгия Игнаташвили, не уйдет от меня живым, он хочет с вашей помощью выдать меня царю. Ничего не скажешь, вы нашли для себя хорошее дело».

Сталин держался с горцами так же просто и естественно, будто стоял перед бакинскими рабочими, он говорил негромко, спокойно, без надрыва, обычного для других партийных ораторов, но на людей слова его действовали безотказно. Не успел он окончить свою историю, а отряд, окружавший Игнаташвили, уже сам собой рассосался: большинство, повернув коней, ускакали вверх по дороге, а двое — те просто перешли на сторону Сталина. Виссарион Игнаташвили остался на дороге один. Лицо его от страха покрылось испариной, руки, державшие поводья, дро-

жали. Сталин смотрел на него спокойно, даже печально. Потом, не говоря ни слова, щелкнул плеткой перед носом коня, тот шарахнулся, встал на дыбы и, сбросив седока, умчался куда-то вниз через овраг и кусты орешника. Двое всадников, что присоединились к Сталину, помогли им перевалить через горы и только на окраине Нальчика, убедившись, что он и Сталь в полной безопасности, повернули обратно в Грузию. Впоследствии они вступили в РСДРП и, ни разу не участвуя в оппозициях, до конца своих дней оставались его верными сподвижниками и друзьями.

\* \* \*

Федоров был пророк, но он не был мессией, Господь не почтил его благодатью, и ему не было дано спасти и вернуть к жизни род человеческий. Роль его была скромнее: как Иоанн Креститель, он должен был подготовить почву, вспахать и удобрить ее, а затем, благословив того, кто больше него, отойти в сторону. Но Федоров не решился. Может быть, он думал, что выбор еще не сделан и Господь все-таки изберет его или Господь сам ясно покажет, что здесь, на земле, Федоров ему больше не нужен: он сделал то, для чего был послан, то, что ему дано было сделать, и теперь должен уйти, освободить место другому. Господь давно мог взять Федорова к Себе, но Он медлил, как будто и вправду колебался, и Федоров тоже медлил: надежда, что мессия, спаситель людей — все же он, продолжала в нем жить, и он как мог цеплялся за своих учеников.

Ученики же, получившие то, что они знали, из рук Федорова, пока он был жив и рядом, не были готовы ни на что самостоятельное, лишь соревновались в верности и обожании учителя. Итог был печален: жизнь остановилась и революция началась в России почти на двадцать лет позже, чем должна была. Среди тех, кто ходил к мадам де Сталь, было несколько дальновидных людей, не хуже ее понимавших, что к чему, и в их среде долго дебатировалась идея о необходимости пожертвовать жизнью Федорова ради интересов революции. Говорилось, что если Федоров действительно искренне верит в то, что проповедует, он должен это принять и одобрить, понять, что сейчас именно он, Федоров, — главное препятствие в деле воскрешения рода человеческого. Был и человек, готовый взять умерщвление Федорова на себя: это был его самый старый, еще с тамбовских времен, и самый верный ученик, в сущности, первый из пошедших за ним.

Трудно сказать, к счастью ли, но до крови дело все-таки не дошло: в конце 1903 года Сталь удалось уговорить Федорова уйти. По сговору с врачами сделано это было следующим образом: двадцать восьмого декабря Федоров был положен в Мариинскую больницу для бедных с диагнозом «двустороннее воспаление легких», прежде Сталь пять дней никого к нему не допускала, говоря, что Федоров тяжело болен, видеть его нельзя. Все это время и она, и врачи ждали, когда в больничном морге окажется тело, которое можно будет выдать за труп Федорова. Наконец оно появилось, и врач Мариинской больницы Сергей Валентинович Алексеев, бывший студент Медико-хирургической академии и активнейший

участник народнического кружка Зайончковского (де Сталь была с ним тесно связана с давних пор), сразу определил Федорова в специальную палату для умирающих. В тот же день Федоров был приведен к исповеди и причащен. Через два часа после этого Алексеев и другой врач со странной фамилией Скрипок, тоже народник, констатировали у Федорова смерть, наступившую в результате удушья. Дальше Алексеев и Скрипок, положив тело Федорова на каталку, сами повезли его в больничный морг, стоящий на отшибе, саженьях в двухстах от главного больничного корпуса. Здесь, на полпути между больницей и моргом, их ждала карета де Сталь, которой в целях конспирации правил не ее кучер, а вышеназванный ученик Федорова. Когда каталка поравнялась с каретой, Федоров без чьей-либо помощи перебрался в нее, и они со Сталь тут же уехали. Этой же ночью она отправила его в Сосновый Яр, где для него у мельницы на берегу пруда недавно был выстроен специальный домик. Через два дня на кладбище Скорбященского монастыря при большом, несмотря на сильный мороз, стечении народа — популярность Федорова была весьма велика — состоялись похороны. В гроб вместо него был положен замерзший на улице известный московский юродивый по кличке Сашка. Очень на него похожий и внешне, и по жизни.

После похорон Федорова, когда камень послушания был снят с их душ, в среде его учеников началось бурное брожение: каждый считал себя единственным его истинным последователем, а прочих — еретиками, отступниками или того хуже — изменниками. Во всех была бездна энергии и жизни, все суетились, спорили, боролись, не было ничего по-

стоянного, и Сталь подчас трудно было понять, кто с кем и кто сегодня за кого. Шли бесконечные заговоры и интриги, однажды (к этому времени они уже, кажется, совсем потеряли разум) возникла даже целая серия дуэлей — вещь для революционеров, конечно, совершенно дикая. Сталь часто гадала, кто из них станет лидером, потому что они расходились дальше и дальше и было ясно, что возникнет не одна, а несколько школ его учеников, но всякий раз ошибалась. Сначала она думала, что после ухода Федорова возглавят дело или Толстой, или Достоевский, у каждого из них было множество собственных почитателей, в стране авторитет обоих был огромен, они были готовые вожди, и, в сущности, ради того, чтобы они возглавили движение, Сталь так настойчиво и устраняла Федорова. Оба, и Толстой, и Достоевский, были вернейшими последователями Федорова, значит, и здесь не было никаких сомнений в их праве занять его место. Однако, к удивлению де Сталь, сразу же после похорон они перестали посещать ее салон, сделано это было без объяснений, почти оскорбительно, и лишь позднее она узнала, что их привлекала сама личность Федорова, идеи же его интересовали очень мало. Она тогда подумала, что для них единственным положением в гроб вместо Федорова Сашки-юродивого, наверное, не стало подменой.

Вслед за уходом Толстого и Достоевского ушли и их поклонники, ряды федоровцев поредели, но это был не кризис, а очищение от людей случайных, непрочных и необязательных. И действительно, вскоре большинство учеников объединил вокруг себя поэт и философ Владимир Соловьев, тоже один из тех, кто первым пошел за Федоровым. Был он Федоровым и особенно любим. Вообще

же человек он был странный, одинокий, и де Сталь так никогда и не сумела до конца понять его.

\* \* \*

Соловьев учил, что:

1) катастрофа уже надвинулась на мир и совсем близка, время Апокалипсиса пришло, наступил век антихриста;

2) осуществление истины и справедливости во всей их полноте должно начаться немедленно;

3) исходной точкой, началом человеческой истории был первородный грех; Страшный суд и победа над мировым злом будет ее концом;

4) (вслед за Федоровым) мир, сотворенный Господом, не был совершенен. Жизнь не дар, Акт Творения был неким выпадением земного мира из Абсолюта, потому и первородный грех был естественным следствием этого выпадения, однако Акт Творения оправдан тем, что мир движется к совершенству и рано или поздно вернется, сольется вновь с Абсолютом, вернется на «новую землю» и на «новое небо»;

5) (в отличие от Федорова) не может быть личного и общественного спасения человека, возвращения его в рай вне сотрудничества с Богом;

6) каждая частица мироздания жива, самобытна и одушевлена, нет частицы без памяти и, следовательно, возможно восстановление, воскрешение всего когда-либо жившего на земле;

7) осуществление это близко, мир прошел уже большую часть пути; раньше он был в извращенном хаотичес-



ком состоянии, теперь: а) хаос собран в первоначальную совокупность силами всемирного тяготения, б) эта совокупность гармонично расчленена, дабы сделать возможным интимное воссоединение вселенского тела (работа электромагнитных сил), в) возникла жизнь — органическое единство этой вновь созданной материи и света, г) сотворен человек;

8) мессианское призвание человека — возделывать и благоустроить природу, спасти ее, освободить и, завершая историю, вернуть в Абсолют;

9) грехопадение было попыткой человека сделать это собственными силами, вне сотрудничества с Богом, результат — хаос, разрушение, торжество зла, но все это лишь отсрочило призвание человека, а не упразднило его;

10) цель мировой истории — достижение единства Бога и возглавляемой человеком внебожественной природы;

11) к этому единству невозможно прийти без Богочеловеческого организма вселенской церкви — основы и воплощения добровольной солидарности людей;

12) историческая миссия России — религиозное посредничество между Западом и Востоком, сближение их и конечное воссоединение во всемирное государство; возглавит это государство русский царь (светская власть) и римский папа (власть духовная);

13) именно государство будет выступать как представитель человеческого начала в становящемся Богочеловеческом единстве, а не личность (личность должна сознавать, что ее истинная свобода есть самоотречение) и даже не община.

После обнародования данной программы откололась еще одна группа, причем предварительно она, жестоко нарушив партийную дисциплину, публично обвинила Соловьева в том, что он еретик, искаживший и предавший учение Федорова. Следует, в общем, признать, что основания для этого у них были. Группа состояла по большей части из молодых разночинцев, присоединившихся к партии в последний год жизни Федорова; все, и де Сталь тоже, знали их плохо, поэтому немудрено, что след их сразу затерялся, де Сталь нашла их лишь через два года, нашла совершенно случайно. К тому времени они под именем «группы Федорова» вошли в социал-демократическую партию, во главе которой стоял некий Жорж Плеханов.

Этот Плеханов был де Сталь давно известен, относилась она к нему с симпатией, давала деньги, за несколько лет до описываемого именно в ее тамбовском имении прошло совещание народнической группы «Черный передел», где он тогда состоял. Плеханов сначала встретил учеников Федорова очень тепло, в основном, это были люди и талантливые, и сильные, рабочее движение могло много приобрести в их лице, но скоро и здесь у них возникли разногласия. Поводом для разрыва стали споры по каким-то не очень существенным вопросам тактики, но это — то, что было на поверхности, на самом деле они вообще мало в чем сходились. Формально из партии они, правда, не вышли, но образовали в ней вместе с Лениным независимую фракцию большевиков. Марксистами ни тогда, ни позже они не были, к Марксу относились, и не скрывали этого, с иронией, его картины социализма и коммунизма, роль в истории рабочего класса, то, что революция начнется не в Рос-

сии, а в одной из передовых стран Запада, и, главное, то как Маркс представлял себе смысл и назначение самого человека, — все это казалось им на удивление наивным. Но Ленину, которому они с готовностью подчинились, его увлечение марксизмом было прощено. Ленин импонировал им своей решительностью, тем, что был человеком дела; они не сомневались, что в конце концов он неизбежно придет к Федорову. Пока же время для этого не наступило, и вины Ленина здесь нет, просто народы мира еще не готовы услышать Слово Федорова, откровение было дано людям до срока. Сегодня оно может выжить, сохраниться только как тайное скрытое учение, учение, известное лишь посвященным. Марксизм же должен стать для него спасительной скорлупой.

Влияние этой группы на большевиков было очень многообразным, в частности, именно им объясняется то, что Ленин, вопреки собственной ясно выраженной воле, после смерти не был предан земле, а положен в стеклянный гроб и выставлен для обозрения. Федоров не раз рассказывал своим ученикам, как он несколько лет пытался спасти и воскресить Спящую царевну, — это была его любимая история — начало общего дела воскрешения всех когда-либо живших на земле людей. Неудача, по видимости, угнетала его мало: он сетовал, что в космосе, где нет земного притяжения, а только небесное, спасти царевну ему бы, без сомнения, удалось. В 1924 году именно федоровцы и настояли на том, чтобы пока сохранить Ленина нетленным, как бы спящим, в стеклянном гробу, а в это время Россия, отложив все дела, будет строить для него ракету. Конструированием ее почти тридцать лет занимались федоровец Ци-

олковский и его ученики. Этой ракетой Ленина отправят в космос, где он восстанет из праха и сможет снова возглавить мировую революцию. Принадлежала им и еще одна, возможно, решающая для судеб революции мысль. Они говорили, что, учитывая конечное всеобщее воскресение, правильно и даже необходимо уничтожать, причем для их же собственного блага, каждого, чье существование препятствует общему делу — воскресению всех, когда-либо живших на Земле.

Однако, судя по разным источникам, Соловьев не был обеспокоен расколом. В течение нескольких недель он создал из оставшихся учеников Федорова подпольную партию (в них была уже большая усталость от свободы, тяга оставить ее, пожертвовать ею, готовность раствориться в организации), которая показалась де Сталь очень перспективной, и она охотно взялась ее финансировать, а когда траты превысили ее возможности, привлекла для этого нескольких крупных купцов-золотопромышленников из семей Рукавишниковых и Силантьевых.

Снизу партия, как и должно, была подчинена строгой дисциплине: делилась на тройки, рядовые члены которых знали только своего командира и больше никого. Командир тройки входил в тройку следующей ступени, и так до Соловьева. Однако этот обязательный для любых подпольных организаций принцип на самом верху по личному капризу Соловьева соблюден не был. Организатором партии, ее признанным лидером был Соловьев: он разработал и ее философию, и ее программу, однако он был убежден, что партия должна управляться коллегиально, и своей властью разделил полномочия лидера между бывшим личным

адъютантом Николая II, а в то время командующим Санкт-Петербургским военным округом генералом Драгомировым, знаменитым русским церковным деятелем и проповедником Иоанном Кронштадтским, который когда-нибудь несомненно будет канонизирован, и собой. Возможно, он так же, как и Федоров, сомневался, что ему ниспослана благодать, что он избран. Или дело в том, что в эти годы в Москве он бывал нечасто, больше ездил по стране, подолгу живя у друзей, чаще всего в имении Трубецкого. Лишь у Трубецкого ему удавалось по-настоящему работать, там он много гулял, спал без брома, ему хорошо думалось и писалось, даже стихи он иногда привозил оттуда. Конечно, Соловьев был прав, считая, что партию нельзя месяцами оставлять одну, без верховного руководства, но почему он, сознавая это, не был готов изменить свой образ жизни, отказаться хотя бы от части поездок, я не понимаю, — говорил Ифраимов. — Судьбы стольких людей зависели от его решения, так много было поставлено на карту; его выбор для меня совершенно необъясним.

Надо отдать Соловьеву должное — команду он подобрал очень сильную. Практически в ней были представлены, причем виднейшими фигурами, самые влиятельные силы русского общества, те, кто обладал реальной властью, — армия, церковь и интеллигенция. Легко было предвидеть огромную популярность в обществе партии, возглавляемой этими лидерами, но и без популярности, контролируя главные силы в стране, она при необходимости могла быстро взять власть в свои руки. И Иоанн Кронштадтский, и Драгомиров — оба были завербованы в партию Соловьевым и оба, как я уже сказал, при-

знавали его первенство, были готовы ему подчиняться. Однако Соловьев не только настоял, чтобы управление было разделено на три сферы, но и объявил, что каждый из них будет управлять своей областью вполне самостоятельно, решения же, касающиеся мира в целом, они будут принимать совместно и единогласно.

Из всего этого не могло выйти ничего, кроме глупости: вместо дисциплинированной, жаждущей боя тайной организации получилось нечто вроде Польского сейма; очень рано и Драгомиров, и Иоанн Кронштадтский почувствовали себя настоящими царьками, и даже решения, принятые большинством, проводили в собственных епархиях, лишь если они им нравились. Подобным образом никакая подпольная партия, конечно же, существовать не может, скоро это равно поняли все трое, но хоть что-нибудь менять, никто из них готов не был, партия быстро шла к развалу, и, по-моему, каждый из них испытал облегчение, когда он наконец произошел.

Непосредственным поводом для раскола стало требование Соловьева о широчайшем привлечении в партию евреев. Соловьев обосновывал это тем, что вопреки распространенному убеждению, Завет между Богом и евреями отнюдь не разорван и не заменен Новым Заветом, напротив, он лишь упрочен и обновлен миллионами жертв, которыми евреи заплатили за свою преданность Авраамовой вере. Победа над злом и спасение человеческого рода будут возможны только при соединении, только при совокупных действиях обоих избранных народов Божьих: народа Ветхого Завета — евреев, и народа Нового Завета — русских.

Драгомиров, в принципе, не имел никаких возражений против привлечения евреев и готов был с Соловьевым согласиться, однако Иоанн Кронштадтский категорически возражал. Он считал, что все понимание мира и русской церковью, и русским народом строится на том, что он единственный избранный народ Божий; наделив его особой благодатью, Господь его единственного избрал из народов земли, он — народ-мессия. Даже если то, что говорит Соловьев, правда, эта правда должна быть скрыта, русский народ никогда не сможет с ней примириться, а если бы и смог, она бы, без сомнения, разрушила веру русского человека и в Бога, и в себя самого. Для революции русские были бы тогда навсегда потеряны.

В сущности, продолжал Ифраимов на следующий день, все это довольно грустная история, грустная, а если взглянуть со стороны, то и довольно однообразная. Длинный-длинный ряд людей, народов, стран, которым казалось, что Господь возложил на них какую-то особую миссию, их вера и готовность к этой миссии, готовность на любые жертвы и на любые страдания, а в самом конце жизни, когда заново уже ничего не начнешь, — понимание, что ни они, ни их подвиг никому не нужны, ничего востребовано не будет, жизнь прошла напрасно. Муки и горечь их последних дней, все, что еще не сломано в них Богом, они доламывают сами, уверенные, что больше их греха нет, они — самозванцы, не Бог, а они сами избрали себя. Так было и с Россией, и с де Сталь, и с Федоровым, и с Соловьевым, со многими-многими другими, в частности, с тем человеком, о котором речь пойдет ниже. Никто из них призван не был. И все-таки, — говорил Ифраимов, — мне трудно согласиться с

тем, что они достойны осуждения, в лучшем случае — жалости. Ведь я знал их и их жизни. Их вера была настолько чиста и бескорыстна, настолько явна их преданность Богу, что Господь, пусть даже они по неведению и стали на ложный путь, не так Его слышали, должен был, обязан был дать им это понять, обязан был это им объяснить и помочь. А России Он, например, пять веков подряд, год за годом, каждой новой победой русского оружия подтверждал, что да, все правильно: русские — действительно избранный народ Божий, Россия действительно Святая земля, земля, на которой опочил Дух Божий. Как же ей было усомниться в том, что она избранный?

В общем, — говорил Ифраимов, — я склонен думать, что Господь и в самом деле их всех избрал, может быть, не твердо и не окончательно, как бы предварительно, но им это было дано, обещано и, следовательно, греха на них нет, они ни в чем не виновны. А потом было то, что не раз случалось и раньше: планы Господа относительно рода человеческого менялись, и эти народы и люди больше были Ему не нужны. Де Сталь в сердцах обвиняла Его, что Он специально, как когда-то в пустыне дьявол Христа, искушал пошедших за Ним жертвенностью, подвигом, святостью, властью; вряд ли это верно, скорее, я думаю, Он забывал их. Он чересчур много думал о судьбе всего Адамова рода, и на отдельных людей Его просто не хватало. Это оказалось лишь словами — то, что один человек, одна человеческая душа для Него важнее целого мира. В Нем накопилось много безразличия и равнодушия, все эти люди и их жизнь, в сущности, занимали Его очень мало. Так что Он делал им зло, как бы даже и не замечая этого.



Спор о евреях каждому из них троих — и Соловьеву, и Иоанну Кронштадтскому, и Драгомирову — ясно показал, что партия в том виде, в каком они ее создали, больше существовать не может. Надо было или все менять, или смириться с тем, что не им дано повести русский народ, а следом за ним другие народы по пути спасения. Они были обязаны воскресить, поднять партию, но в них уже не было сил.

\* \* \*

Де Сталь видела, что устали все они, все ученики Федорова: двадцать лет надежды и веры измотали их, и они уже ни на что не были способны. Большинство федоровцев вообще отошли от движения, другие продолжали посещать ее салон по инерции — это членство в партии сделалось частью их жизни, они постарели, ни на что уже не годились и просто играли в юность и жертвенность. Пожалуй, они теперь собирались по привычке, словно давние друзья; конечно, за это время между ними накопилось множество обид и подозрений, но и те были домашними; главным же было, что по-прежнему они чувствовали себя посвященными и не хотели с этим расставаться. Как боевая партия они себя исчерпали, так, в сущности, ничего и не совершив, это было очень обычно для России: готовность перевернуть мир, готовность на любые подвиги, а все кончается прекраснодушными разговорами. Она уже больше года не давала им денег, хотя от дома, неизвестно почему, никому не отказывала, продолжала принимать.

Тогда в России уже вовсю шла первая революция. Партия Федорова — Соловьева, к удивлению полиции, оказалась в ней ничем и никак не замешана, не совершила ни одной акции, опять ограничившись дискуссиями и декларациями о необходимости не просто принять участие, но возглавить революцию: у них за плечами такой опыт, такие мощные силы, такие блистательные теоретики, без них революция будет блуждать в потемках. Они недоумевали, почему эсеры и социал-демократы не обращаются к их партии за помощью; самим же пойти к ним, к своим по революционному стажу детям, казалось им унижительным. И этот бред говорился революционной партией, когда надо было действовать, действовать и действовать, когда русский престол из-за войны с Японией как бы отдался революции на милость, когда так все прогнило и разложилось. Сталь, если у нее с товарищами по РСДРП заходила речь о федоровцах, любила повторять, что у всего есть возраст, и Соловьев скоро поймет, что его партия достигла не зрелости и даже не старости, а маразма. В те годы она уже активно работала на большевиков, и ей для конспирации было даже удобно, что полиция по-прежнему числила ее федоровкой. Это сделалось хорошим прикрытием.

Впоследствии, правда, де Сталь часто жалела, что в революции пятого года федоровцы не приняли никакого участия: кровь, большая кровь могла обновить их, тем более что в некоторых теоретических вопросах они и тогда и позже имели очень большое влияние на другие революционные партии, например, на большевиков. Влияние это шло и через саму де Сталь, и через других бывших федоровцев, вместе с ней присоединившихся к большевикам. Об этом

свидетельствуют среди прочего чудом сохранившиеся фрагменты стенограммы теоретического совещания РСДРП, проходившего 10 — 13 мая 1910 года в ее имении Сосновый Яр. В нем участвовали Ленин, Плеханов, Зиновьев, Богданов, Троцкий, Аксельрод и управляющий имением немец Тюбинг.

«Ленин: Жертва русского народа оказалась не востребована. Тысяча лет ожидания прихода Христа, тысяча лет расширения территории истинной веры, миллионы человеческих жизней были на это положены; крепостное право, голод, эпидемии, самосожжения раскольников, крестьянские бунты — и все зря. (Дальше.) Человек давно хотел вернуться в рай, ни у кого он для этого помощи не просил, сам стал строить Вавилонскую башню, но Господь испугался человека и разрушил ее, когда дело было почти закончено. Господь всегда преследовал свои эгоистические цели, Он жаждет абсолюта, которого в природе, построенной на равновесии, на балансе добра и зла, просто быть не может. Абсолют противен человеческой природе, противен природе вообще, он соткан по подобию ангелов, а не человека, и вот ради этого совершенно абстрактного абсолютного добра человеческий род обречен на невыносимые и вечные страдания. Человек начинает страдать от рождения, еще ничего не сделав плохого, и страдает дальше всю жизнь из-за мифической первой вины — греха Адама. Кстати, совершенного им по неведению, по детству и неразумности, да и то после долгого искушения змием. Все это страшно несоизмеримо и смешно, в этом нет меры и нет смысла, нет ничего, кроме жестокости. Скорее здесь можно увидеть разочарование в человеческом роде и месть

ему за то, что он не оправдал ожиданий, и ревность к талантам человека, который сам может вернуться на небо. Вывод: мы должны отказаться от всяких надежд на Бога, на Его справедливость. Возможно, мы жертвы Его нелюбви к нам, возможно, просто игрушка, брошенная на кон очень жестокого спора между Богом и дьяволом; суть его в том, насколько может быть изменена, очищена и приближена к ангельской природа человека, насколько его дух может быть оторван от тела. Из этого следует, что мы должны убедить рядовых членов партии навсегда отказаться от Бога, они должны будут возненавидеть Его. Отнюдь не сбрасывая со счета русскую религиозность, задача эта не представляется такой уж сложной: стоит рабочим узнать, как Господь их обманул и предал, как Он измывался над ними, — иллюзий на Его счет у них больше не останется.

Зиновьев (реплика с места). У меня есть компромиссное предложение: скажем пролетариату, что Бога нет и никогда не было, человек его просто придумал. Тем самым выведем Бога из-под удара. Он поймет наши намерения и будет нам только благодарен. Прошу занести в протокол, что я вообще не разделяю крайностей т. Ленина, его стремления плодить врагов. Считаю, что Бог на каком-то витке революции сможет снова нам стать полезен.

Тюбинг. После революции, это уже здесь говорилось, будет всеобщая власть Советов, и я представляю себе специально предназначенный для Советов дом, построенный в виде Вавилонской башни, — с каждым витком сужающаяся устремленная вверх спираль, а венчает ее огромная километровая статуя вождя революции, т. Плеханова там, или т. Ленина, или кого-то другого, кто будет из-

бран повести за собой пролетариат. Статуя эта будет выситься как горный пик, и все будут видеть, что человек, которого она изображает, уже достиг неба, достиг рая. И еще я хочу подчеркнуть очень важный момент, без него, мне кажется, Вавилонской башни нам опять не построить. Господь тогда, чтобы не дать людям закончить работу, смешал их языки, они сделались разными народами, стали бояться и ненавидеть друг друга; мы должны не только провозгласить, что наша цель — интернационализм, — интернациональное воспитание трудящихся действительно должно стать главным направлением нашей работы. Во что бы то ни стало нам надо снова соединить человечество в одно целое. Лишь в этом случае можно будет начать и успешно закончить строительство.

Богданов. Георгий Валентинович, меня волнует то, что если Бог обещает человеку вечное спасение, вечную жизнь, мы можем обещать ему только очень короткий промежуток райского существования — его человеческую жизнь. Это большой недостаток, я боюсь, что многих пролетариев это от нас оттолкнет. Люди готовы на любые муки, лишь бы приз был действительно стоящим, а тут хотя и без особых трудов, но и выгода не так чтоб большая.

Плеханов. Вечного рая нет и не может быть, мы это объясним, и массы пойдут за нами, зря т. Богданов беспокоится.

Ленин. Нет, т. Богданов прав, это серьезная проблема, но, по мнению Федорова, а его здесь поддерживают крупнейшие физиологи страны, никаких препятствий, чтобы сделать человеческую жизнь вечной, нет, и мы эту цель поставим во главу угла. Так рабочим прямо и надо сказать:

на земле ли, в космосе, но мы покончим с болезнями и со смертью тоже; тот, кто достоин, будет жить вечно, и не с этой сусальной ангельской анемией, а по-настоящему, по-человечески, с женщинами, с вином, с хорошим обедом — словом, со всеми радостями плоти.

Троцкий. Движущей силой революции и будущего строительства башни должно стать соединение двух мессианств — еврейского и русского; потенциал и того и другого огромен, но раньше большая его часть уходила на борьбу евреев и русских между собой. Господь специально, чтобы их стравить, клялся и тем и другим, что именно они — избранный народ Божий.

Ленин. Сам Бог давно превратился в человека, а от человека хочет, чтобы он стал ангелом, — это абсурд. Вот, например, разговоры о промысле Божьем: изгнание евреев из Палестины и их рассеяние по всему тогдашнему миру было благом — оно способствовало распространению истинной веры. Бог мыслит, как военный или политик: если у меня погибла тысяча, а у противника — две, это хорошо, я прав; то есть Он давно уже принял, что добро смешано со злом, давно понял, что зло — нередко кратчайший и единственный путь к добру. Таков мир, и ни Он, ни мы пока что здесь ничего изменить не в силах».

\* \* \*

И Соловьев, и Драгомиров, и Иоанн Кронштадтский по внешности очень спокойно приняли то, что не благословенны; спор о роли евреев и последующий раскол не породили никакой борьбы за власть, кажется, они вообще были

рады завязать с подпольной деятельностью. Во всяком случае, прощаясь с партией, они вели себя не как революционеры, а как хорошо воспитанные английские парламентарии. Объявляя о коллективной отставке, улыбались, пожимали друг другу руки; когда кто-то спросил их о причине разногласий, ответили, что в подробности вдаваться нет смысла — это чисто личное дело, посвящать в него других было бы неэтично. В заключение Соловьев как старший от имени всех троих объявил, что они поняли, что не избранны, и поэтому уходят. В том, что учение Федорова верно, они убеждены и сейчас, вина лежит лишь на них, поэтому в партии они остаются, но будут теперь рядовыми ее членами. Это были, конечно, только слова. До конца своих дней они никогда больше у де Сталь не появлялись.

После Соловьева выступил Иоанн Кронштадтский. Он подтвердил, что сказанное Соловьевым — их общий взгляд на происшедшее, и добавил, что они трое считают, что следует изменить принцип руководства партией — снова ввести единоначалие, предложив на пост лидера молодого, но к тому времени уже знаменитого композитора Александра Скрябина. Это его предложение повергло тогда присутствующих, и в первую очередь де Сталь, в совершенное изумление. Однако дисциплина была поставлена строго, и оно прошло единогласно, без вопросов и возражений. Таким образом, с 13 декабря 1905 года Скрябин уже официально возглавил федоровцев. Впоследствии де Сталь не раз восхищалась интуицией Соловьева и Иоанна Кронштадтского, сумевших в самом молодом — он вступил в партию за день до того, как стал ее лидером, — и, пожалуй, в то вре-

мя вызывавшем лишь иронию члене партии разглядеть готового, причем выдающегося ее вождя.

Ирония объяснялась вот чем. Буквально накануне дня, когда Скрябину было предложено возглавить партию, у нее в доме был музыкальный вечер, среди прочих участвовал в нем и он, недавний член ее кружка. Скрябин сыграл маленький, но весьма занятный фрагмент из, как он сказал, грандиозной вещи, им только что начатой. Первая часть вечера оказалась на редкость удачной, хотя она, зовя Скрябина, очень боялась, что федоровцы не примут ни его, ни его музыки: с некоторых пор, замыкаясь в себе, они стали дружно не любить чужих. Но он явно пришелся им по вкусу. Они даже уговорили его сыграть еще одну раннюю прелюдию, которую многие знали. После этой пьески ему особенно хлопали. Скрябин всегда медленно отходил от музыки, и здесь он довольно долго сидел к публике спиной, потом наконец закрыл крышку рояля, повернулся, встал и, остановив аплодисменты рукой, своим высоким и в то же время красивым голосом спокойно сказал, что он, Скрябин, — мессия, и он пришел к ним благовествовать о грядущем. Сказать о том, что скоро, совсем скоро грядет перерождение человечества, которое осуществит он сам чарами искусства, и дальше в том же духе.

Эту его тираду слушали, конечно, не очень внимательно: часть гостей разговаривала, другая направлялась в столовую, где было уже накрыто, и он, оскорбленный, вдруг громко, на всю залу возгласил: «Я творец нового мира. Я — Бог», — на что стоящий рядом язвительный Уздин, потрепав его по плечу, тут же отвечивал: «Ну какой ты Бог — ты просто петушок».



Скрябин смутился, весь как-то сразу поник, было видно, что он чуть не плачет, и ей тогда сделалось его нестерпимо жаль. К тому времени она знала Скрябина довольно давно: старый приятель де Сталь Беляев был страстный его поклонник и покровитель, им изданы первые работы Скрябина, и вот года четыре назад он буквально донял ее приглашениями послушать этого гениального музыканта. В конце концов она пошла на одну из беляевских сред и не пожалела. И музыка Скрябина, и то, как он играл, поразили ее, но, пожалуй, больше всего — он сам.

Скрябин был тогда еще очень молод, но весь его облик, вся его манера держаться были насквозь эротичны: тонкие истомленные черты лица, на подбородке чувственная ямочка, опьяненный взор, такая же истома и сладострастие были в том, как он двигался, как касался инструмента; Бальмонт правильно сказал о нем, что он целует звуки своими пальцами. Пальцы его действительно двигались очень плавно и нежно, как бы не спеша, даже задерживаясь, чтобы насладиться еще. Он ласкал каждую клавишу, но в контрасте с этим в рояле рождались какие-то спазматические, судорожные ритмы, звуки были изломаны, искривлены, так что ты начинал понимать, что все это отнюдь не просто ласка, а очень медленная и очень изощренная пытка, и что вне этих мучений и себя, и инструмента музыки для него не существует.

Она тогда, судя по всему, тоже обратила на себя его внимание, потому что следующим вечером они встретились опять. Это было ровно за неделю до масленицы, в тот день и начался их бурный, почти безумный роман. Он был короток и оборвался неожиданно для обоих скоро, причем

так же резко, как и начался, — в один день. Скрыбин был очень неровен, но удивительно непосредствен; он единственный, кто попался на ее пути за долгие годы, кто умел веселиться, будто ребенок. Когда-то в детстве она тоже была такая, но давно это утратила и забыла, он же все ей вернул. Шла масленица, и они чуть ли не целые дни пропадали на ярмарках, один за другим обходили балаганы, катались на карусели и на санках, смотрели жонглеров, шутов, дрессировщиков (Скрыбину особенно нравился номер с дрессированными кошками), фокусников, канатоходцев. Каждый день устраивались карнавальные шествия, он доставал какие-то совершенно невыдуманные маски — обычно что-нибудь из нечистой силы, потом она узнала, что их делал его приятель, — но такие страшные, что однажды, когда они вышли из дома уже ряженными, стоящий на улице городской с испуга схватился за свисток, а потом чуть было не потащил их в кутузку. Скрыбин, после того как городской, наконец разобравшись, что это не дьявол в натуре, да еще в паре с ведьмой, а просто ряженые, отпустил их обругав, хохотал до колик, да и она мало в чем ему уступала.

Но больше всего Скрыбин любил танцы. В его исполнении любой танец почти сразу превращался в нечто подобное оргии; войдя в круг, он впадал в экстаз и, забыв обо всем, грубо, почти силой заставлял ее бесконечно отплясывать вместе с собой. Опамятовался он, только если прекращала играть музыка; тогда он вел ее в казенную лавку, брал каждому по большой рюмке водки, и они, выпив и закусив моченым яблоком, шли искать новый круг. Вечером — несмотря на истомленный вид, в нем

было много природной силы, — они или ехали на всю ночь гулять в ресторан, или она вела его к себе. Он страстно любил жизнь, аскетизм же, наоборот, раздражал его безмерно, казался ему чем-то вроде мертвечины; любил, чтобы всего был избыток, — и чувств, и ощущений, и ласки, и страдания, и боли, и радости; любил звуки, краски, запахи — это можно перечислять бесконечно; и такой же он делал ее. С ним она не уставала радоваться жизни, не уставала веселиться, чувствовала себя молодой и прекрасной.

Дом, крыша над головой меняли его: сколько она помнила — дома он всегда был женственен и изнежен. Особенно она любила наблюдать, с какой тщательностью он по утрам занимался туалетом; он опаздывал в консерваторию, повторял ей, что очень-очень спешит, и все равно мог, сидя перед трельяжем, добрый час наводить глянец на свои усы, волосы. Уход за собой явно доставлял ему наслаждение. Особое пристрастие он имел к французской туалетной воде, он был до сумасшествия чистоплотен, все время боялся заразиться, боялся любой инфекции, любой грязи, и одеколоны, которыми он непрерывно протирает руки, были его спасением. Как-то она ему проболталась, сколько у нее было романов, и в ответ услышала такую отповедь, что едва не расплакалась и лишь затем разобралась: он отнюдь не ревновал, хотя несомненно любил ее, — ему просто не понравилось, что столько разных мужчин ее касались, и, конечно же, она не могла не запачкаться. То есть все это взволновало его с точки зрения одной санитарии, и когда она это поняла, то была разъярена, а потом успокоилась и простила: он вы-

говаривал ей совершенно как какая-нибудь ее подруга, так что сердиться на него было бы смешно и глупо.

Она вообще в первые дни их романа часто путалась: временами он и вправду вел себя как женщина, переодетая женщина, и она раскрылась перед ним, словно перед своей товаркой; это было как в бане — все равны, все свои, нет никакой стыдливости, — и тут он брал ее. Он будто выжидал этого момента. Несмотря на молодость, он был поразительно опытен и изощрен, женщин он знал так, как их может знать только женщина, то есть как знать можно лишь самого себя, и она, отдаваясь ему, чувствовала, что она вся-вся его, вся ему открыта и понятна; все, что она хочет сама и что может ему дать, все это будет оценено и принято, ничего не пропадет даром, не будет напрасно. С другими любовниками она всегда после постели была грустна, часто плакала; то, что они делали с ней, было в лучшем случае условным владением ею, — она им совершенно не нужна была вся, они не хотели всю ее знать, искушенность они подменяли силой и не понимали, чего она еще желает, почему недовольна. Возможно, она, ее природа была для них чересчур тонка, и они просто не умели, были не в состоянии познать ее такой, какой она была. Она ругала себя, что не приспособляется к партнеру, не играет на него и потому, если ей плохо, виновата сама, и в то же время понимала, что дело здесь совсем не в этом: она была драгоценной чашей, а они не ведали, что такое искусство, что такое красота, и считали, что из нее можно лишь пить. Было время, она даже думала, что только лесбийская любовь может ей дать то, что она хочет, но это была абстракция: женщин она никогда не любила, ее к ним никогда не тянуло и не

влекло. В сущности, она уже смирилась и давно не просила Бога ни о чем подобном, и вот появился Скрябин.

В первый раз, когда они остались вдвоем, он был очень напряжен, словно не знал, будет ли он ею понят и принят, долго не решался подойти, все чего-то медлил, а потом заговорил с какой-то страшной убежденностью, тут же заразившей и ее. Он сказал ей, что она как Ева-праматерь, и ее женское пассивное начало ждет, еще только ждет оформления и ему же препятствует. Она поймала себя на том, что он прав, — она в самом деле скована и холодна. В это время он взял ее за руку, велел расслабиться, и она поняла, почувствовала, как тело ее послушалось его голоса и обмякает, больше не сопротивляется ему.

Все обличья животных, насекомых, трав, говорил он ей, суть наши духовные движения. Они созданы теми ласками, которыми мужчина ласкает женщину, так повелось еще со времен Адама. Не Бог, а Адам, лаская Еву, породил, назвал именами своих ласк, все, что окружает человека в этом мире.

«Вот птицы, — говорил он, едва касаясь то губами, то языком ее соска, — это окрыленные ласки. Вот извивные, змеиные ласки — это ласки, гуляющие на свободе», — говорил он, скользя по ней кончиками пальцев от маленьких ступней все вверх, вверх, а потом по самому краю, так что она от страха за него замирала; он обходил вход, провал, который вел в нее, и снова вверх через живот, между грудями, обвиваясь вокруг то одной, то другой пальцами, словно оправа, и опять распрямляясь через ложбину ключицы по ее шее до мочки уха и волос. Дальше он начинал ее терзать, он терзал ее медленно и жесто-

ко, всеми звериными ласками, какие только ни есть; он мучил ее плоть ласками тигров, клевал, рвал на части лаской тысяч орлов, жалил и кусал лаской гиен, а когда она уже безумела, орала от боли и страсти, он успокаивал ее, утишал холодными, склизкими ласками лягушек, а затем словно дуновение теплого ветра проходило по ее телу, — это ожившие цветы, бабочки, насекомые задевали ее своими легкими крыльшками. Ласка ожившими цветами была совсем перед тем, как он и она, растворяясь друг в друге, уже начинали ничего не помнить, и последнее, что она, погружаясь в себя и в него, еще могла слышать, — это его голос, шептавший ей: «Это финальный танец, все уже идет к концу... уже скоро, скоро... сейчас мы разобьемся на миллионы мотыльков и перестанем быть людьми, сами сделаемся ласками, зверями, птицами, змеями».

Он дал ей необыкновенно много. Только с ним де Сталь наконец узнала, кто она и сколько в ней всего есть; поняла, насколько совершенным инструментом создал ее Господь. Только с ним тело ее по-настоящему зазвучало, запело, она видела и слышала это, изумлялась и восторгалась собой, видела, что и он это понимает. Он мог извлечь из нее любые мелодии, любые гармонии; как Ева, она рождала, творила над ним языки этого мира, его музыку.

\* \* \*

Но, на беду де Сталь, каким он здесь описан, Скрябин бывал редко. Я уже говорил, что он был очень неровен. Часто, причем все чаще, он приходил к ней подавленный, мрачный, сидел, сидел; и сам никуда не хотел идти, и ее не

отпускал. У Сталь срывались визиты, дела, она была человеком весьма обязательным, точным, и происходящее ее буквально бесило. Тоска его скоро передавалась и ей, она вообще сразу же перенимала его настроение, с ним она и вправду была, как он выражался, «ждушим оформления» пассивным женским началом. Эта зависимость от него, кстати, тоже немало ее раздражала, она привыкла быть самостийной и самостоятельной, привыкла, что именно она — Демиург мира, который ее окружал; сколько она себя помнила, все и всегда вертелось вокруг нее, и роль, которую он ей отвел и которую она по его милости с такой естественностью играла, рано или поздно должна была ее утомить.

Он дал ей много, очень много, и она это сознавала, в ней было достаточно и справедливости, и ума, чтобы это признать, но теперь, когда он показал, открыл ей, чем она на самом деле была, — то есть все, что Господь в нее вложил, что Он ей дал, Скрябин выявил, достроил, — она снова хотела свободы. Конечно, она, как могла, пыталась вывести его из мрака, но ее усилия были совершенно тщетны; обычно он даже не обращал на них внимания, и лишь однажды, когда она особенно долго изводила его вопросом, что с ним случилось, почему вчера он был так весел и им было вместе так хорошо, а сегодня он жить не хочет, он сказал ей: «Если бы ты знала, как тяжело чувствовать на себе все бремя мировой истории! С какой завистью я смотрю на людей, которые просто ходят по улице...»

И все же, если быть справедливым, она боролась за него чересчур мало — она это и сама понимала. Та близость, которая была между ними, оборвалась почти оскорбитель-

но быстро; конечно, она хотела свободы, устала от него, и все равно она не должна была объяснять Скрябину, что если ему плохо, он должен сидеть дома, а не приходить к ней, и уж тем более она не имела права его прогонять.

После того как они расстались, она довольно часто его вспоминала; пока он был рядом, любовь, постель довели над всем, прочее было лишь приложением, теперь, когда они разделились, окончательно отошли друг от друга, она вдруг начала его видеть по-иному, даже удивлялась себе, насколько по-иному. С каждым днем в ней сильней утверждалась мысль, что в лице Скрябина судьба, возможно, свела ее с самым гениальным революционером из всех, кто встретился ей в жизни. Шло это постепенно, однажды она вспомнила, как как-то раз, неизвестно почему проснувшись раньше обычного, увидела его молящегося. Он стоял у окна на коленях и громко шептал: «Я все-таки жив, жив, все-таки люблю жизнь, люблю людей, люблю еще больше за то, что и они через Тебя, Бога, страдают. Я иду возвестить им победу, иду сказать, чтобы они на Тебя не надеялись и ничего не ждали от жизни кроме того, что могут сделать, дать себе сами. Господи, благодарю Тебя за все муки, за все ужасы Твоих испытаний, Ты дал мне познать мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость. Ты подарил мне мое торжество...»

В другой раз он рассказывал ей, что в детстве был до крайности религиозен, любил церковные службы; на их улице была церковь Вознесения Господня с очень умным и знающим священником, прекрасным хором, и он чуть ли не каждый день туда ходил. И дома он тоже часто и подолгу молился. Сколько он себя помнит, он всегда хотел быть



концертирующим пианистом, знал, что для этого надо очень много работать, хотя, в сущности, занятия ему давались легко; все, связанное с фортепиано, было для него наслаждением, даже ненавистные для других гаммы. Ему было двадцать лет, уже велись переговоры о контракте и настоящем гастрольном турне по югу России; и вот буквально за неделю до того, как Скрябин должен был ехать, он утром, сев за рояль, обнаружил, что играть больше не может: занимаясь, он переиграл левую руку, и она отказала. Это было крушением его жизни, и он тогда, не спеша все обдумав, возненавидел Бога и проклял Его. Через несколько месяцев рука восстановилась, но в его отношениях с Господом это уже ничего не изменило.

Вспомнив теперь тот рассказ, де Сталь подумала, что его восстание против Бога, его путь в революцию был на редкость прям и ограничен; если участие других она часто не понимала, считала случайным и, естественно, до конца доверять таким людям не могла, то со Скрябиным было наоборот. Ей вдруг стало ясно, что он надежнее и преданнее делу революции, чем даже она сама. Это было как бы переломным моментом, дальше воспоминания о Скрябине пошли чередой, и она, еще только систематизируя и выстраивая их, уже знала, что в конце концов получит цельное учение, то единственно верное учение, которое искали все они: и она, и Федоров, и Соловьев, и тысячи, тысячи других, а нашел он. Дважды мельком Скрябин говорил ей, что он — Божество, явившееся в мир и обреченное, как и Христос, пройти через немислимые муки, пожертвовать собой ради спасения человеческого рода. У него есть назначение: он пойдет на подвиг,

прекрасный, но тяжкий, отказаться от которого не в его власти. Он мессия рас, которые появляются в пограничных эрах при конце манвантары, чтобы совершить Мистерию и соединить человечество с Божеством, с мировым духом. Его предшественником, предтечей был Христос — нечто вроде малого будничного мессии. Твердо и спокойно он объяснил ей, что конец мира, время исполнения всех пророчеств близко, но начало конца зависит от него, Скрябина, и дата эта еще не назначена. Мистерия будет актом воссоединения с Единым отпавшего от Него и лежащего во множестве и раздроблении мира.

«Раньше, — говорил он, — я думал, что совершу все сам, то есть понадобится только моя жертва, но потом понял, что это не так или, возможно, не так. Дело в том, что моя личность отражена в миллионах других, как солнце в брызгах; чтобы получилась единая соборная личность, надо ее собрать, — в этом и есть назначение искусства, музыки. Я опишу все в новом Евангелии, которое теперь заменит старое, как Новый Завет некогда заменил Ветхий. Конец Вселенной будет грандиозным соитием, как человек во время полового акта в минуту оргазма теряет сознание и его организм во всех точках переживает блаженство, так и Богочеловек, переживая экстаз, наполнит Вселенную немислимимым счастьем и зажжет пожар. Мистерия будет последним праздником человечества. Ее центром станет грандиозная оргия, нечто вроде всемирного радения. Бесконечный танец, экстатический и предельный танец...»

Скрябин говорил, что «Мистерия» соединит поэзию, музыку; музыка будет главным: ведь она владеет вечнос-

тью и может заколдовать, даже остановить ее, ритм — это заклинание времени. Для записи «Мистерии» ему придется создать совершенно новый язык. Придется изобрести средства для записи танцев, запахов, вкусовых ощущений, движений, жестов и взоров тоже. Ведь малейшая неточность — и не будет гармонии. Закончится «Мистерия» воспроизведением гибели Вселенной, мирового пожара, и это образ вызовет действительную мировую катастрофу. Дальше — смерть человечества в Восставшем Боге, но как произойдет смерть, он сейчас сказать не может. Сначала ли будет акт воссоединения братьев во Отце или потом — он не знает. Скрябин не раз ей говорил, что вины на человеческом роде нет и никогда не было, он безгрешен и, что бы ни делал, все равно будет безгрешен. В мире вообще нет ни истины, ни блага, ни греха. Истина нами творится, и какая бы она ни была, она исключает то единственное, что в самом деле существует, в самом деле благо, — свободу. Весь мир, вся Вселенная — в нас, мы, а не Бог — единственные ее творцы, и когда мы остановимся, перестанем ее творить, она тут же погибнет. Физический мир, говорил он ей, только отблески нашего духа.

Однажды она спросила его, как он относится к социализму. Скрябин ответил ей, что когда-то был им очень увлечен, о социализме ему рассказывал Георгий Плеханов, который произвел на него настолько хорошее впечатление, что он даже думал примкнуть к социал-демократам, но потом понял, что система, построенная на равенстве, — это нелепость, абсурд: нет ни контрастов, ни различий, что ни есть — однотонно, линейно и бесконечно скучно. Творчество, которое все из взлетов и падений, просто не может

выжить при социализме; хотя действительно будет время, когда материализм на земле восторжествует, то есть мир на пути к Мистерии обязательно должен будет пройти через эпоху социализма, эпоху, когда материализация достигнет полной меры, но это будет короткий переходный этап, нечто вроде необходимого зла, миновать которое нельзя.

«Век социализма совсем краток, — повторил Скрябин, — он пройдет буквально молниеносно, в какие-нибудь несколько месяцев ужасных конвульсий и потрясений весь земной шар может стать социалистическим, да и не надо, чтобы весь, — где-нибудь будет царство социализма, и этого вполне достаточно, дальше дорога к Мистерии свободна».

Время торжества социализма будет очень пресным, духовные интересы тогда угаснут, не останется ничего, кроме страшной прозы машин, электричества и меркантильных интересов. Социализм будет паузой в войне между Германией и Россией, то есть и кроме них многие будут воевать, но это так, попугачики, война их просто захватит, втянет в свой круг, как танец; Германия в мире — это крайний материализм, полное забвение духа и немислимое превозношение плоти. Россия же сохранила остаток духовности. В этой войне Россия в конце концов победит, то есть победит духовность. Так что война будет благотворна, в этом нет сомнений.

«Но сейчас, — добавил он, — социализм, как, впрочем, и другие проекты переустройства мира, интересует меня мало, все идет к Мистерии, идет к концу, и только он может иметь значение».

У нее с ним был и еще один короткий разговор о войне. Дело было в «Метрополе», где они в то время обедали почти каждый день. Газеты тогда были полны сообщениями о волнениях в Китае, и он, прочитав в «Московских ведомостях» очень яркую корреспонденцию из Пекина, радостно и возбужденно сказал: «Там зашевелились, это пробуждение, настоящее пробуждение! Китай ведь огромная сила, не столько политическая сила — политически он слаб — сколько мистическая. Перед Мистерией должно быть всеобщее пробуждение, все раскроется и выйдет наружу, будет новое переселение народов, огромные войны, настоящая всеобщая мировая война. Сначала, я думаю, начнется в Европе, а потом перекинется в Азию, Африку... Войны, смерти не надо бояться; есть времена, когда убийство есть высшая добродетель, убиваемый испытывает тогда величайшее наслаждение, быть может, даже большее, чем его убийца. Война должна дать совершенно необыкновенные по силе и мощи чувства. Одна возможность убивать людей — ведь это нечто совсем особое, совсем редкое по яркости ощущение. Полезно иногда стряхнуть с себя путы, которые называются моралью. Мораль гораздо шире того, что мы под ней понимаем, вернее, ее просто нет. Что в одном состоянии — грех, в другом — поступок высшей нравственности. Сейчас как раз и наступает время, когда убивать станет нравственно. Кроме того, следует помнить, что наши войны и социальные потрясения — лишь отражение событий в астрале, так что корить себя, ужасаться творящемуся злу, каяться просто глупо».

Сталь тогда спросила его, не боится ли он, что если поднимется Азия и Африка, от европейской культуры мало

что останется, и он спокойно ответил, что, конечно, такое возможно, даже очень вероятно, но здесь нет ничего плохого: культура свое слово уже сказала. Кроме того, европейцы всегда убивали мистику культурой, на Востоке же все наоборот, так что пришествие варваров оттуда будет освобождением мистики. Истинный мистик вообще должен приветствовать войну: она — путь к преобразению, к экстазу. Нельзя забывать, что именно из великих потрясений, мирового пожара, мировой бойни и родится Мистерия, — это ее купель.

Их со Скрыбиным роман продолжался немногим больше месяца, он был человек на редкость открытый, не желал и явно не умел ничего скрывать, и у нее сложилось впечатление, что он очень одинок: единственные имена, которые он называл в разговоре с ней, были имена его дяди и тетки, воспитывавших Скрыбина чуть ли не с пеленок. Она была уверена, что мир вокруг него совсем пуст, и была до крайности удивлена, выяснив, что это не так.

\* \* \*

За неделю до разрыва Скрыбин пригласил ее к себе на квартиру — первый раз, когда она была у него, — на музыкальный вечер. Потом она узнала, что подобные домашние концерты он дает вполне регулярно — два раза в месяц, причем уже много лет для одних и тех же людей. В тот день он играл большой фрагмент из музыки, которая предназначалась им для «Мистерии», — тему колоколов; кажется, записан он никогда не был. Наблюдая, как гости его слушают, она поняла, что присутствует на собрании

некоей секты скрябининан. Все очень напоминало хлыстовские радения: они были опьянены и оглушены его музыкой, он играл в совершенно экстатическом состоянии, и в таком же экстатическом состоянии находились они. Медные, жуткие, какие-то роковые гармонии лились будто набат; человечество было уже приготовлено к страшному и радостному часу последнего воссоединения, и Скрябин прощался с ним.

Звуки, которые он извлекал из рояля, управляли этими людьми, словно марионетками. Любая его нота преображала их лица — мука, невысказанные страдания, страх мгновенно сменялись блаженством, чисто младенческой радостью и снова делались такими, как если бы перед ними разверзлась картина гибели целого мира. Вне всяких сомнений, он был для них Богом, они веровали в него, исповедовали его как Мессию, любой из них, стоило ему его познать, готов был воскликнуть: «Воистину ты — сын Божий», — и пойти за ним. Кончив играть, он откинулся, но руки его по-прежнему висели над клавишами; он что-то шептал, глядя на свои бегающие в воздухе пальцы, может быть, уговаривал их — сил остановить и унять руки у него явно не было.

Сталь вместе с другими заворуженно ждала, сумеет ли он с ними справиться, и тут Скрябин вдруг громко сказал: «Ах, почему нельзя сделать так, чтобы эти колокола звучали с неба! Да, они должны звучать с неба! Это будет призывный звон. На него, за ним человечество пойдет туда, где будет храм, — в Индию. Именно в Индию, потому что там колыбель человечества, оттуда человечество вышло, и там оно и завершит свой круг».

Позже, за вечерним чаем, когда гости разошлись и они остались вдвоем, он сказал ей: «Мне пора подготовляться. Я не знаю, где застигнет меня посвящение, наверное, мне надо ехать в Индию». И беспомощно добавил: «Ведь пора готовить и тех, кто будет на иерархической лестнице стоять у самого центра, кто ближе всех к прозрению». И тут она поняла, зачем он позвал ее. Скрыбин продолжал: «Я должен избрать себе апостолов, учеников, вот мне кажется, что они из тех, кто здесь был, из этого круга должны выйти, но я не уверен и хотел с тобой посоветоваться. Ты, по-моему, хорошо знаешь людей». Сталь спросила его тогда, в чем будут состоять приготовления человечества к Мистерии и что ляжет на плечи учеников.

«Понимаешь, — сказал он, — Мистерия есть воспоминание. Всякий человек должен будет вспомнить все, что он пережил с сотворения мира. Это в каждом из нас есть, в каждом из нас хранится, надо только научиться, суметь вызвать это переживание. Я уже пробовал: ты как бы возвращаешься в первичную неразделенность, соединяешься, сливаешься со всем, словно воды во время потопа. А дальше сначала ничего, это и впрямь будто потоп, целый год земля от края до края покрыта водами, нет ни гор, ни лесов, ни жизни, — одна вода, и не скажешь, где она начинается и где кончается. Евреи говорят, что Господь, когда клялся Ною, что впредь никогда не будет напускать воды на землю, Он в память об этом вычеркнул год потопа из дней от сотворения мира, что жизни тогда, кроме как на Ковчеге, не было, и здесь то же самое: все как бы вернулось назад и в мире снова нет ничего, кроме материи, женского начала, ее инертности и сопротивления. Но из нее-то



все и строится, на ней отпечатлевается творческий дух, и нам предстоит пережить это отпечатлевание, то есть как бы вторично пережить акт творения, затем всю историю человеческого рода, то есть все-все, что было за это время, пережить заново. В этом совместном переживании и должен родиться соборный дух. Я, — продолжил Скрыбин, — наметил все уже на нынешний год. Мне кажется, к мистерии готовы и ты, и Алексей Львович — ты, наверное, обратила на него внимание, он сидел справа от тебя, такой высокий, полный, затем доктор — это тот, который был с моноклем, у него еще на пальце большой перстень, правда, славный? Он меня знает дольше всех, я его очень люблю, и потом, он так хочет; четвертый — Иван Семенович, это тот, у которого черные вьющиеся волосы, он ко мне привязан как мамка, если я его не возьму, он будет огорчен; а вот насчет Сергея Львовича я сомневаюсь и хотел спросить твоего совета, Ты, наверное, заметила, что у него глаза все время бегают. Он тоже человек очень хороший, давно уже ко мне близок, одно время он был для меня как Иоанн возлюбленный для Христа, но я боюсь, что он участвовать в мистерии не сможет, для этого надо быть абсолютно психически здоровым человеком, иначе могут быть большие неприятности. А врачи говорят, что он серьезно болен, да он и сам часто жалуется».

Провожая ее, Скрыбин сказал: «Я тебя не тороплю, понимаю, что ты все должна обдумать, но чем быстрее ты решишь, тем, конечно, будет лучше».

Продолжения разговор их не имел, я уже сказал, что через неделю они расстались. По мере того, как у де Сталь крепло убеждение, что Скрыбин гениальный, что назы-

вается — от Бога, революционер, она чаще и чаще думала о возобновлении их отношений. Перспектива, что он снова делается ее любовником, ее скорее пугала, она знала, что виновата перед ним, и все равно считала, что на этой связи поставлена точка. Виды, которые она имела на Скрябина, были другие. Примкнув к большевикам, с каждым днем втягиваясь в работу под руководством Ленина, она практически забросила федоровцев и только наблюдала со стороны, как эта партия хиреет день ото дня, вот-вот совсем прекратит свое существование. К тому времени она уже испробовала множество путей помочь и, в частности, говорила несколько раз об их судьбе с Лениным; она предлагала или слить две партии, или чтобы федоровцы вошли в состав большевиков как автономное образование, причем обещала полностью взять на себя финансирование будущего союза. В их последний разговор Ленин, прежде колебавшийся, наотрез ей отказал, хотя денег у него тогда не было ни гроша. Резон, который он привел, был основателен — она не могла это не признать. Он сказал ей, что навел справки и считает, что федоровцы непоправимо больны, вылечить их не сможет никто, наоборот, всякий, вступивший с ними в союз, рискует заболеть сам.

Все-таки ее не покидала вера, что партия Федорова — Соловьева еще возродится; другие варианты были испробованы, и единственная надежда, которая у нее оставалась, — Скрябин со своей сектой; в общем, она сумела себя убедить, что это та новая кровь, которая вернет партию к жизни. Эти планы были абстракцией больше года, в том же духе дело могло тянуться и дальше, написать ему, по-

звонить ей было очень трудно, и все, как бывает, решил случай.

Старый приятель, барон Грюнау, повел ее на концерт, в первом отделении которого должна была играть скрябиновская Девятая симфония, она ее уже один раз слышала, причем дирижировал сам Скрябин, и тогда осталась в немалом восторге; в антракте, разглядывая в бинокль публику, — Грюнау в этом театре арендовал ложу, — она в партере заметила лицо Скрябина и, не особенно раздумывая послала ему теплую, но ни к чему не обязывающую записку с благодарностью за доставленное удовольствие и предложением ее навестить. Скрябин откликнулся на следующий день, он явно был рад ее приглашению, даже не думал это скрывать, сказал, что придет в ближайшую пятницу и, если она хочет, готов играть для ее гостей хоть до ужина. В те годы его известность в России была весьма велика, де Сталь сполна оценила любезность, и, может быть, поэтому была так поражена, когда у нее в доме федоровцы, слушавшие два часа музыку Скрябина, затем вдруг издевательски высмеяли его. Но еще больше она была поражена, когда на следующий день Владимир Соловьев, Иоанн Кронштадтский и Драгомиров, не обратив на вчерашнюю сцену никакого внимания, единогласно предложили Скрябину возглавить федоровцев, стать их вождем.

Из них троих она впоследствии, и то не часто, общалась лишь с Драгомировым и однажды, было это уже много лет спустя и, как теперь говорят, представляло лишь исторический интерес, спросила его, почему их выбор пал тогда именно на Скрябина. Драгомиров, удивившись ее вопросу, сказал, словно само собой разумеющееся, что они,

бывая на концертах, всегда потрясались могучим симфоническим даром Скрябина, его умением до последней ноты, до последней детали расписать партии десятков разных инструментов, так что в итоге их голоса сливались в нечто совершенно единое и цельное, причем все было настолько закончено, отделано, что даже не понятно, как можно разделить и сломать это добровольное согласие. Он, Драгомиров, например, не мог после скрябиновской Первой симфонии слушать во втором отделении сольный скрипичный концерт, у него все время было ощущение, что другие инструменты погибли, уцелела одна скрипка, которая теперь рыдает и молит о спасении. В связи с этим они давно рассматривали кандидатуру Скрябина, считая, что у него есть хорошие данные, чтобы стать руководителем партии. А потом они раз оказались на премьерном исполнении Третьей симфонии Скрябина, причем дирижировал он сам, и еще больше были потрясены тем воодушевлением, даже восторгом, с каким флейта или там гобой играют свои совсем мизерные партии под его управлением; он был их настоящим вождем, был их Богом: куда бы он ни позвал их, что бы ни приказал делать, они не задумываясь исполнили бы все.

Впрочем, надежды на Скрябина, которые питали и де Сталь, и прежнее руководство партии, оправдались лишь отчасти. Внешне жизнь федоровцев с его приходом изменилась мало. По-прежнему вся конкретная подготовка к Мистерии велась Скрябиным внутри секты. Федоровцы же остались на периферии его интересов, достаточно сказать, что ни один из них в узкую группу ближайших учеников Скрябина так и не был введен. Тем не менее разложе-

ние партии, без сомнения, остановилось, кончились давно раздражавшие де Сталь жалобы, что борьба напрасна и жизнь прожита зря; наоборот, в каждом теперь было ощущение причастности к чему-то, возможно, решающему для судеб мироздания. Никто из них не сомневался в верности пути, избранного Скрябиным. Раньше они были склонны обвинять в неудачах партии кого угодно, только не себя, теперь же поняли, что причина их второстепенного положения одна: они еще плохо, несравненно хуже, чем старые ученики Скрябина, знают и понимают его музыку. Они пытались догнать время, для них, например, сделалось нормой не пропускать ни одного концерта, где исполнялся Скрябин, и это касалось не только Москвы: в полном составе они сопровождали его и в гастрольных поездках. Так что, несмотря на отсутствие каких бы то ни было внешних результатов (теракты, забастовки, митинги, демонстрации), культ Скрябина среди федоровцев разрастался, они буквально соревновались с его ближайшими учениками в любви и преданности учителю.

Все это де Сталь, однако, могла наблюдать лишь со стороны, предвоенные годы очень изменили ее жизнь; выполняя различные поручения большевиков, она если и бывала в Москве, то редкими и довольно короткими наездами. Отношения со Скрябиным у нее оставались теплыми, по мере надобности они переписывались, однако эти послания по большей части были связаны с интересами их партий и лишены сантиментов. Правда, иногда живые нотки в них проскальзывали. Так, в четырнадцатом году, когда до нее — она была в то время в Сток-

гольме — из России стали доходить настойчивые слухи, что Скрыбин, несмотря на пошатнувшееся здоровье, собирается идти на фронт, она написала ему длинное путаное письмо, умоляя, заклиная не делать этого. Ответил он ей быстро и совершенно восторженным посланием: война началась, писал он, и путь к Мистерии открыт, день, который и он и человечество ждали тысячелетия, наступил. Он не понимает ее грусти, не понимает, как она может не видеть, что это час радости и торжества, час ликования и веселья. Дальше он очень подробно рассказывал ей о своем новом друге Николаеве — де Сталь слышала о нем впервые — который был мобилизован два месяца назад и теперь пишет, что просто упивается войной, кровью, впервые он живет настоящей, яркой, полной красок жизнью, все в нем открылось и освободилось, все чувства обострены, даже исступленны, и он наконец понял, что есть он — человек. В приписке Скрыбин сообщал ей, что и сам бы с радостью пошел на войну, но здесь, в тылу, может сделать куда больше, так что ее тревоги за него безосновательны. «У меня, — заключал он письмо, — припасено немало своих сорокадюймовых снарядов, только совсем иного рода».

Через три месяца на тот же стокгольмский адрес пришли с небольшим интервалом еще два его письма (второе — из Швейцарии, которое она прочитала лишь в шестнадцатом году, когда Скрыбина год как не было в живых). В первом письме он говорил ей, что скоро уезжает в Швейцарию — последний клочок мира, зажатый между двумя вступившими в решающую схватку блоками, — и дальше: человечество уже готово принять ту бла-

гую весть, которую он ему несет, и он решил начать свою проповедь, свой крестный путь именно в Швейцарии. Оттуда он будет услышан всеми. Второе письмо, отправленное Скрябиным из Женевы на десятый день пребывания там, было очень странным. В нем он писал де Сталь: «Клянусь тебе, если бы я сейчас убедился, что есть кто-то другой, кто больше меня и может создать такую радость на земле, какую я не в силах дать, я бы тотчас отошел и уступил ему место, но сам, конечно, перестал бы жить».

«Алеша, — продолжал Ифраимов после полученного и выпитого нами вечернего кефира, — вот здесь и начинается то основное, что было сделано Трогау, и били его по преимуществу тоже именно за эту часть исследования, хотя чиновникам из отдела агитации и пропаганды партии работа не понравилась вся. Суть в том, Алеша, что Скрябин всегда был окружен людьми, всегда достаточно с ними открытен, и жизнь, которую он прожил, сравнительно хорошо документирована и известна его биографам, но эти десять женевских дней — полная загадка. Что произошло с ним тогда, какой кризис он пережил, что понял — все в темноте. Из послания при первом прочтении можно сделать вывод, что он впервые усомнился в том, что призван, что он Мессия, и последующие события, похоже, это подтверждают, но с чем была связана утрата веры в свое предназначение — совершенно не ясно. Правда, стараниями Трогау внешнюю канву событий — где и как жил Скрябин в Женеве, а надо сказать, жил он странно, — в общих чертах удалось восстановить; однако, я думаю, главное — то, что происходило в душе Скрябина, — так никогда и не

станет известно. Пожалуй, это к лучшему: есть вещи для человека настолько тяжелые, что они должны уйти в могилу вместе с ним.

\* \* \*

Известно, что в четырнадцатом году в Женеве одновременно со Скрыбиным проживало очень много политэмигрантов из России, по большей части социал-демократов, но были и другие; в прежние годы разбросанные чуть ли не по всем европейским странам, они с началом войны собрались в нейтральной и мирной Швейцарии. Здесь, пытаясь согласовать общую позицию, русские социалисты вели бесконечные дискуссии, совещания, переговоры с социалистами прочих европейских держав о том, как относиться к войне, что и как делать и, самое важное, что за этой войной воспоследует. За своими подопечными в Швейцарию переехали и сотни агентов полиции. Правительства воюющих стран равно были обеспокоены общей социалистической активностью, слежка велась постоянно, и Ленин с Зиновьевым, кажется, впервые, — потом их идею позаимствовали остальные, — когда им надо было обсудить что-нибудь особо секретное, нанимали на лодочной станции шлюпку и, отплыв на сотню метров от берега, чувствовали себя в полной безопасности. Изредка, словно дразня шпикиов, они забрасывали в воду удочки, но, если верить фольклору, за четыре года войны не поймали ни одной рыбешки.

Частый наем лодок был, конечно, дорогим делом, но с точки зрения конспирации он полностью оправдался. Во



время одного из таких озерных совещаний они увлеклись разговором и не заметили, как течение подогнало лодку совсем близко к берегу; очнуться их заставил голос хорошо одетого господина, стоящего неведомо зачем по колесу в ледяной ноябрьской воде и что-то им кричащего. Зиновьев, который всегда был трусоват, вообразил, что затевается провокация, дабы был повод выслать их из страны, но Ленина этот человек по неизвестной причине заинтересовал. Незнакомец говорил до крайности страстно, хотя по большей части бессвязно. Кроме того, он, очевидно, принимая Ленина и Зиновьева за немцев, старался говорить с ними по-немецки, однако язык знал плохо, и понять его было очень и очень трудно. Возможно, Ленин был заинтригован тем, что слова, которые выкрикивал незнакомец — мировая война, бойня, гибель старого мира, революция, социализм, конец света, — были ровно те же, какими минуту назад они обменивались с Зиновьевым, но так неожиданно повернуты, что это не могло его не позабавить. Труднее понять, почему Скрябин, а незнакомец был именно он, выбрал столь необычное место и способ, чтобы открыться людям. Я думаю, что на него повлияли параллели между собственной судьбой и судьбой Христа, их и он сам, и его ученики подчеркивали давно и с большой настойчивостью, — в частности, то, что родился он в день Рождества Христова. Этими параллелями он был подготовлен, а дальше все, должно быть, произошло совершенно спонтанно: он гулял по берегу озера, увидел в лодке Ленина с Зиновьевым и, решив, что это швейцарские рыбаки, стал им проповедовать, как Христос рыбакам галилейским.

Хотя мне представляется, что это лишь половина правды, важнее, по-моему, то, что Скрябину — апостолу и пророку нового мира — изначально было открыто куда больше, чем обыкновенным людям. Всю жизнь, с первого дня своего появления на свет он был ведом высшей силой. Эта сила и побудила его уехать из воюющей России сюда, в тихую нейтральную Швейцарию, где на берегу удивительно красивого Женевского озера он, как Иоанн Креститель — Христа, должен был найти и благословить Ленина.

Убедившись, что Ленин и Зиновьев его слушают, Скрябин, продолжая говорить, все так же по воде направился к лодочной станции, и Зиновьеву, сидевшему на веслах, поскольку пути их совпали, не осталось ничего другого, как грести вслед за ним. На причале он, однако, этой историей до крайности обеспокоенный, немедленно распрощался; Ленин же, наоборот, вызвался проводить Скрябина до его дома на Рю-де-Плесси. Здесь он получил визитную карточку Скрябина вместе с предложением навестить его завтра после обеда. Ленин принял приглашение, и с этого числа они виделись со Скрябиным каждый день ровно четыре недели, проводя вдвоем время от обеда до глубокой ночи. Последнее подтверждено многими источниками, в частности, хранящимися в Музее Революции воспоминаниями хозяйки дома, в котором Скрябин нанимал комнату, — мадам Труа. Она пишет, что в комнате господина Скрябина по его просьбе был поставлен рояль, взятый ею напрокат в фирме Штутцера, и на этом рояле господин Скрябин до середины ночи играл весьма странную музыку для другого господина, который, как она определила по фотографиям,

публикуемым в швейцарских газетах, ныне является главой русского коммунистического государства. Возможно, продолжает мадам Труа, она бы и не обратила внимания на постояльца и его гостей, поскольку ей не свойственно лезть в чужие дела, но соседи господина Скрябина все время жаловались, что его игра не дает им спать; в связи с чем она в конце концов, несмотря на то, что господин Скрябин хорошо и аккуратно платил, была вынуждена ему отказать.

В этом свидетельстве квартирной хозяйки лишь на первый взгляд нет ничего необычного, однако если мы вспомним, как болезненно Ленин воспринимал всегда любые попытки оторвать его от работы, как он экономил буквально каждую минуту, чтобы отдать их на писание статей и больших теоретических трудов, а с другой стороны, отметим, что, по свидетельству людей, близких Ленину, он не слушал и не понимал современной ему музыки — любимым его композитором всю жизнь был Бетховен, которого, кстати, Скрябин не переносил и вообще не считал его за композитора, — то вывод напрашивается сам: у Ленина должны были быть веские основания, чтобы так резко изменить образ жизни.

Придя к данному заключению, Труау предположил, что Скрябин весь тот месяц играл Ленину музыку из своей «Мистерии» и давал подробнейшие комментарии и объяснения — как, где и когда она должна быть поставлена. Судьба скрябинской «Мистерии» очень загадочна: известно, что он писал ее много лет, а с другой стороны, специалистам, занимающимся его творчеством, не известна запись ни одного фрагмента из нее. Друзья Скрябина в один голос утверждают, что он играл кусок из «Мистерии» лишь

раз, за десять лет до смерти, те самые «Колокола», впрочем, и «Колокола» записаны не были. Результаты же остальной работы исчезли и вовсе без следа. Что же заставило Скрябина именно Ленина выбрать для первого прослушивания «Мистерии», отказав в этом праве своим ближайшим почитателям? Объяснение, считал Трогау, здесь может быть только одно — Скрябину дано было знать, что он не получит благословения стать мессией; намеренья высших сил изменились, их выбор теперь остановился на Ленине. Ленин и поведет народы земли ко всеобщей гибели, дабы потом они, очищенные огнем и смертью, могли воскреснуть и возродиться вновь. Скрябину было сказано, что откровение, давшее ему возможность заглянуть в самые глубины бытия и написать «Мистерию», не было ложным — все случится точно так, как написано у него, однако сейчас роль его окончена, ему надлежит передать «Мистерию» Ленину, который и явится ее постановщиком.

Следующим шагом Трогау было его предположение, что в ленинских рукописях, начиная с конца 1914 года, возможно, в неопубликованных, должны были остаться те или иные следы скрябиновской «Мистерии», однако долго ему не удавалось ничего обнаружить. Лишь в 1927 году, совсем по другому поводу разговаривая с Надеждой Константиновной Крупской, он вдруг услышал от нее, что у Ленина была своя собственная система, причем очень хитроумная, стенографической записи, которая позволяла не только чрезвычайно быстро записывать слышанное, но и одновременно его шифровать. Ключ к шифру Ленин скрывал и от нее, очевидно опасаясь, что при определенных

условиях, например если ее будут пытаться, она может не выдержать и расколоться. Возможно, не будь у Трогау почти мистической уверенности в том, что Ленин записал «Мистерию» Скрыбина, он бы и вовсе не взялся за решение этой задачи.

Как-то, смеясь, он говорил нам, — сказал Ифраимов, — что две вещи похоронили последние его сомнения на сей счет: слова Ленина, что революция — это искусство, и слова противников Ленина, говоривших, что он разыграл революцию как по нотам. Расшифровка кода заняла у Трогау четыре года напряженнейшей работы, причем первые же попытки применения полученных результатов показали, что вся знаменитая ленинская работа «Государство и революция» есть не что иное, как тщательнейшая запись одной из главных тем «Мистерии», более того, выборочные расшифровки других ленинских работ дали схожую картину, так что есть основания полагать, что поздние работы Ленина, вплоть до написанной на смертном одре статьи «О кооперации» и «Письма к вождям» — политического завещания Ленина, на самом деле тоже являются частями зашифрованной партитуры «Мистерии».

Работа Трогау, как я уже вам говорил, — продолжал Ифраимов, — была прервана в начале, тем не менее два переведенных им фрагмента: один — вступления, другой — главной темы, не были изъяты при обыске и чудом сохранились. Сегодня я их захватил, и, возможно, они будут вам полезны».

Он отдал их мне, и здесь, в своем «Синодике», я привожу трогауский перевод ленинской стенограммы без всяких изменений.

\* \* \*

«Запахи — совершенно равноправная составляющая партитуры Скрябина, иногда в отдельных ее частях они даже выходят на первый план, оттесняя и световые эффекты и собственно музыку. Звуки медленно остывают, холодеют. «Мистерия» вся соткана из смертей, и агонии выписаны Скрябиным с почти медицинской дотошностью; бывает, что это ложный конец, тема длится, длится, все в ней уже измучено, искривлено, все вызывает у нее боль, но это еще не агония, идет долгая борьба со смертью, весы колеблются, а потом тема вновь поднимается; он играет ее мощнее, мощнее, и это как с человеком. Человек может вытерпеть многое, кажется, что человек вообще может вытерпеть все, и в этом, в том, что человек может вытерпеть все, что для него нет предела ни в грязи, ни в мерзости, ни в подлости, ни в страданиях, ни в унижениях, ни в зле, — апофеоз и торжество жизни, по Скрябину.

Однако проходные темы, как правило, слабые и мелодичные, умирают у него все время, они не выдерживают и тихо, как старушки, приготовившись и оплавав себя, уходят, и вот всегда, когда вслед за смертью темы Скрябин, как бы хороня ее, провожая в последний путь, почти до тишины приглушает звуки, — вступают запахи, это их время. Запахи тогда буквально буйствуют. Впрочем, в начальных аккордах, там, где речь идет о Петербурге, и в запахах много слабости и умирания. Скрябин соединяет их чрезвычайно прихотливо, о гармонии речи здесь нет, любимый его прием — смешать запахи великосветского салона, духов, цветов с запахами бойни или помойки. Если в музыке

законы гармонии остаются для него все же важными и мелодии, то прерываясь, то снова возникая, тянутся почти до конца «Мистерии», то запахи — это какофония, это прямое отрицание, убийство, заклятие гармонии; он ненавидит их, словно астматик; если он где и безумен, то в том, как он обращается с запахами. Надо подчеркнуть, что, несмотря на эту мешанину, палитра запахов у него очень резка, она буквально бьет, запахи в любой смеси утрированно чисты и не связаны с другими, не замутнены. Они никогда не составят пусть самого поганого букета, они только не дают друг другу жить, только глумятся друг над другом. Из-за этого, когда снова, всегда очень тихо, как бы из ничего, среди этого бреда возникает музыка, она, какой бы трагичной ни была тема, звучит смягченно, подчеркнута мелодично, принося успокоение и умиротворение. В музыке, несмотря на свое новаторство, Скрябин, вне всяких сомнений, остается в рамках традиции, хотя и очень широкой и свободной; в запахах он отрицает не только традицию, но и вообще культуру. Это разрушение и отрицание всего, в первую очередь организованных, сотворенных человеком букетов, будь то сыр или духи. Тем не менее в той какофонии запахов, которая пронизывает скрябиновскую партитуру, достаточно хорошо различимы две переплетающиеся темы: город в петербургском своем обличье и юг России — начало движения Мистерии в Индию. Сами эти темы даны в явной длительности; и по ним, по запахам, как ни странно, даже легче, чем по музыке, можно понять, как представлял себе ход Мистерии Скрябин.

Петербург: война и постепенное ослабление, умирание запахов нормальной, ухоженной жизни, кондитерских, ре-

сторанов, булочных, где все — кто, как и где должен пахнуть, давно определено и привычно; их замещение запахами мужчин, занимающихся своей исконной военной работой, уходящих на фронт, потом, после госпиталя, ненадолго возвращающихся домой и снова уходящих; искусственными запахами лазарета: йод, спирт, карболка, разные мази — смешано это с запахом заживо гниющего тела, кала, мочи, обильного и густого пота раненых и умирающих; запах отчаянной и безнадежной борьбы за жизнь, запах твоего тела, которое, как мясо, режут на куски, стол, где тебя разделяют, твоя часть — рука или нога — уже труп, а ты зацепился за жизнь. Пот смертельной усталости и смертельной работы. И еще: запах свежестырированных бинтов, которые в этом мире заменяют свежестырированное белье, запах гниющей раны и только что наложенных на рану белых, пропитанных лекарствами, бинтов. И все-таки сильнее всего трупный запах, он все время сильнее; и в том, что от него невозможно избавиться, в том, что он окончательный, конечный запах человека, — и есть конец жизни.

Эта тема лазарета очень длинная, почти нарочито длинная, и вдруг, когда этого никто не ждет, вот здесь, Владимир Ильич, смотрите, — новая тема, с первых же тактов — полное ликование, фейерверк, все веселятся, танцуют, царя свергли, и все дальше прекрасно и безоблачно, все ко всем добры, все захлебываются и потеряли голову, все всех любят, и нет никаких сомнений. Ушли горести и печали, — вот здесь тема печали как бы проскальзывает, но тут же уходит и забывается, — так, мелькнуло и сразу ушло, и снова все беззаботны, все в эйфории; это революция, первые дни: они боялись, были в ужасе, а оказалось легко и



просто, и даже никого или совсем мало погибших, и это как французы, танцующие на месте, где была Бастилия. Вот здесь танцевальные мелодии, а вслед взрывы фейерверка, как бы пародия, веселая пародия на военные взрывы, тогда ведь идет война, и люди вздрагивают, что это война, и боятся, и тут же понимают, что это хлопушка, и еще больше веселятся, поэтому сразу после хлопушек такой всплеск веселья, и музыка еще громче, хотя и кажется, что оркестр на пределе и громче уже нельзя. И запахи тоже будто из прошлой жизни: пахнет хорошей кухней и рыночным изобилием, обжоркой и рестораном, духами, шампанским, тонкими соусами — как всплеск жизни перед смертью. Корица, ладан, кардамон, особенно густой и приторный запах благодарственных служб в храмах, — и сразу будто ты вышел наружу, на мороз. Кажется, завтра война кончится, все верят и полны надежды.

Город постепенно просыпается, начинают работать фабрики и заводы, здесь все очень ритмизовано, все движется как машина, четко, слаженно, почти никаких посторонних звуков, и здесь, в этих ритмах, — огромная сила, сила, которая, кажется, может все; торжество материализма — духа здесь почти нет совсем, он и не нужен, он только мешает, вот здесь он несколько раз как бы случайно появляется и везде звучит диссонансом, он здесь лишний и сам уходит, потому что сейчас не его время. Но скоро будет его.

Дальше праздник кончается: голод, холод, видите, музыка совсем тихая и медленная, такая, как ходят люди, когда им холодно и голодно, когда они берегут свое тепло и силы тоже берегут. Но никто ни на кого не сердится, все этого

сами хотели. Снова медленное ослабление жизни и умирание старых запахов; сначала исчезают редкие и изощренные, но еще прежде они уже стали тебе чужими, и ты как бы рад, что их больше нет, за ними уходят совсем обычные запахи, но тоже медленно и постепенно, так что почти и не замечаешь, — не уход, а приглушение. По-иному начинают пахнуть женщины, нет дров, горячей воды, мыться все труднее, но духи, румяна и пудра еще в изобилии; стремясь забить запахи собственного тела, ощущение нечистоты, их теперь кладут куда гуще, чем раньше, но духи и пот только усиливают, подчеркивают друг друга, и женщины начинают пахнуть, как бабы. Запахи соединены так резко и вульгарно, что женщины все больше походят на так же раньше пахнувших проституток, и мужчинам это нравится, они чувствуют этот запах, он возбуждает их; женщинам это передается, и они уже хотят пахнуть, как бабы, хотят чувствовать себя бабами, быть бабами, хотят, чтобы их любили и брали, как баб, — это отказ от культуры, от всех условностей, правил, этикета, как бы назад к природе, и поиск в себе и доли, и смысла, и своей судьбы, — эта тема останется до конца, будет только усиливаться и развиваться.

В домах все меньше тепла, совсем недавно отовсюду еще шел этот теплый дух: так пахли не только печи, очаги, каминны или лампы, — нет, он шел и от стен, и от мебели, и люди тоже пахли теплом, какие-то запахи тепло пробуждало, но это было так везде и одинаково, что все к этому привыкли и, не умея разделить, так и говорили: запахло теплом. Теперь, когда тепла осталось мало, но все-таки в домах пока еще теплее, чем на улице, все, что есть в квартире, начинает несильно, но явственно пахнуть по-друго-

му. Особенно дерево, а из дерева — то, что ближе к земле, — скрипящие от сырости половицы. Если раньше запахи пробуждало тепло, то теперь сырость. Отсюда запахи прелости, старости, непроточной воды, запах гниения и лилий. Тепло раньше оттесняло все неродное себе в подпол, за обои, за окна и стены, теперь оно возвращается в дом, и только около буржуйки пахнет по-старому; комната разделена этими старыми и новыми запахами, и ты по многу раз в день переходишь из одного мира в другой, ты как бы все время уходишь из дома и возвращаешься обратно, ты хочешь быть дома, никуда не идти, но ты уже странник, перекати-поле, и в этом вся твоя судьба.

Граница тепла текуча, легка, это не стены дома, которые могли бы тебя удержать. Пока мужчины недавно с фронта, им легче, и они мало замечают перемену. Потом запахов становится меньше, уходит очень сильный запах гниения, редее, растворяется, и ты начинаешь слышать слабое старушечье тление. Отбросов почти нет, месяц или два назад, когда городские службы день за днем бастовали и мусор не убирала, все пахло гнильем, теперь город как бы сам собой очищается, все идет в дело, все очень чисто и холодно. Уходит живое, почти нет лошадиного навоза, пахнущего особенно остро зимой на фоне снега. В прихожих не пахнет улицей, двери держатся на запоре, люди выходят редко, идут медленно, по большей же части, сберегая тепло, лежат в постели. Ты еще жив, еще не замерз, в городе культ своих живых запахов, культ теплой жаркой одежды, хранящей их вместе с теплом.

Запахи черного хода и парадного теперь мало отличимы, женщины уже откровенно пахнут природными запа-

хами и не пытаются их скрыть, в этот мир только иногда странным напоминанием врывается или кусок швейцарского сыра, или бутылка хорошего вина, которую долго смакуют и плачут. До этого, когда громили царские подвалы, был взрыв, апофеоз ароматов вин, по городу текли розовые ручьи, растапливая снег и вымывая прошлогоднюю грязь, безумная мешанина вин со всей Европы, текущая по городским улицам, затекающая в подворотни, дворы и подвалы; посреди зимы — лето, порт, море и вино, и все ходят пьяные. Неведомо где добытая бутылка — память об этом.

Потом слабеют и природные запахи, чтобы продлить жизнь, люди сберегают их в себе, почти не потеют и не пахнут, перед смертью они высыхают будто мумии. Города теперь вообще меньше, чем раньше, в самом центре холодно, свежо и пахнет лесом, не дымят ни заводские, ни фабричные трубы; городское тепло, вытеснявшее раньше за заставу чужие запахи, сошло на нет, как и тепло человеческое, и окружающий мир с морем, тем же лесом, текучей и стоячей водой шаг за шагом возвращает себе город.

В домах на место дорогих платьев, давно выменянных на хлеб и картошку, из комодов достаются старые, пахнущие нафталином одежды, и этим запахом, сильным и резким, долго пахнет все, даже еда, но и он уходит вместе с вещами. Дальше город будет пахнуть лишь сыростью и запустением, одними разбухшими от влаги и оттого скрипящими половицами, и этот запах лежащего на камне дерева будет самым долгим.

Юг России. Такое же вытеснение горячих и нечистых фабричных запахов и возвращение в город запаха степи,

острого запаха полыни; он все крепче, потому что многие поля не засеваются, земля лежит впусе, здесь тоже отказ от культуры — сельскохозяйственной — и возвращение к тому, что было прежде, еще до людей. Занятые насилием друг над другом, люди забывают о природе, и она поднимается. Даже когда во время боя загорается лес или поле с созревшей пшеницей, природой это воспринимается как ее часть, как стихия; разрыв снаряда так же резок и мимолетен, как молния, здесь нет системы, нет планомерного методического уничтожения, и деревья, принимая пожар как судьбу, не ропщут.

Надо сказать, что временами у Скрыбина случаются совпадения начала и конца — тихое умирание или взрыв перед смертью — двух рядов: музыкального и запахов, но и здесь им подчеркнуто, что в одном жизнь подчинена, хотя и не ясно выраженной, гармонии, в другом ряду — дисгармонии.

Снова юг; это уже, кажется, гражданская война. Отступающие и наступающие части то и дело меняются местами. Наступающие спокойные, уверенные: охотничий азарт погони. Отступающие пахнут потом загнанных, преследуемых по пятам зверей, дичи. Они выдыхаются и принимают смерть, как жертва, отданная на заклятие, как милосердие и освобождение от смертной усталости. Вернулась первобытная жизнь: грехопадение было совсем недавно и еще не забыто. Времена Нимврода, а может быть, еще раньше: биваки, стоянки и привалы, охотничьи подвиги, сила, ум, хитрость и удачливость; они неутомимы в любви, освобождены от условностей и субординации, от всех старых порядков; к власти теперь приходят мгновенно, при-

ходят те, кто ее действительно достоин, кто пахнет силой и может сам, своей рукой доказать, что он ее достоин.

Это жизнь свободная и прекрасная, с ночевками в поле, с купанием лошадей, с костром, с привычностью смерти и едой, которая вся — охотничий трофей, вся — добыча. Ты снова тот, кто есть на самом деле, и вот за эту жизнь, за это счастье, за эту свободу и волю одна часть народа, как агнца, приносит в жертву Богу другую и верует, что она — Авель и ее жертва угодна Богу. И вся земля, вся степь — алтарь, и полынный запах степи — приправа, пряность; одна часть народа ведет на заклание другую, и запах жертвы — благоухание жертвы, принесенной с верой в правду и справедливость, со всегдашней готовностью поднимается в небо. Это возвращение к язычеству: враг приносится в жертву, и Бог обоняет запах торжества и победы».

Второй фрагмент — расшифровка части третьей главы «Государства и революции» — «Парижская коммуна как первый опыт диктатуры пролетариата»:

«Слушайте, Ленин, слушайте внимательно. Вот первые такты, здесь много неуверенности, ритм все время сбивается, люди бросаются то туда, то сюда, рыскают, ищут, то и дело слышны ликующие звуки — нашли, но снова оказывается не то, слабые быстро сдаются, очень быстро, они ничего не понимают, отчаялись, бросили бороться; вот тут, слушайте, звуки как бы перепутались, и все больше в них апатии, но сильные... сильные, — нет, вот снова совсем мажорно — сильных так просто не остановишь. Чего же им надо, Ленин? Чего они не могут найти? Мистерия — это грандиозный сексуальный акт,

грандиозное соитие; аморфное, ничем и никогда не оформленное женское начало должно быть оплодотворено сильным и цельным мужским началом, этот акт оплодотворения и есть Мистерия; Мистерия — это новое рождение Вселенной. Пройдя через смерть, перестав быть чем бы то ни было, растворившись в этом бескрайнем женском начале, человечество, как и весь мир, возродится вновь, на этот раз для вечной и прекрасной жизни. Вот музыка этой жизни. Смотрите, Ленин, какие лучезарные, какие светлые гармонии! Женское начало — это Россия, огромная, бескрайняя страна, бессмысленная равнина, в которой нет ничего, кроме инертности и сопротивления; но где мужское начало, которое ее оплодотворит, тот творческий дух, который отпечатается на ней и от которого она зачнет, где он?

Сильные ищут сильного, я тоже долго его искал. Вы, Ленин, наверное, думаете, что это революция, что Россия понесет от революции, но нет, Ленин, это не так, не так. Да, вы правы, Россия уже беременна революцией, то есть уже зачала; революция — любимое, самое любимое ее дитя, значит, творческий дух уже начал отпечатываться, но кто он? Революция — именно дитя, сама она может очень мало, правда, она быстро, совсем быстро делается женщиной, красивой, решительной, экзальтированной, страстной, но женщиной; женщиной, которая временами будет вести себя как мужчина, но все равно это женщина, и, как ее товарки, она быстро выдыхается, устает и уже не может, не хочет ничего нового. И власть тоже женщина...

Я, Ленин, все перебирал и перебирал эти слова, все играл их для себя, и среди них мужским началом был только

бунт, но бунт краток, быстротечен и суматошен, с женщиной он совладать не в силах, он никогда не успевает отпечататься на России. И тонет, исчезает в ней без следа. Я долго его искал, это мужское естество, долго, очень долго и все-таки нашел, слышите, Ленин, нашел его! Это террор; он и есть терзающее, распинаящее начало, неутомимое, вездесущее, сексуальное, которое я искал. Палач и жертва, их соединение, их связь чисто эротическая, смотрите, как строится террор: то безумная жестокость, то более мягко, и палач сегодня садист, а завтра снисходителен, полон сочувствия и понимания, и счастье, когда тебя не бьют, когда дают передышку; и надежда, и любовь, и чисто женская убежденность, что все правильно: палач на все имеет право, и, в первую очередь, право пытать, и нет большего греха, чем усомниться в этом. И всегдашнее желание оправдать, и вера тем сильнее, чем больше жестокости, и, значит, жестокость — во благо; вера, что террор может все, что он — главное средство, главное орудие в строительстве всего светлого и высокого, вера, что без него не может быть ничего, террор воистину и есть тот творческий дух, и самое важное — глубочайший мистический эротизм и сексуальность террора, ведь он даже приходит под маской женщины — революции, в ее одеждах и уже во время акта — превращение из женщины в мужчину — тут особый эротизм. И такая же мистическая неразрывная связь палача и жертвы, невозможность, неполнота их одного без другого, их неразделимость, их слитность и слиянность, как во Христе — человек и Бог.

Только террор, только он заслуживает чистой и верной любви, только он может заслонить, заставить забыть все



другое, что было в твоей жизни, и Россия станет его, отдастся ему безоглядно и беззаветно. Террор захватывает человека, подминает его целиком, ни о чем невозможно думать кроме как о нем, только он и страх: каждый день могут войти и взять, и ты только об этом и думаешь и все время ждешь — и днем и ночью, — вздрагиваешь от каждого шороха, скрипа, от каждого неосторожного слова или намека, а когда вдруг террор ослабевает, он кажется тебе таким мягким и нежным, таким добрым и великодушным! Ты думал о нем плохо, а он лучше и мягче, кто же ты теперь, если не негодяй и подонок?

Потом, когда эта мягкая ласка террора снова сменяется еще большей жестокостью, ты в себе, а не в нем, только в себе ищешь вину и знаешь, что она только в тебе, и все справедливо и оправданно, ты полон раскаянья и умираешь, зная, что все заслужил, что смерть твоя — воздаяние за грех. На самом деле, Ленин, террор — не палач, а следователь, лишь необходимость может сделать его палачом, следователь, который допрашивает, пытаясь добиться правды, женщину. Эта женщина была всегда предана и революции и социализму, то есть она — не враг, она своя, и вот ее арестовывают, берут, и она узнает, что не ее одну, а многих и многих; ее начинают допрашивать, добиваясь совершенно немислимых признаний, признаний в диких, безумных вещах, которых, конечно же, никогда не было, то есть возьмем чистый и невозможный бред и посмотрим, что из этого выйдет. У нее просят, чтобы она дала показания на мужа, которого она очень любит и который также вполне предан режиму, и на своих детей. И вот представьте ее: она любит революцию и старается все время объяснить это

следователю, следователь для нее — олицетворение революции, и она его никогда и ни в чем не винит, она не будет винить его, что бы он с ней и с ее родными ни сделал: он может бить ее, пытаться, насиловать, может убить — что угодно, потому что если он виновен, значит, виновна и революция, он ведь только ее часть, но тогда она арестована правильно, она враг, и надежды нет. То, что с ней сидят столько ее товарок, похожих на нее во всем, показывает, как хорошо маскируется враг и как трудно и невозможно его выявить, какая трудная, важная и ответственная работа у следователя, как верно и преданно он ее и других честных людей защищает, и ясно, что его авторитет надо поднимать и поднимать и что даже если он в отношении ее и не совсем прав, — это ничего, и даже при том множестве врагов правильно и естественно; мудро было бы, если б было иначе, это только доказывает, что он живой человек, а не машина, раз тоже может ошибаться, и ей, женщине, приятно, что он живой и вот она его поняла, и вообще вся власть, такая живая и человеческая, ее родная власть.

Она еще больше ненавидит своих сокамерниц, которые продали и предали ее, будучи врагами, подделались под нее, и, значит, только они виновны, а он, следователь, — невинно обманутый, и ей горько, что она тоже, ведя себя так, как эти ее и власти враги, как бы даже помогала им маскироваться, как бы их прятала. Она ненавидит их так же, как следователь, той же ненавистью. И вот она с первого допроса хочет сказать следователю, что она открыта, как открыта рука ладонью вверх, когда ты показываешь, что ничего не спрятал, ничем не грозишь. И она, потому что сама ищет, ищет еще дотошнее, чем следователь, мо-

жет быть, она и вправду в чем-нибудь не чиста, может быть, она и в самом деле виновна, и он прав, ведь она знает, что следователи всегда правы, что ошибка в их работе почти так же немыслима, как ошибка Господа Бога; и вот она все рассказывает ему о себе, все-все, куда больше, чем мужу, и во всем ее рассказе одно: я люблю тебя, потому что ты — революция, и я не различаю вас, ты — ее человеческое обличье, ее человеческая ипостась, ты слит с ней; и она перед ним вся раскрыта, вся нага, и каждое ее слово «я люблю тебя»; Господи, она готова для него на все, она вся его, его и только его, ради него она забывает и мужа и своих детей.

Может быть, сначала, когда она старается убедить его, что верна революции, она действительно хочет спасти жизнь себе, мужу, детям, но потом — нет, потом она любит только его и не помнит о них. Поймите, Ленин, она не может быть верна мужу и объяснять следователю, что верна только ему, следователю, здесь раздвоение и ее слабость, и ее чувство вины; и она забывает обо всех, кроме следователя, и все равно, если погибает, то с сознанием, что виновна. Он допрашивает ее, а ее все тревожит, что она плохо одета, измучена, изнурена, что она может ему не понравиться, и тогда он не ответит на ее любовь, и она делает все, чтобы следить за собой, держать себя в чистоте; страшная ее нечистота перед ним — нравственная (он думает, что она враг) — и нечистота тела дополняют друг друга, сливаются воедино. Она думает только о нем, и во сне и наяву говорит только с ним, ищет слова, интонацию, ищет вину в себе, рано или поздно находит и понимает, что виновна, не так виновна, как ее товарки, но тоже виновна; и она думает, как он милосерд, она верит, что он простит ее; о, как он

добр, и она готова для него на все; если же он не прощает ее, она понимает, что он прав: она сама, только она во всем виновна, только она виновна, что все погибло.

Иногда он меняет тон допроса, бывает с ней ласков, говорит ей какой-то комплимент, и ей радостно, что он наконец-то обратил на нее внимание; она снова чувствует себя женщиной и счастлива, что хоть немного угодила ему. В том, как он над ней измывается, как допрашивает, нет безразличия — только эротика, все их отношения пронизаны эротикой, она одна с ним, он ее раздел: она все ему про себя и про всех, кто у нее был, рассказала, всю себя вывернула наизнанку, она его; и он длит и длит наслаждение, он с ней то жесток, то мягок, то снова жесток, и она вся его, вся ловит малейшие изменения в нем, вся ему отдается, а он все медлит, все готовит ее и не входит, и это бесконечный оргазм: она уже ничего не сообщает, ничего не слышит и не помнит, а главное — впереди, и здесь такое вожделение; Ленин, ничего подобного она никогда не знала и не видела, не знала, что такое вообще может быть. И вот так каждый день по многу часов она его, а когда он устает и уходит, он отдает ее другому, своему напарнику, и тот продолжает то, что делал он сам; и вот в ее неверности, в том, что он отдает ее как бы на поругание, тоже эротика, и то, что она имеет с ними, конечно же, несравнимо с тем, что было у нее раньше, сколько бы мужчин она ни сменила.

Как бы он ее ни бил, она знает, что это потому, что он думает, что она ему изменила, что она была ему неверна, насмотревшись на других, которые изменяли, на тех, что сидят с ней в одной камере; он уверен, что и она такая, и

она все делает, чтобы доказать ему, что это не так, что на самом деле она ему верна, она любит его, любит больше жизни и он у нее — единственный. Ей не надо объяснять, что он пытается ее день за днем, ночь за ночью, добиваясь признания, что она изменила ему и революции, потому что он любит ее, потому что если она ему неверна, для него это трагедия и смерть, то есть здесь все, как бы ни было это страшно и жестоко, все-все замешано на любви, на одной любви, только на любви.

Когда он добивается от нее политических признаний, она этого не понимает, а вернее, понимает как иносказание, потому что только любовь и ревность доступны ей, и она все сводит на это. Тут не будет ничего трагического, даже если она погибнет от пыток, голода или он просто ее убьет; ведь она понимает, что гибнет от великой любви, — трагедия здесь только для палача, всю жизнь он будет терзаться, мучить себя вопросом, действительно ли она ему изменяла, и знать, что ее уже не вернешь: он убил свою любовь, взял на душу грех».

\* \* \*

После Октябрьской революции де Сталь сразу заняла сравнительно высокое место в коммунистической иерархии. В декабре она уже возглавляла один из секторов в отделе науки ЦК, одновременно работая в отделе агитации и пропаганды и еще в женотделе, так что день у нее был распisan буквально по минутам. За эти бесчисленные нагрузки она бралась с жадностью, каким-то животным восторгом; крутя с утра до ночи, чуть ли не ежедневные митинги, на

которых ей приходилось выступать, — в партии она считалась хорошим оратором — столь же обязательные совещания и заседания давали возможность забыться, не думать, что и эта третья ее жизнь, как и первые две, прошла, в сущности, зря: получить верховную власть в России ей не удастся, как в свое время не удалось во Франции. Поэтому, что она сделала для большевиков, от денег — были годы, когда партия существовала исключительно на ее средства, — до подпольной работы, которой она, рискуя всем, и жизнью в том числе, занималась с 1903 года, — в партии людей с таким стажем революционной работы были считанные единицы, она, казалось бы, имела основания рассчитывать, что ее карьера и дальше будет успешной; но Сталь была достаточно умна, чтобы не заблуждаться на сей счет. Она видела, что посты, которые ей бросили как кость, несмотря на громкие названия, были второстепенны и мало на что влияли, а главное, они были тупиковые: почетная синекура и ничего больше. Наверх теперь двигались люди иного склада, многие из них почти не имели заслуг перед революцией, и она сознавала, что то же будет и впредь, лишь еще более откровенно. Конечно, это было очень и очень грустно, но она понимала, что пришли другие времена, а с ними, что естественно и, наверное, правильно, другие люди; так было всегда, было и во Франции, и всегда будет. Все же, возвращаясь домой (особняк она отдала еще в Октябре обществу политкаторжан под общежитие, оставив себе только двухкомнатную мансарду, впрочем, очень уютную, похожую на студии парижских художников, в этом же духе она и обставила ее), де Сталь с сожалением вспоминала, какими они все были до

войны. Многое из того, что сегодня сделалось нормой, при отношениях, которые раньше связывали товарищей по партии, было невозможно. Правда, и прежде не все между ними было чисто и безоблачно, но нынешние свары и грызня за власть казались невыносимыми. Впрочем, иногда ей приходило в голову, что она и здесь заблуждается, просто тогда она была независима, могла на это не обращать внимания.

В начале восемнадцатого года настроение у нее улучшилось, и не потому, что она смирилась, причина была другая: в Москву переехал весь ЦК и Совнарком, и их отношения со Сталиным после десятилетнего перерыва возобновились. Она очень боялась встречи с ним, не знала, как себя с Кобой вести, но он сам пришел к ней в первый же день по приезде и, бросив дела, провел у нее целые сутки. Они не могли оторваться друг от друга, все было так, как в первый раз на пароходе «Эльбрус», а когда наконец силы у него кончались и он с закрытыми глазами в изнеможении ложился рядом, она, счастливая, плакала от радости. Она любовалась им, не могла наглядеться на его открытое, благородное лицо, красивый высокий лоб, крепкую и в то же время стройную фигуру, — за эти годы он очень возмужал и все равно остался ее ребенком, ее сыном. И она имела право им гордиться, ведь вскоре после переезда Сталина в Москву его сделали первым секретарем ЦК, то есть, по сути, именно ему была теперь передана практическая работа по строительству и организации партии.

Но, увы, здесь ее ждало жестокое разочарование. Дважды побывав на заседаниях политбюро (оба раза там об-

суждалось положение с наукой в стране) и понаблюдав за Сталиным и другими членами ЦК, она многое поняла. Сталин был человеком необычайно честным и порядочным, он с восхищением относился к старым деятелям партии, особенно к тем, кого в партии было принято считать ораторами и теоретиками, к ним он питал почти детскую любовь. Они-то и выдвинули его в секретари ЦК, потому что в их внутрипартийных дрязгах он никогда бы не стал участвовать, да и не поверил бы, что такое вообще возможно между старыми товарищами по подпольной работе. У него, конечно, были совершенно новые представления о дружбе, чести, достоинстве и тому подобном — идеалистом он был до мозга костей. В партии это было отлично известно, и ему отдали секретарство как фигуре во всех отношениях и для всех безопасной, отдали те самые Троцкие, Каменевы, Бухарины, Зиновьевы и им подобные на время, пока они не накопят силы для решающей схватки. На заседаниях политбюро они, к какой бы платформе или группировке ни принадлежали, откровенно насмехались над Сталиным; он был среди них белой вороной, деревенским дурачком, и они не могли ему простить, что он лучше их. Сталин же не замечал, что над ним издеваются, наоборот, он по-прежнему смотрел им в рот и лишь с восторгом пересказывал ей остроты, отпущенные по его адресу. Когда он делал это, ей хотелось одного — плакать.

Несколько раз, когда он на всю ночь у нее оставался, она пыталась открыть ему глаза на происходящее, но то был мартышкин труд: у него было органическое свойство не слышать, если о товарищах по партии говорилось что-нибудь плохое. Заставить его поверить, что хоть один из



тех, кто вместе с ним был на каторге или в ссылке, совершил неблаговидное, было просто невысказано. Какие бы доказательства она ни приводила, он лишь смеялся и, обняв, говорил ей, что она чересчур легковерна и нехорошие люди этим пользуются. Сталь любила его так, как только женщина может любить мужчину, ведь он был ее сын, ее крошечка, ее дитя, сын, которого она тогда, под Поти, спасая ему жизнь, словно снова родила. То есть Господь простил ей ее грех, простил то, что она, родив Сталина, от него отреклась, будто он был ей чужой, ни разу не дала ему грудь, так и отправила к этому подлецу Игнаташвили. Господь дал ей его спасти, вернул ей его, и еще Он сделал его ее любовником, мужчиной, которого она любила, пожалуй, даже сильнее, чем Скрябина. Возможно, что со Скрябиным ей в постели было лучше, чем со Сталиным; Скрябин, конечно же, был более умен, более изощрен, но если взять все вместе, то то, что ей дал Сталин, было куда большим, чем любой другой мужчина в ее жизни.

И вот, глядя, как так называемые товарищи по партии измываются над ним, она дала себе слово, что проложит ему дорогу к действительной власти, и почему-то сразу поняла, что Господь ей сейчас не откажет. Всю жизнь она просила у Бога власти для себя самой; даже не жизнь, а целых три жизни она прожила, моля Господа о власти, но сейчас она подумала, что если Сталин получит власть, такую же абсолютную, ничем и никем не ограниченную власть, какую она просила себе, она простит Бога. Она простит Его, хотя Он искушал ее, простит, хотя Он поместил источник власти в ней самой и искушал день за днем, год за годом; каждый мог из него напиться, каждый, но

только не она. И пускай Сталин тоже напился из этого источника и лишь потому получит власть, на смертном одре она скажет Господу, что прощает Его.

Теперь у де Сталь снова появилась цель, ради которой стоило жить, однако долгое время она даже не знала, как к ней подступиться. Сталин по-прежнему был непробиваем, и она ничего не могла с ним поделаться; бывали дни, когда у нее опускались руки и она, словно девочка, ревела ночи напролет. А потом помог случай.

Весной следующего, 1919 года Сталин уехал в длительную командировку в Закавказье, где меньшевики устраивали бесконечные путчи и было беспокойно; в Москве даже шли разговоры, что, очевидно, он там останется, и Сталь взвешивала вопрос, не последовать ли тогда ей за ним. В Грузии очень требовались опытные партийные кадры, и она и без содействия Сталина легко бы получила туда назначение. Скучая без него, колеблясь, ехать или не ехать (она хорошо понимала сложности, которые возникнут в маленьком провинциальном Тифлисе, если они будут жить рядом), она с благодарностью приняла приглашение своего старого друга Якова Свердлова повидаться, а заодно пойти на «Чудо святого Антония» в постановке молодого и необыкновенно талантливого Вахтангова, тоже как будто грузина.

Спектакль действительно был хорош и ярок, особенно в контрасте с Москвой девятнадцатого года; они остались очень довольны и в антракте, обсуждая со Свердловым эту тему — нынешняя Москва как фон «Чуда...» — вышли из ложи и прогуливались в фойе. Свердлову, который был ею увлечен еще с довоенных времен, — он, кстати, был

здесь не одинок, она до сих пор сохранила редкостную привлекательность, и многие из партийной верхушки, кто явно, кто тайно, были в нее влюблены — в конце концов сей сюжет надоел, и он, держа ее под руку, стал шептать на ушко какие-то комплименты. И тут в фойе вошел Сталин. Позже она узнала, что он для срочного совещания был на день отозван из Тифлиса в Москву, сообщать ничего ей не стал, хотел сделать сюрприз; дома от ее работницы узнал, что она в театре, и сразу поехал сюда. Вид Сталина был страшен, кровь отлила, и его от природы смуглое лицо сделалось совсем белым, глаза безумные, руки дрожат и что-то вслепую ищут у пояса, лишь на следующий день она догадалась, что кобуру, и возблагодарила Бога, что пистолета тогда у него не было. Вся сцена продолжалась несколько секунд, Сталин повернулся и тут же вышел, Свердлов, кокетничая с ней, вообще, кажется, его не заметил, а она в это время случайно увидела его и себя, причем глазами Сталина: они со Свердловым шли точно на большое, в пол-стены, зеркало, и испугалась так, как давно уже не пугалась.

После этого происшествия остаться на второе действие было выше ее сил, под первым предложением она распрощалась со Свердловым и поехала домой. Сталину звонить и объясняться она не решилась, понимая, что он сейчас не в том состоянии и лучше просто его не трогать, дать остыть. На другой день, не повидавшись с ней, он уехал обратно в Тифлис, а она, неделю поразмышляв об этой истории, поняла, что у него кровь настоящего южанина, причем горца, и если она сумеет надлежащим образом это использовать, шанс добиться того, о чем она просила Бога, есть.

Тактика, которую разработала де Сталь, была совсем не сложна: резко, даже не переговорив, она прервала отношения со Сталиным и стала подряд заводить романы с теми из верхушки партии, кто тогда стоял у него на дороге. Определить, кто ему мешает, ей было не трудно, всех их она знала не один десяток лет, ни на чей счет, включая Ленина, не заблуждалась и, главное, так же, как и Сталин, не принадлежала ни к одной из группировок, наблюдая со стороны, легко видела истинное положение дел. Чтобы еще больше раззадорить Сталина, она перипетии каждого своего романа афишировала во всех подробностях, и, в сущности, больше от нее ничего не требовалось. Дальше немедленно начинал действовать он. Люди, которых Сталин приговаривал к смерти, уже не были его старыми товарищами по подпольной работе, — это были соперники, отбившие, уведшие его самку, и они не могли рассчитывать на снисхождение. Сталь теперь открыла для себя совершенно другого Сталина; наверное, таким, когда мстил, был его дед Георгий, и поразились и ужаснулись сыну. До последнего дня собственной жизни она запомнила, в состоянии какого безумия, не выходя из кремлевской квартиры, провалялся Сталин почти две недели, когда в том же девятнадцатом году от туберкулеза скоропостижно скончался Свердлов, умер своей смертью, в своей постели, и он, Сталин, ничего не сумел сделать.

Но выбирать ей было не из чего — другого пути к власти у нее для него не было. Сталь не питала никаких иллюзий, хорошо понимала, что люди, которых она брала к себе в постель, которым разрешала себя любить и ласкать и которым сама объяснялась в любви, обречены. Ревность де-

лала Сталина не просто жестоким, но и необычайно изобретательным, терпеливым, словно хороший охотник; он, дожидаясь удобного случая, мог ждать годы и годы, но и Сталь и он, оба равно знали, что добыча никуда не уйдет. И она не уходила: его враги гибли в автомобильных авариях и на операционном столе, под трамваем, от яда, от пули наемного убийцы, позднее он просто вносил их в списки НКВД и, с наслаждением по многу месяцев следя, как их пытаются, лишь затем давал санкцию на расстрел. Даже в тридцатые, даже в пятидесятые годы, когда она с ним уже давным-давно рассталась и оба они были стариками, не виделись почти двадцать лет, он, помня их всех, продолжал убивать ее любовников, а если кто-то из них, подобно Свердлову, сумел ускользнуть, умереть в своей постели, он без жалости расправлялся с его родными.

И тем не менее угрызения совести посещали де Сталь сравнительно редко; да, она знала, что ведет людей, которые ее любят, на закланье, спит с ними только затем, чтобы Сталин потом их убил, и все равно, стоило любому из них оказаться в ее постели, она любила его, страстно его любила, у нее вообще был удивительный дар любви, так что основания ревновать у Сталина были, были. Она же, как раньше с молодыми народниками, считала, что, что бы ни было дальше, познав ее любовь, они не напрасно прожили жизнь и не должны роптать. Куда больше ее беспокоил сам Сталин; она понимала, что в этой ненависти он быстро сгорит, ни один человек не сумеет прожить в подобном напряжении даже несколько лет, и она, чтобы дать ему возможность восстановить силы, ввела скоро своего рода специальные премии; разобраться в них было не слож-

но: убрав очередного соперника и тем самым подтвердив права на владение ею, Сталин в награду на неделю ее получал. Она ехала с ним в один из правительственных санаториев в Ялту или на его любимую Ризу, чаще же они, отгородившись от всего мира, обо всем забыв, просто заперались на подмосковной даче в Кунцево.

Система эта работала без сбоев, и буквально за пять-шесть лет де Сталь проложила ему путь к самым вершинам власти. Срыв был лишь раз. В двадцать седьмом году у нее почти месяц был бурный роман с Троцким, единственным, кто еще представлял для Сталина опасность; к тому времени, когда ей было пора с ним рвать, она вдруг почувствовала, что не на шутку им увлечена, похожего с ней давно уже не было, и не хочет, чтобы Сталин его убивал. Конечно, Троцкий мешал Сталину, очень ему мешал, поэтому она и легла с Троцким в постель, но сейчас она хотела, чтобы Сталин сохранил ему жизнь, избавился от него как-нибудь по-другому. Она видела, что говорить со Сталиным на этот счет не только глупо, но и опасно, он бы никогда ее не понял, и, спохватившись, стала всячески показывать, что с Троцким у нее не было ничего серьезного, просто легкий флирт; на самом деле она тогда была от него беременна, даже думала оставить ребенка и избавилась от него лишь в последний момент, понимая, что Сталин так и так его прикончит.

У Сталина была собственная, причем отлично работавшая агентурная сеть, с первого же разговора и она, и Троцкий находились под наблюдением, он знал об их отношениях все: где, когда, сколько — все до последней мелочи, и тем не менее он настолько привык ей верить, так привык,

что она никогда ничего подобного не отрицала и не прятала, не скрывала от него ни одного из своих любовников; и здесь он, не зная, что ему делать, кому верить, должен ли Троцкий быть убит или нет, в конце концов после долгих колебаний выслал его из страны. Понял он, как обстояли дела, лишь когда на исходе месяца не получил обычной премиальной недели. Он пришел звать ее поехать вместе на Кавказ, и тут она проговорилась, проболталась совсем по-бабьи, и он не успокоился до тех пор, пока в сороковом году Рамон Меркадор альпенштоком не проломил все-таки голову Троцкого.

После высылки Троцкого отношения их прервались, она тоже ждала ареста, не сомневалась, что он будет ее пытаться, и заранее молила Бога, чтобы Он не длил мучений, дал скорее умереть. Но Сталин не тронул ее, он как будто просто о ней забыл. К тому времени было ясно, что Сталин уже рядом, вплотную с тем, что она просила для него у Бога, в нем появился настоящий вкус к власти, он был теперь далеко не тот наивный восторженный ребенок, что лишь несколькими годами раньше. Ненависть и месть закалили его, сделали мужчиной, и все же де Сталь пока еще не была уверена, что он без ее помощи сумеет быть правителем, достойным великой России.

С легкой руки Хрущева стало общим местом и всеми повторяется, что суть культа Сталина состояла в безудержном и безграничном его восхвалении и ни в чем больше, но ведь это редкая глупость. Целью культа Сталина, который был тоже создан ею, де Сталь (начала она его создавать в популярнейшем советском журнале предвоенных лет «Работница», она не только редактировала «Работницу», но и

писала в каждый номер множество разных материалов, потом, когда поняли, чего она хочет, ее инициативу подхватили тысячи: и поэты, и художники, и композиторы), было совсем другое, по смыслу, пожалуй, противоположное. Образ Сталина, ею и другими с таким старанием лепимый, это был тот идеал, к которому Сталин должен был стремиться, правя Россией, тот идеал, за которым он, пускай из последних сил, пускай стиснув зубы, но должен был тянуться. То есть это было не восхваление, а наоборот, постоянный укор, постоянная открытая для народа демонстрация того, как он, Сталин, еще несовершенен. Образ Сталина во всем превосходил его самого, он был мудрее, смелее, красивее, решительней, бескомпромиссней, предусмотрительней, наконец, просто моложе и здоровее. И Сталин, ненавидя свой культ, проклиная его, действительно, как и предвидела де Сталь, тянулся, тянулся за ним всю жизнь, пока окончательно не надорвался. Это была гонка за лидером, которую ему так и не удалось настичь.

Как он презирал себя, когда, чтобы казаться хоть чуть-чуть выше, он, стоя во время парадов на Мавзолее, приказывал подставлять себе под ноги скамеечку, и все равно знал, что борьба для него безнадежна. Сталин старел, сил у него оставалось меньше и меньше, а тот был по-прежнему здоров и молод. Как он стыдился и ненавидел себя, старого, больного, с сухой рукой. В конце концов этот его двойник загнал Сталина фактически в заточение: Сталин боялся выходить из Кремля, позже он оставил и Кремль, переехал на ближнюю дачу, но и оттуда не выходил гулять даже в сад; он был так жалок, что знал: посмей он кому-нибудь сказать, что он — Сталин, с ним расправятся, словно с



самозванцем. Культ Сталина его и погубил: сначала он относился к самому Сталину, в сущности, неплохо; старался поднять его до себя, чему-то научить, радовался, когда у Сталина были успехи, а потом, когда понял, что Сталин больше уже ничего не может, что он безнадежен, уничтожил его.

\* \* \*

Не следует думать, Алеша, что единственное, чем занималась де Сталь после семнадцатого года, это помогала Сталину пробиться к власти, — продолжал Ифраимов. Это, конечно же, неправда. Львиная часть времени, которым де Сталь располагала, уходила не на Сталина, а на работу, связанную с ее членством в стародавней «группе Эвро», той самой, которая мечтала о превращении России в страну гениев. «Эвро» тогда переживала жесточайший кризис. По непонятным причинам еще при ее создании было решено, что она должна остаться закрытым тайным обществом, причем после случая с Ткачевым из конспиративных соображений было постановлено вообще отказаться от приема новых членов. Это было глубокой ошибкой, и в результате к началу гражданской войны, то есть к тому времени, ради которого группа жила, которого ждала и молила, работоспособных членов уцелело лишь двое — де Сталь и профессор психиатрии доктор Трогау, другие умерли, погибли или сделались немощными стариками.

Де Сталь давно и настойчиво пыталась отменить этот нелепый пункт устава, семь раз с 1910 по 1920 год она ставила на голосование данный вопрос, но ни разу ей не уда-

лось получить большинства. В итоге она была вынуждена примириться с тем, что организация по чисто физическим причинам скоро могла просто прекратить существование. Все-таки, пока Трогау и она были живы, группа тоже жила, и Сталь делала все возможное и невозможное, чтобы было выполнено предусмотренное программой-максимум «Эвро». Революция и гражданская война — «Эвро» считала их главными испытаниями, через которые предстояло пройти России, чтобы стать гениальной, — свершились, теперь Россия получила право возглавить силы добра и начать долгую-долгую битву, решающую битву в истории рода человеческого, которая, как сказано в Апокалипсисе, должна будет завершиться конечной победой над силами мирового зла и торжеством праведных. В этой битве душа человека очистится, освободится от первородного греха, человек оставит, отвергнет все злое и снова возвратится к Богу, снова, на этот раз навечно, соединится с Ним.

Надежды, возлагаемые «Эвро» на революцию, оправдались полностью, разрушив до основания старую пирамиду общества, многократно перемешав всех и вся, сделав так, что люди, бывшие наверху, оказались низвергнуты в самый низ, в бездну, а их место заняли другие, без роду и племени, она не только бесконечно обогатила жизненный опыт народа; голод, холод, холера, тиф, расстрелы заложников, убийства братом брата, сыном отца — все это стало частью нормальной, обыденной жизни; но самое важное — она освободила людей от всех прежних комплексов и условностей, показала необязательность, иллюзорность, потрясающую, ни с чем не сравнимую непрочность старого мира, ведь он рухнул в один день, потрясающую непроч-

ность всех тех уз, которые держали в заключении мозг гения и его душу, говоря: «Это можно, а это нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах».

И вот гений теперь, точно зная, что он сильнее общества, что он на все имеет право, наконец-то раскрылся, вышел на свободу. То был праздник, фейерверк, настоящая вакханалия гениальности, но, к несчастью, большевики не сумели воспользоваться и этим неожиданно свалившимся на них огромным богатством. Занятые сиюминутной борьбой за власть, они не только допустили, что многие, непозволительно многие гении умерли от болезней, от голода: гениям всегда труднее приспособиться к окружающей жизни, и, конечно, они умирали первые; гораздо хуже, что тысячи гениев были расстреляны без особой необходимости, просто потому, что, как говорили в ЧК, высывывались, не сидели тихо, когда было надо. И уж совсем непростительно было, что гении в революцию практически неограниченно выпускались из страны или даже насильно отсюда выслались, это была настоящая диверсия против сил добра. Была ли такая политика продиктована глупостью или это было предательство, — ни простить, ни понять ее невозможно.

Пытаясь спасти последние остатки рожденных революцией гениев, де Сталь с января 1918 года буквально бомбардировала ЦК и Совнарком письмами, обращалась и лично к Ленину с требованием остановить происходящий геноцид. Каждый раз с ней как будто соглашались, говорили, что положение действительно сложилось нетерпимое, пора принимать меры, но конкретно ничего не делалось, всякий раз находились более неотложные вещи.

Она уже начала отчаиваться, однажды даже сказала Трогау, что никого ни о чем просить больше не будет, сил у нее нет, сколько она, женщина, может бороться одна. Лишь в 1922 году Ленин вдруг неожиданно сам позвонил ей домой и сказал, что если у нее есть конкретные соображения о создании Института природной гениальности, он их готов заслушать на очередном заседании Совнаркома, которое будет через неделю; если обоснование покажется убедительным, может быть положительно решен вопрос и о выделении денег на эти цели. Но, добавил он ласково, пускай она не обольщается, шансов очень и очень мало, и не только по причинам финансовым, есть серьезные возражения и идеологического порядка. Все-таки он постарается ее поддержать и надеется, что решение провести удастся; Сталин, во всяком случае, говорил ему, что он знает об этой проблеме и будет голосовать «за».

Обоснование и проект устава института были подготовлены де Сталь и Трогау буквально в три дня. Они писали его день и ночь, и, как ни странно, несмотря на все последующие пертурбации, экземпляр его сохранился; в частности, он есть и в их больничной библиотеке. По внешнему виду, да и по способу изложения, он мало отличается от других документов подобного рода, и сейчас даже трудно представить, какое возмущение вызывал Институт природной гениальности (ИПГ) в первые годы своего существования. Тем более что, вопреки опасениям Ленина, решение об открытии института прошло на Совнаркоме гладко: двенадцать «за» при одном воздержавшемся.

Обоснование состояло из следующих частей: преамбулы (в ней говорилось, что в последнее время в партийных документах все настойчивее проводится мысль о необходимости ускоренного развития страны и форсированной ее индустриализации, однако едва эти планы начнут претворяться в жизнь, выяснится многократная нехватка гениев в народном хозяйстве, которая неминуемо приведет к срыву всех программ и поставит революцию на грань гибели). Далее отмечалось, что давно уже возникла общественно-историческая потребность в создании института, подобного ИПГ. Государству необходимо наконец получить в свои руки научные критерии гениальности, оно не может больше довольствоваться такой глупостью, как «нравится — не нравится», «плохо — хорошо», а должно иметь точные данные, симуляция ли это таланта — ее будут устанавливать, как суд устанавливает симуляцию невменяемости, — или что-то настоящее. Ясно, сколько денег могло бы быть сэкономлено на одном лишь искусстве, если знать, на какое направление и кому конкретно давать деньги, а кому нет.

Потом шло сделанное по последним публикациям, нашим и зарубежным, объяснение самого феномена гениальности. Трогау и Сталь писали: нельзя смотреть на душевные болезни, любые другие виды патологии как на нечто целиком и полностью вредоносное; так обычно смотрят на нее врачи, подходя к гениям словно к обыкновенным людям или, вернее, словно к обыкновенным больным. Мы должны рассматривать патологию диалектически, видеть положительные ее стороны. Дело в том, что гений всегда есть результат скрещивания двух биологических линий; в

одной накоплено огромное количество гипостатической энергии, называемой в просторечии одаренностью, это еще не сама гениальность, а ее потенция; для того, чтобы гений раскрылся и эта энергия высвободилась, необходим механизм выявления этой гениальности, как бы спусковой крючок. Им и становится обычно патология, которую гений наследует от другого своего предка.

Нормальный аппарат сознания, подчеркивали Трогау и Сталь, — тормоз гениальности. Как всякая норма, он противен «ненорме». Творческий процесс вообще вне сферы ясного сознания, все приходит оттуда, откуда и бред. Исходя из вышесказанного, главная задача института была сформулирована следующим образом: не дать гению пройти непризнанным и неиспользованным, найти его, понять, раскрыть, а затем планомерно развить. Эту работу предполагалось разбить на несколько направлений; на первых порах главное — изучение всех вопросов, связанных с гениальностью, и комплексная научная экспертиза, тестирование как самих гениев, так и их творений; причем особое внимание следовало уделить тем гениям, которые в силу недостатка образования или по каким-то другим причинам не могут выразить свою гениальность. Это огромный резерв, настоящий Клондайк, отмечали Сталь и Трогау. На выставках, в музеях, в редакциях журналов и издательствах, на конкурсах технических изобретений каждый год скапливается невероятное число образцов патологического творчества; многие, очень многие из них созданы гениями, не нашедшими признания. Следует сделать все необходимое, чтобы ни один из них больше не прошел незамеченным, не канул в Лету.

Другой немалый резерв — сны, видения, состояния гипноза, транса, аффекта, истерики, разного рода галлюцинации; в них, писали Сталь и Трогау, возможно, в наиболее чистом и совершенном виде содержится то, что принято называть гениальностью; иногда достаточно одного-единственного сна гения, чтобы полностью перевернуть наше представление о Вселенной. После создания Института природной гениальности сразу же возникнет возможность подвергнуть тщательнейшей экспертизе и анализу все, что является гениям в снах и видениях, уже одно это, без сомнения, оправдывает существование института.

Третий резерв — тюрьмы и клиники для душевнобольных. В этих местах всегда скапливается большое количество одаренных людей, поэтому естественно, что данные учреждения тоже должны войти в сферу интересов ИПГ. Зная законы творческой патологии, государство займет совсем другую позицию в отношении аномальных, часто асоциальных проявлений психики гения, перестанет бросать такого рода людей на каторгу или запирает в сумасшедшие дома, а просто передаст их ИПГ, где они получают возможность творить на благо общества. В связи с этим, хотя и не только, Сталь и Трогау считали необходимым создание при ИПГ интерната и специального учебного заведения. В интернате были бы поселены гении, забранные из психдомов и тюрем, и те, в сущности, очень немногочисленные их экземпляры, которые, все беря из себя, могли творить лишь в тепличных условиях. Как правило, они ведут, вернее, стараются вести замкнутый образ жизни и только иногда общаются с себе подобными. Интернат предполагалось использовать и как временное убежище для гениев, которые

были поставлены гражданской войной на край гибели; здесь они могли бы оправиться и немного прийти в себя.

Школа при ИПГ, в свою очередь, должна была быть укомплектована исключительно вундеркиндами. В штатном расписании института предусматривался и экспериментальный отдел, где проходили бы проверку самые разнообразные средства стимуляции патологии гениев, среди прочего — искусственным образом вызванные трагедии, потрясения, боль, голод, холод, смерти близких — словом, все, что дало бы возможность, способствовало бы высвобождению накопленной гением созидательной энергии. Впоследствии, расширяясь, ИПГ должен был стать ядром целого комплекса институтов, перед которым было бы реально поставить задачу полного раскрытия способностей, заложенных в человеке природой, в частности, достижения им всех видов гениальности, включая вечную молодость и бессмертие.

Как я уже говорил, проект института не вызвал на Совнаркоме никаких серьезных возражений и был легко утвержден, причем полностью, до деталей. Трогау и Сталь имели все основания считать, что победили, однако радовались они рано: уже через год оппозиция ИПГ среди партаристократии — старых подпольщиков и революционеров — была столь велика, что, казалось, институт обречен. Целых два года он и в самом деле практически не работал, хотя формально продолжал существовать. Детонатором этой компании была предусмотренная проектом при ИПГ специальная школа для вундеркиндов, которую де Сталь и Трогау считали простым довеском к институту, в общем, и не обязательным. Едва эта школа



была создана, в правительственных кругах сразу возникло убеждение, что учиться в ней очень почетно, так как именно из ее выпускников будут в дальнейшем заполняться вакансии в высшей номенклатуре. На чем были основаны подобные слухи — неизвестно, один раз Ленин на закрытом совещании действительно сказал нечто похожее, но то была случайная оговорка, за которой ничего не стояло, ему надо было лишь объяснить, для чего вообще стране, где победила революция, могут быть нужны специальные школы, и, конечно, никто, в первую очередь сам Ленин, не ожидал, как это будет раздуто и искажено.

В сущности, сначала у ИПГ не было врагов, наоборот, все стремились помочь институту, поддержать его, это было очень и очень нужно, ведь не было ничего: ни здания, ни оборудования, ни денег. Трогау и Сталь в мгновение ока сделались весьма заметными в партии фигурами, иметь с ними близкие отношения стало модным, их дружбой гордились, и они, конечно, этим пользовались — вокруг была разруха, голод, в таких условиях без помощи со стороны быстро поставить на ноги институт было просто невыносимо. Вся эта поддержка была для них неожиданным, да и не очень понятным подарком, пять лет отсутствия в стране какого бы то ни было интереса к гениальности, непонимание, в чем вообще ее смысл, назначение, — и вдруг, когда они уже были готовы признать, что потерпели поражение, — триумф; это и в самом деле было похоже на чудо.

Все же де Сталь иногда посещали сомнения насчет истинных мотивов интереса к ИПГ. Однажды она сказала

Трогау, что, кажется, на них смотрят так же, как в прежние времена смотрели на воспитателей наследника престола. Но такие прозрения у них были не часты, они вообще старались о подобных вопросах не задумываться, дело шло, и это было главным. Что помощь дается отнюдь не бескорыстно и каждый, кто хоть что-нибудь сделал для института, считает, что он имеет право на благодарность, Трогау и Сталь первое время вовсе не приходило в голову, тем более что напрямую ничего не говорилось. В партии были убеждены, что они это и сами отлично знают. То был тот не редкий случай, когда умные, обычно все понимающие люди вдруг настолько увлекаются своими идеями, что напрочь перестают замечать происходящее кругом. Намеки, которые им делались, были весьма прозрачными, однако де Сталь и Трогау и вправду ничего не видели и ни о чем не ведали, поэтому возникшее через год после учреждения института почти единогласное требование ЦК о его ликвидации было для них полной неожиданностью.

Недовольство копилось уже давно, даже удивительно, что вышло оно наружу столь поздно. Причина этой враждебности была проста: де Сталь набирала в интернат исключительно настоящих вундеркиндов, тогда как вся партаристократия была убеждена, что для того, чтобы революция не погибла, не свернула с истинного пути, интернат должен комплектоваться исключительно, в крайнем случае почти исключительно, из детей ее, партаристократии.

Здесь была возможность компромисса: если бы де Сталь согласилась выйти на расширение школы, взяла туда отпрысков тех членов ЦК, которые этого добивались, ей, я думаю, разрешили бы оставить уже зачислен-

ных вундеркиндов. Но она этого не сделала, что всеми было понято как отказ от сотрудничества. В результате против ИПГ были выдвинуты — повторяю, для де Сталь совершенно неожиданно — очень серьезные политические обвинения. Среди прочего утверждалось, что институт руководствуется в своей деятельности чрезвычайно реакционной, по существу, расистской теорией Менделя — Моргана — Вейсмана, защищающей изначально неравенство людей. Неравенство, наследуемое, заложенное в них самой природой, изжить которое даже при коммунизме не удастся никогда и никому. Следовательно, под сомнение ставится главный из коммунистических идеалов; стань эта теория известна массам, она способна оттолкнуть от партии миллионы и надолго затормозить строительство нового общества.

Еще страшнее был вывод, сделанный старыми большевиками на основе анализа листков по учету кадров тех учеников, которые были набраны в интернат. Оказалось, что свыше девяноста процентов вундеркиндов происходят из семей дворян, буржуев и попов, то есть людей, классово чуждых новой власти; это было сопоставлено с дворянским происхождением самой де Сталь, после чего ей на партийном суде было предъявлено обвинение в том, что целью ИПГ является протащить к власти недобитые остатки эксплуататорских классов, а главная задача института — тихая, ползучая и оттого еще более опасная контрреволюция. Создание института — диверсия, которая ставит под угрозу само существование советской власти в России.

Кампания против ИПГ была настолько хорошо организована, напор партийной аристократии был так силен,

что ни Ленин, ни Сталин противостоять, как тогда говорилось, коллективной воле партии не смогли и не захотели, и, повторяю, на три года деятельность института была фактически заморожена, работала какая-то комиссия по его проверке; это, кстати, и дало возможность институт формально не ликвидировать. Лишь в двадцать шестом году, когда Сталин вошел в свою настоящую силу, ИПГ снова возобновил работу.

\* \* \*

Надо сказать, что старые большевики к тому времени уже заметно ослабели, это было видно даже на глаз: в них, как раньше в Ленине, теперь все сильнее была тяга к смерти. Ленин, будучи верным учеником Скрябина, знал, что русская революция — это лишь начало, прелюдия всемирной гибели и Апокалипсиса; мир всегда и везде — зло, мерзость, только пройдя через смерть, только очистившись смертью от всепроникающего зла, человечество может возродиться, воскреснуть к новой жизни. Однако в 1926 году надежды на мировую революцию и всеобщую гибель выглядели куда как иллюзорными, и большевики, понимая, что жизнь не удалась, что то, за что они боролись и были готовы на любые жертвы, им так и не суждено увидеть, теперь всеми силами торопили собственную смерть. К власти же двигались совсем другие коммунисты: по большей части это были ортодоксальные федоровцы, ставящие только на жизнь, на вечную жизнь и на вечную молодость, ненавидевшие, и не принимавшие смерть ни в каком ее виде. Сталин был их естествен-

ным лидером, и под его руководством смена режимов шла быстро и решительно. Сопrotивление было очень слабым. В 1926 году институт был воссоздан на тех же принципах, что и раньше, но на сей раз партийная аристократия не протестовала. Явный показатель того, насколько она ослабела, как мало у нее оставалось сил для борьбы; она смирилась, готова была принять все, что от нее могли потребовать, единственное, на что она еще продолжала надеяться, это — что если не ей, то, может быть, хотя бы ее детям доведется привести народы земли к смерти.

Попытки протолкнуть тем или иным способом своих наследников в интернат при ИПГ приобрели теперь не только унижительный, но и почти анекдотический характер. Зная или, вернее, считая, что они знают, чем можно заинтересовать де Сталя и, следовательно, способствовать зачислению детей, они снабжали чад подробнейшими анамнезами (их за взятки составляли лучшие психиатры обеих столиц), из которых вытекало, что и они, их родители, и все прочие родственники как по женской, так и по мужской линии не только имели скрытую одаренность, это легкое самовосхваление еще можно простить, но, главное, болели всеми видами душевных заболеваний, известных врачам, были просто-напросто невменяемыми. Так что они ни за какие свои деяния ответственности не несут и нести не могут, в том числе и за революцию, даже в первую очередь за революцию. Революция, писали они без тени сомнения, была чистой воды бредом, наваждением, и то, что они в ней участвовали, то, что они ее совершили, объясняется исключительно их невменяемостью, тем состоянием аффекта, в котором они постоянно находились начиная с 1905 года.

Да, вот что время сделало со старыми подпольщиками, и здесь ничего изменить уже было нельзя. Но в 1922 году, добиваясь закрытия ИПГ, они были полны веры, полны надежд, и, конечно, никто из них не мог примириться с тем, что свое главное достояние — идейность, преданность делу партии, делу пролетариата, то, что было ими выстрадано, приобретено ценой стольких жертв, они не сумеют передать детям. Убеждение, что приобретенные признаки наследуются, причем наследуются намного лучше, чем любые другие, разделяла в то время вся верхушка партии; например, на одном из заседаний ЦК, когда обсуждался вопрос, что делать с Николаем Брудным, сыном известного большевика Брудного, за год растратившим огромную сумму денег (кроме того, он обвинялся и в изнасилованиях), Дзержинский сказал: «Невозможно себе представить, что сын такого верного ленинца, как Брудный, ни разу не бывшего в оппозициях, стойкого, последовательного большевика, прошедшего царскую каторгу, мог стать преступником. У меня есть этому лишь два объяснения: или тяжелая родовая травма, полностью исказившая его психическую конституцию, или второе — Николай вовсе не сын Брудного. Дело в том, что если верить истории партии, год, когда был зачат Николай, Брудный находился в ссылке в деревне Кунтуца Илимского округа; у жены же Брудного Варвары, не последовавшей за мужем в ссылку и проживавшей в Рязани у родителей, по агентурным сведениям, был любовник, жандармский офицер Груздев, который, судя по всему, и является истинным отцом Николая». Доказательства, собранные Дзержинским в пользу того, что Николай — не родной сын Брудного, единоглас-

но были признаны Центральным Комитетом убедительными, и ЧК получила санкцию на его расстрел.

Как раз в 1922 году из Америки в Россию переехал известнейший биолог, ярый сторонник наследования приобретенных признаков Пауль Каммерер, и партийная аристократия получила научное обоснование идей, в которые всегда верила. Проведенное Каммерером тщательнейшее обследование двух отрядов итальянского рабочего класса, а именно, генуэзских булочников и грузчиков, показало, что они имеют не только явные, для всех различимые особенности лица и фигуры, но и дети их, и внуки, и правнуки, то есть четыре поколения каждой семьи, строжайшим образом наследуют школьные оценки своих предков, следовательно, и знания, так что генуэзские учителя даже подумывают об отказе от системы оценок как абсолютно излишней. Эта работа Каммерера нанесла теории Менделя сокрушительный удар, однако враг тогда не сдался; союзник Менделя Вейсман, пытаясь поставить под сомнение выводы Каммерера и спасти то, что еще можно было спасти, на протяжении двадцати двух поколений безжалостно отрезал в лаборатории мышам хвосты, и так как каждая следующая все равно рождалась хвостатой, посчитал, что теория Каммерера опровергнута. Однако Каммерер, в свою очередь повторивший в Москве опыты Вейсмана, показал, что хотя действительно мыши на протяжении как минимум двадцати пяти поколений рождаются с хвостами, даже в том случае, когда у их родителей они были отрублены (для природы это просто чересчур малый срок, писал он, чтобы сделать выводы), заживление ран после ампутации идет с каждым разом быстрее и безболезненнее.

Интересно, что даже Сталин, которому история его собственной семьи оставила мало сомнений насчет того, наследуются ли приобретенные признаки или не наследуются, долгое время был убежден, что для нравственного здоровья народа необходимо поддерживать именно теорию Каммерера (пускай она — лишь красивая сказка, идеал, столь же далекий от жизни, как учение Христа), а не циничное учение Моргана — Вейсмана. В ином случае тяга людей к добру неминуемо ослабнет, зачем все жертвы, весь тяжкий, мучительный путь совершенствования, если детям так и так придется начинать с нуля. Понимая это, Сталин в 1923 году в соавторстве с Лениным опубликовал книгу о гениальности при социализме. Ленин весь тот год, как известно, тяжело болел, стоял одной ногой в могиле, и писал работу, по всей вероятности, один Сталин. Лениным она была лишь одобрена. Вопрос наследования гениальности трактовался в книге с необычной для Сталина уклончивостью. Фактически он вообще обходился. Утверждалось лишь, что после Октябрьской революции главным компонентом истинной гениальности является неуклонное, чисто интуитивное, часто вопреки логике и разуму следование генеральной линии партии, неучастие ни в каких оппозициях и платформах, остальное же второстепенно и не имеет значения.

Иллюзии насчет Каммерера Сталин разделял долго, ему так хотелось верить, что приобретенные признаки наследуются, что дети его вернейших сподвижников унаследуют все лучшее, что было в их отцах. Он не хотел видеть то, что видели остальные, то, что де Сталь говорила ему день за днем, — старые большевики и их дети уже



больше ничего не могут, у них уже ни на что нет сил, они превратились в тормоз партии, вокруг застой и апатия, и причина именно в них. Сколько сил и сколько лет де Сталь потратила на то, чтобы убедить его в этом: она говорила ему, что их всех давным-давно пора пустить под нож, партия нуждается в притоке новых людей, новой крови, партия должна омолодиться, обновиться. Она спрашивала его: партия живой организм или труп? Если она живой организм, то она должна подчиняться законам природы, каждый садовник знает, что если осенью не обрезать старых ветвей, сад одичает и перестанет плодоносить. Она говорила ему, что огород надо пропалывать, часто пропалывать, иначе ничего не вырастет; если жалеть сорняки, все то, что глушит, тянет соки из полезных растений, урожая не будет, его просто не может быть.

Но он не слышал ее, не хотел ее слушать, гнал от себя всякий раз, когда она начинала этот разговор. Для него было невысказано, как я уже говорил, что хоть кто-то из старых товарищей по партии может уйти из жизни с его ведома, он был очень хороший, очень добрый и немного сентиментальный человек; конечно, он был лучше всех, кто его окружал, но для партии, для страны в то время доброта была не благо, а зло. Она ничего не могла с ним поделать. Только ревность, только она одна освобождала, раскрепощала его, только она могла его принудить расправиться с большевиком-подпольщиком, но в конце концов не могла же де Сталь переспать с половиной страны. На тысячах примеров она ему объясняла, что революция есть явление природы, что она органична и всегда права, и если судьба сделала его вождем революции, он

обязан, не имеет права не подчиняться законам природы, это единственный закон, которому он, Сталин, должен подчиниться. Природа, говорила она ему, устроена так, что смерть — ее часть, смерть — инструмент ускорения жизни, вне смерти есть лишь застой и летаргия; смерть отсекает тупиковые линии, отсекает тех, кто уже не способен к развитию, не может ничего добавить. И это касается всех, всей страны, а не только одних большевиков. Если он хочет быстро и не так мучительно для народа построить коммунизм, он должен убивать и убивать; все, что пытается остановить, затормозить, помешать их общему делу, должно быть уничтожаемо абсолютно безжалостно, коммунизм — это строй совершенных людей, люди несовершенные построить его никогда не сумеют, наоборот, они всегда и везде лишь помеха, он должен уничтожить их как сорняки, чтобы сохранить землю, солнце, воду для тех, кто совершенен.

Он соглашался с ней, он и сам все это знал, но печально говорил, что сделать с собой ничего не может, что ему легче отказаться от власти, чем убить хотя бы одного человека, даже об убитых им ее любовниках он теперь иногда жалеет. Она гнала от себя мысль, что, быть может, он просто не создан для власти, ему не хватает воли, не хватает решительности, чтобы стать настоящим вождем революции, и он должен уйти, дать место тем совершенным людям, о которых она ему каждый день говорит. Де Сталь уже отчаялась убедить его в том, что репрессии, массовые репрессии абсолютно необходимы для революции, что без них никак нельзя, когда вдруг — это было 1 мая 1929 года, праздник — нашла слова, которым он поверил. Она и сама

потом не могла понять, почему он не слышал от нее об этом раньше, почему именно с этого она не начала. В тот день она сказала ему, что смерть, которой умрут люди, убитые по его приказу, это не настоящая смерть, это как бы смерть понарошку, смерть как в сказке; настанет коммунизм, настанет время, когда эти когда-то убитые люди уже ни для чего не будут помехой, и тогда, как и говорил их учитель Федоров, все они будут возвращены, воскрешены, все они восстанут из пепла. Совершенные люди примут на свои плечи весь тяжкий груз, всю ношу строительства новой жизни, а эти маленькие, ущербные, жалкие человеки только за то, что они согласились не мешать, не утяжелять крест еще больше, для этого на время уйти из жизни, получают награду, самую щедрую награду из всех возможных наград. Прямо из небытия они попадут в мир, прекраснее которого никогда на земле не было, мир счастья, гармонии, вечной молодости, вечной красоты, любви, радости. Они вернутся в рай, из которого когда-то за грехи был изгнан Адам, в рай, о котором они продолжали мечтать, поколение за поколением.

Этот разговор был решающим для судеб страны. После него Иосиф Сталин стал наконец настоящим Сталиным, тем Сталиным, каким мы все его знаем.

\* \* \*

Рассказ об Институте природной гениальности и о Сталине был последним из растянувшейся на полторы недели серии наших с Ифраимовым ночных бесед. Сначала мне это было интересно, каждый вечер я боялся, что

он не придет, был счастлив, когда он все-таки приходил, я был к нему и по-человечески очень привязан, но потом я перестал понимать, зачем, для чего он рассказывает мне о де Сталь.

Он знал, что я ежедневно до позднего вечера выслушиваю, стенографирую, а потом еще и расшифровываю исповеди людей, которые лежат у нас в отделении, знал, почему и ради чего я это делаю. Возможно, мои взаимоотношения с Богом — я почти все Ифраимову про себя рассказывал, — уход Его от меня и от других, который я чувствовал, любовь которой я думал спасти стариков и весь мир, казались ему наивными; может быть, вообще со стороны мой «Синодик» выглядел не чем иным, как сумасшествием, бредом, но он не мог не видеть, как это и для меня самого, и для тех, кто вместе со мной лежит, важно. Он не мог не видеть, как немощные старики с раннего утра выстраиваются друг за другом, и хотя я их всех по их просьбе давно уже аккуратно, по порядку, переписал, вывесил этот список для общего обозрения и сказал, что сам теперь буду следить, кто за кем, они могут спокойно заниматься своими делами — их выслушают точно в срок, по справедливости, они все равно изо дня в день стоят в очереди, никуда не отходя и ни разу не присев. Мне прежде казалось, что Ифраимов относится ко мне с уважением, пожалуй, даже с нежностью, что он тоже ко мне привязан; но я все меньше его понимал, ведь он видел, что я стенографирую за ним точно так же, как за другими, и ни разу мне не сказал, что в этом нет необходимости, то есть он знал, что я собираюсь внести в свой «Синодик» его историю; но почему она должна там быть,

почему этих людей тоже нужно сохранить, я от него ни разу не услышал.

Вряд ли он вел себя этично: каждую ночь я писал за ним три, иногда и четыре часа, потом расшифровывал, правил, все это занимало никак не меньше десяти часов. Я не высыпаюсь, ночью я вообще почти не спал, расшифровывать я садился сразу, едва он уходил, боялся забыть детали, сам колорит того, что он рассказывал; утром я тоже не спал: приходили больные, кротко, не говоря ни слова, выстраивались в очередь, которая начиналась прямо у моего изголовья; конечно, я спать больше не мог, вставал, брал бумагу, ручку и опять писал за ними. Из-за Ифраимова очередь двигалась чуть ли не вдвое медленнее, чем могла бы, он отнимал у меня столько же времени и сил, сколько все остальные, но ради чего? — история, конечно, была довольно интересная, и начал он ее рассказывать тоже по моей просьбе, но это было давно. Сейчас она мне была совсем не нужна, он знал, что я теперь стараюсь записывать только то, что имеет прямое отношение к больнице, к нашим старикам. На большее у меня просто нет сил. Я часто хотел его спросить об этом, но никак не решался, мне было неудобно, и потом я каждый раз ждал, что вот сегодня он сам скажет, как-то объяснится со мной. Однажды я все же собрался с духом, но он вдруг встал и пошел к двери, кричать же в спину мне показалось глупо. За последние полторы недели я очень устал и мечтал лишь об одном — выспаться, я думать ни о чем не мог, кроме как о том, чтобы выспаться, поэтому, когда Ифраимов наконец оборвал свое повествование, для меня это было огромным облегчением.

Первую ночь без беседы с ним я спал как убитый, проснулся свежий, бодрый и потом до вечера много и хорошо работал. В тот день я вместо одного пропустил трех человек, очередь пошла несравнимо быстрее, мне это было, конечно, приятно, да и больные тоже повеселели. Они, особенно те, кто в хвосте, стояли, уже ни во что не веря и ни на что не надеясь, но в них была та же безнадежная решимость, что и в военных очередях за хлебом: вдруг все-таки сегодня будут давать? Вдруг будет чудо? Потому что дома этого чуда и быть не может, а здесь — да. И тут очередь, как говорится, пошла, они все пересчитали, и у них получилось, что если и дальше будет как сегодня, то я до конца февраля успею исповедать едва ли не каждого, возможно, даже крайних. Вера последних передалась другим, ведь это значило, что Господу нужны все человеческие жизни, все до одной, а не только жизни праведных и избранных.

Боясь, что Господь может передумать, я начал спешить, писал и стенографировал очень быстро, правда, мне пока хватало такта никого не торопить, я по-прежнему и выслушивал, и записывал, что они говорили дословно. Да и нужды в подстегивании не было, они давно стеснялись, что занимают столько моего времени, стыдились они и своих, которые стояли рядом. Подгоняя себя, они часто переходили то на причитания, то на скороговорку, комкали слова, проглатывали целые куски жизни, так что, наоборот, мне приходилось их замедлять, а временами, когда я терял нить, останавливать и возвращать вспять. В них было теперь много кротости и благородства, — каждый, кто доходил до меня, больше думал не о себе, а о том, что если другой во-

обще не успеет выговориться, не будет записана жизнь, возможно, и для Бога куда более важная, чем его собственная. Из-за этого в них усиливалась новая вина, им все время надо было каяться, просить прощения. По-настоящему они хотели одного — примириться с теми, кто стоял рядом, и тихо уйти.

Конечно, старики были совсем не обычной очередью: в них было мало радости, что вот я успел, прорвался; они понимали, что жизнь одного — лишь часть целого, а выжить, спастись они могут только как целое, я даже думаю, что они собирались и весь день вот так стояли не потому, что боялись потерять место. Они хотели и себе, и мне, и Богу показать, что это раньше они были отдельными людьми — людьми, и жизнью и болезнью отделенными друг от друга, теперь же они вместе, теперь они будут всегда вместе, возврата к прошлому нет. Безнадежная решимость, о которой я говорил выше, быстро уходила. Они чтити справедливость, но мне казалось, что если бы кто-нибудь из них попросил пропустить его вперед, они бы на это пошли, даже не стали бы спрашивать, почему, по какому праву. Они сделались теперь очень хороши, очень ласковы и нежны друг к другу — ведь они стояли за любовью, знали, что их может спасти одна любовь, и они хотели, чтобы в мире ее было больше, чтобы ее хватило на каждого. И сами они тоже были готовы любить.

Так продолжалось несколько дней, все шло хорошо, на редкость хорошо. Записывал я теперь намного профессиональнее, чем раньше, у меня появилось много своих секретов и совершенствований, и расшифровывал я

тоже профессиональнее, поэтому успевал немало, причем даже не очень устал. А потом как-то вечером, когда я ничего плохого не ждал, даже думать о нем забыл, в меня опять вернулся страх.

Я испугался не количества работы, хотя не прошла еще и пятая часть больных, я вдруг понял и ужаснулся самому себе, тому, что мне могло прийти в голову, что я поверил, будто у меня хватит любви на всех этих людей, хватит сил всех их полюбить, — у меня одного. Я ведь это подрядился сделать, именно это обещал Господу, а не простую запись их исповедей. Я увидел, как мало во мне любви; я просто писал и писал, иногда мне было интересно, и тогда я слушал и писал с удовольствием, иногда — не очень; я относился к больным хорошо, сочувствовал им, гордился, что и те, кто мне любопытен и кто нет, для меня равны, но разве здесь была любовь?

И сразу же я понял, что они все, вся очередь давно знает, что я самозванец, не имеет на этот счет никаких иллюзий, понимает, что во мне нет и не может быть столько любви, что я обычный человек, не лучше и не хуже остальных. И все же они не расходились, по прежнему день за днем стояли у моей кровати. И я уже знал, почему, знал, что они будут вот так стоять, пока не наступит конец. В них была жива надежда на чудо, ведь Господь мог дать мне эту любовь. Они видели: навсегда Он ушел, бросив человека, или еще только уходит, все равно Он дальше и дальше от них, и они тоже дальше и дальше от Него, и они знали, что из-за меня Он какое-то время, кажется, колебался, даже замедлил Свой уход; значит, они могли, были вправе надеяться, и они стояли у разда-



чи, веруя, что им все-таки достанется хлеба любви. Того хлеба, которым Господь питал человека со времен Адама, но который не сделал человека лучше, столько в нем было зла.

Что стоило Господу в самом деле меня обелить, сделать, чтобы я перестал быть самозванцем, — я ведь и вправду хотел добра; если же нет, то все равно вместе, среди своих стоять теплее. И потом, они уже начали любить друг друга и боялись разрыва. В жизни они теряли чересчур много и часто, чтобы не бояться этого.

Как ни странно, но я только теперь понял, насколько по-разному больные и я тогда смотрели на мир. Я мечтал их спасти, показав Богу, сколько любви может быть в человеке, то есть он, человек, может, способен полюбить совсем для него далеких и чужих людей — старых, грязных, уродливых стариков. Господь, как бы говорил я, Ты решил их оставить, бросить, а я подобрал, взял под свою защиту, — тут, конечно же, был Господу укор, я словно говорил ему: смотри, я буду Твоим учителем в любви. И бунт против Бога здесь тоже был; почему, стоит нам захотеть быть лучше, чем мы созданы от природы, мы сразу же идем против Него, неужели и в хорошем у нас тоже есть предел, граница, и мы не должны ее переступать? Больные же целиком уповали на Бога, я не знаю, молились ли они ему и как они ему молились, по большей части они ведь были атеисты, но слышал, что они говорили Господу, что я хороший, очень хороший человек, что я хочу их всех полюбить и, может быть, стоит мне в этом хотя бы чуть помочь, — ведь я уже дал им много любви, в них эта любовь есть и сейчас; это моей любовью, говори-

ли они Богу, они начали жалеть друг друга. То есть моя любовь — не ложная, не фарисейская, и они просили Бога, считали, что это будет справедливо, если Он сотворит чудо — даст, добавит мне любви, чтобы ее хватило на каждого. Всё с любовью, что я хотел, они оставили, не изменили здесь ничего, только убрали, что я — сам, убрали мой укор, мою гордыню, мой бунт; это больше не должна была быть любовь человека к человеку, а любовь Бога к человеку, но через человека явленная.

\* \* \*

Кто знает, может быть, Господь и услышал бы эти молитвы, но дело касалось не столько больных, сколько меня, и Он ждал, когда я сам обращусь к Нему, сам попрошу, а у меня больше не было сил ни на жизнь, ни на веру в чудо. Я по-прежнему работал, но с каждым днем мне это давалось тяжелее, меня охватила какая-то апатия, мне, в общем, сделалось совершенно безразлично, пишу я эти исповеди или не пишу, я словно забыл смысл своей работы, просто делал ежедневный урок — и все. Возможно, эта безнадежность была совсем не связана с тем, что я уже не верил, что могу им помочь, а просто приближался новый припадок. Моим прежним, еще добольничным приступам за неделю и больше, как правило, предшествовали очень похожие вещи. Припадок действительно пришел, но был для меня необычным: сознание тускнело медленно и постепенно, но не гладко, а будто мерцая, временами я чувствовал себя настолько хорошо, что даже мог говорить, потом оно снова уходило, это не было обры-

вом, скорее напоминало те дни, когда меня начали глушить большими дозами лекарств, и я все никак не мог к ним приспособиться.

Давно уже я по-настоящему боялся одного — потери памяти, но в том состоянии, в каком я тогда находился, припадок был для меня благом. Я хотел все оставить позади, забыть, и только он мог дать мне это. Первым ослабел страх, от него осталось слово, понимание, что он есть, но не он сам. Мне был дан отдых, возможность заснуть, отойти в сторону, то есть я ни в чем не был обвинен, и мне было обещано если не прощение, то милость. И вот последнее, что я помню: я хочу у всех просить прощения и всех простить, я уверен, что все будут прощены, все, не только я, оправданы, вообще все будет так, будто я сумел сделать то, что хотел, — мне хватило, достало любви.

Я говорю это тем, кто лежит со мной в палате, я рад, что могу обрадовать их, потом выхожу в коридор, чтобы сказать эту добрую весть и другим, и тут наталкиваюсь на Ифраимова. Хотя и с упреком, но, в сущности, давно уже его простив, я говорю ему: «Почему, зачем вы мне рассказывали эту длинную непонятную историю, к чему все это?» Говорю, понимая, что пока она не окончена, пока я не знаю ее смысла, по-настоящему заснуть и забыться я не смогу.

На что он мне грустно отвечает: «Как, Алеша, разве вы не помните, что много раз спрашивали, кто эта странно элегантная старуха из соседней палаты? Вы еще удивлялись, что не можете понять, кто она: из обычных здешних пациентов или из нас, воспитанников ИПГ. Так вот — это мадам де Сталь, та самая Жермена де Сталь, о которой я вам рассказывал, вдобавок еще во плоти. Это

история ее жизни, и я думаю, она имеет право быть занесенной в «Синодик». Влюбленный же в нее старик — знаменитый философ Федоров; мне кажется, что и он, как, впрочем, и солдаты, с которыми спят медсестры, тоже должны быть помянуты, ведь на самом деле они никакие не солдаты, — а дети Федорова от мадам де Сталь, те лишенные разума дети, которых она родила ему в Петербурге и которых в молодости он ни разу не видел. Даже не знал, что они у него вообще есть. Он и сейчас не верит, что они его сыновья», — говорит мне Ифраимов, и сразу вслед за его словами, словно и вправду мне именно это надо было, чтобы заснуть, в моей памяти — провал. Делал ли я что-нибудь еще, говорил ли с кем-нибудь, я ничего не помню, во мне только есть сознание, что я был болен очень долго, чуть ли не целую вечность.

Всего я был без памяти больше полутора месяцев — это немалый срок, но на этот раз сознание восстановилось быстро и довольно легко, я пришел в себя, будто просто заснул, проспал ночь и вот теперь очнулся. Совпало даже то, что заснул я вроде бы во время разговора с Ифраимовым, а первое, что четко помню, когда отошел: он стоит рядом со мной у окна и ногтем что-то чертит на заиндевевшем стекле. Как между камнями хорошей кладки нож, здесь не помещается даже ночь: просто говорили в коридоре, потом перебрались в палату. Но нынешний приступ у меня не первый, я знаю, что он был, знаю, что я долго был без памяти, и мы говорили с Ифраимовым о мадам де Сталь, о Федорове, о солдатах отнюдь не вчера — тут меня не собьешь, я нутром чувствую, что вокруг меня все другое.

Люди, которые живут гладко, день за днем, редко замечают изменения, ведь они добавляются по капле, а так сегодня то же, что и вчера, и завтра, судя по всему, будет то же самое; жизнь их имеет только одно начало и один конец, у их памяти совсем мало опор, они, конечно, есть, но их мало: несколько эпизодов из детства, брак, рождение детей и т. д. Мы же, те, кто больны той же формой амнезии, что и я, по многу раз за жизнь начинаем заново, наше существование куда более резко очерчено и разделено, части его автономны, и мы даже не очень стремимся заполнить лакуны, продолжить жизнь, как будто ничего не случилось. После третьего, четвертого припадка в большинстве своем мы начинаем ценить этот рваный ритм, мы уже приспособились к нему, и нам нравится, что все свежо, ярко, много красок, совсем мало рутины и вкус жизни иной, — ты ведь вернулся почти что из небытия. Однако первые дни после приступа для нас нелегкие, как правило, мы тогда до крайности осторожны и в словах, и в вопросах, редко вступаем в разговор, только смотрим со стороны, слушаем, пытаемся разобраться. Это из-за боязни попасть впросак, прослыть сумасшедшими. Каждый раз мы поражаемся, сколько нового произошло, потому что, чтобы все запомнить, быть на уровне, обычно приходится тратить чуть ли не три месяца за один месяц без памяти, как на войне — год за три; соответственно, и опасность мы тоже чувствуем, как на войне. Мы видим ее сразу, ни о чем предупреждать нас не надо. Особенно мы осмотрительны там, где чего-нибудь не понимаем.

Но на этот раз я, очнувшись, вдруг почувствовал, что не только я, но и те, кто не терял памяти, тоже ничего не

понимают, тоже боятся. Это было новое ощущение — жизнь, которая никому не казалась рутинной, устойчивое, стабильное куда-то ушло, а на его место пришел страх. Страх был настолько везде и отовсюду, что я, наверное, мог догадаться, что здесь не один мой страх, но в моей жизни такое было впервые, и сначала я себе не поверил, решил, что был без памяти год или, может быть, даже больше; и, конечно, очень удивился, когда, осторожно наведя Ифраимова на данную тему, узнал, какое сегодня число. Только тут я понял, что этот страх и вправду лишь в малой своей части — мой собственный: не знаю почему, но боятся они все.

За окном падал снег. Ветра не было, и он падал большими и очень густыми хлопьями, ложился на деревья, на землю, на цветочную клумбу. Последние дни, кажется, была сильная оттепель, земля оттаяла, и сначала согретый ею воздух временами шел вверх, снег тогда останавливался, иногда даже медленно поднимался вместе с ним; было похоже, словно хлопья тонкими ниточками привязаны к небу и кто-то, еще ничего не решив, то дает им упасть, то снова, раскаявшись, тянет к себе. Но это продолжалось недолго, земля быстро остывала, и к ночи, когда на территории больницы зажгли большие желтые фонари, все уже было покрыто снегом, остался он один, даже черные ветки деревьев сделались в темноте не видны, лишь обозначены белым.

Я уже знал, что сегодня двадцать восьмое марта, и сказал Ифраимову: «Наверное, это последний настоящий снегопад, до января снега вообще не было, так я и остался в этом году без зимы».

«Нет, Алеша, — ответил он грустно, — это не последний снегопад, снег будет идти еще сорок дней и сорок ночей, будет падать и падать...»

«Но ведь этого не может быть, — возразил я, — чтобы в Москве весь апрель и май каждый день без перерыва шел снег».

«Да, — сказал Ифраимов, — прежде такого действительно никогда не было, но нынешний год не похож на предыдущие; вслед за тем, как сорок дней кончатся, пять месяцев, сто пятьдесят дней, будет бушевать пурга, метели, они нанесут столько снега, что от самых высоких гор до последней низины, от юга и до севера все замерзнет, все потонет и уйдет под снег. Лишь следующей весной придет тепло, и он наконец растает и водой стечет в море».

«Получается, — сказал я, — что это как потоп... Кто же этот год тогда переживет?»

«Это и есть потоп», — подтвердил Ифраимов.

«А тот, первый потоп, — спросил я, все еще не очень ему веря, — из-за чего он был? Почему Господь хотел тогда нас погубить, и сейчас, почему сейчас Он опять это хочет?»

«Господь, — сказал Ифраимов, — создал земной мир таким же законченным и прекрасным, каким был Рай, все словно было на вершине, в расцвете, и человек тоже; но душа его была душой ребенка, она родилась только вчера и только вчера начала длинный путь, который должна пройти душа человека, чтобы узнать, что в мире добро, а что зло. Адам был ребенком, взрослым ребенком, и, отведав плода с Древа познания добра и зла, получив высший дар — дар творения, он начал играть с ним,

как всякий ребенок. В том, что он делал, он был беззаботен и бесстрашен, душа его еще не была воспитана, и он не знал за собой греха. Изгнав его из Рая, Господь отдал ему, ребенку, мир, и по Слову Господа Адам соединился, познал все живое, что было на земле, чтобы каждый получил свое истинное имя.

Земля была дана человеку, чтобы он управлялся на ней сам, и Господь отошел в сторону. Но человек не остановился в познании, не испугался своего дара, я говорю: он был бесстрашен, как ребенок; мир вокруг был един, все соединялось со всем, — и этот восторг обладания друг другом, понимания, что все-все тебе родное, все твое и ты принадлежишь всему. Ты не один, слава Господу, ты не один, ты — лишь часть целого и ни за что не в ответе. Всякая плоть извратила свой путь, даже ангелы стали входить к дочерям человеческим, увидев, как они прекрасны. Живое забыло заповедь Господа, сказавшего: «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». Скоро мир заселили невиданные уроды и ублюдки, из подобия Рая земля сделалась некоей чудовищной кунсткамерой. Она растлилась, наполнилась убийствами, злодеяниями, насилием. И Господь, узрев это, ужаснулся миру, который Он породил.

Но самым страшным из мутантов был выношенный человеком странный кентавр добра и зла; тоже ребенком, играясь, Адам скрестил их, и появилось зло, которое рождает добро, добро, которое ведет ко злу, и еще великое множество его разновидностей, где вообще не разберешь — где кончается одно и начинается другое, так все



перепуталось и переплелось. Наслав на землю воды первого потопа, Господь думал очистить мир, снова вернуть его в первозданное состояние; большинство уродов и вправду тогда утонули, но с этим мутантом Господь ничего поделаться не сумел. Не имея тела, он жил в душе человека, жил в душе даже самого праведного из людей, Ноя, и, попав на Ковчег, уцелел.

Даже Христа, Сына Божьего, чистое добро, данное Господом людям во искупление их грехов, данное как прощение, как возможность очиститься и воскреснуть для жизни с Богом, и Его сумели соединить со злом: сколько крови, сколько несправедливости творилось Его именем, сколько невинных погибло! Господь не питал иллюзий на сей счет. Он говорил после потопа:

«Не буду больше проклинать землю из-за человека, ибо помысел сердца человека зол с юности его». То есть, что человек может исправиться, Он не верил. Живые твари, сумевшие сохранить свое естество таким, каким его сотворил Господь, ко времени потопа еще существовали, а чистого добра уже не оставалось — все оно было перемешано со злом».

«Но ведь Господь, зная это, все равно поклялся, что никогда больше не будет напускать воды потопа на землю и губить живое, — сказал я, — почему же сейчас Он нарушил слово?»

«Да, — согласился Ифраимов, но этот потоп — не воля Господа, он лишь снизошел к молитвам, которые много тысяч лет обращал к нему людской род. Если до потопа человек, не ведая греха, легко творил зло, то после потопа, после Ноя он понял, как греховен, как далеко

он отошел от Бога, грех стал доставлять человеку невыносимые страдания, он был как короста — все тонуло во зле. Да и тогда были те, кто сумел найти путь к Богу, сумел и среди всеобщего зла оставаться праведным, именно их молитвами чаша весов долго колебалась, иногда даже казалось, что их жизнью, их учением, их пророческим даром добро одержит верх, но потом люди окончательно отчаялись.

Когда-то человек думал, что может спастись, вернуться в Рай сам, без помощи Бога, вернуться, построив Вавилонскую башню, — теперь же он, вспомнив, что создан по образу и подобию Господа, решил повторить Его в другом — призвать потоп и покончить со злом.

Мысль эта крепла и крепла в людях, пока не настало время, когда они не могли думать ни о чем ином. Это стало манией. Они были уверены, что то, чего хотят, угодно Господу, и не скрывали, что их потоп будет куда жестче Божова; они знали, где корень зла. Знали, что корень — в них самих, что он — в каждой душе человеческой, и они стали молить Господа о смерти, молить, чтобы погибли все, весь их род, никто, будь он даже праведник из праведников, не должен был уцелеть. Революция и была попыткой потопа.

Потоп, — говорил Ифраимов, — вовсе не всегда связан с водой. В Торе даже оговорено, что при Ное Господь наслал на землю потоп вод, сам же «потоп» в переводе с древнееврейского означает «смещение всего и вся», то, что случается во время огромного паводка, — вода сносит с гор, с высоких мест в низины и дома, и сады, и тех, кто там жил; все или погибло, или разрушено, занесено

землей, грязью; корни, связи между людьми и между вещами обрублены, — кто, где, когда, откуда, — все стерто, забыто, уравнено, и концов не найдешь».

«Когда же это началось, — спросил я, — как давно это в нем появилось, что человек сам захотел своей смерти, решил, что ему уже никогда со злом не справиться?»

«Ну, трудно сказать, — ответил Ифраимов, — даже, наверное, и нельзя точно; все шло, вызревало очень медленно; лежал тут у нас один человек, правда, недолго, фамилия его Ильин, так тот говорил, что совпало это с приходом Христа; но я бы, например, столь жестко дату ставить не стал, мне вообще кажется неправильным, что сегодня может быть одно, а завтра — совсем другое. Хотя, конечно, приход на землю Иисуса Христа — рубеж.

\* \* \*

Господь, говорил Ильин, тогда задумал спасти человеческий род и послал на землю Его — второго Адама, дав знать людям, что грехи их прощены, искуплены, все плохое забыто и жизнь может быть начата заново. На этот раз Господь не повторил ошибки: Христос был зачат на земле и, в отличие от Адама, здесь же, на земле, должен был прожить полную человеческую жизнь от рождения до смерти. Жизнь с младенчеством, детством и отрочеством. Однако, говорил Ильин, раньше, чем Христос, еще дитя, начал ходить, Его рождение странным образом перестало быть тайной, изменило мир. Изменилось и стало другим все: и устройство жизни, и соразмерность, и отношение ее частей, само ее здание, — измени-

лось даже то, что считалось в мире праведностью и грехом; да, праведность — всегда праведность, а грех — всегда грех, и все-таки в пространстве между ними нечто было нарушено, сдвинуто, искажено. Многие сбились, заблудились тогда, их спутала путеводная звезда, которая вела волхвов к Христу, они потеряли дорогу; и то, к чему стремились эти люди, люди, знавшие испокон веку свой путь, знавшие, что силы их невелики, — разом рухнуло и уже не могло быть правильным на земле, во всяком случае, пока на ней был и по ней ходил Иисус Христос».

«Я не хочу так сказать, — говорил Ильин, — но получается, что когда появился на земле Христос, там, где Он жил, в Израиле, остался как бы только один — революционный и мгновенный по своей сути путь праведности, тот путь, которым шел Сын Божий и Его ученики. Живущие под звездами волхвы и пастухи первыми заметили нарушение естественного строя жизни, оно было сильным: Господь спустился в мир, где человек должен был управляться сам, и его пространство оказалось тесным для Бога. Это нарушение привычного хода вещей, это столь массивное пришествие Бога на землю (напомним, что ни до, ни после ничего подобного не было) с неизбежностью изменило судьбу избранного Им народа и не только его.

Три года ходил Иисус, проповедуя, по Израилю, и от них осталось не только то, что Он говорил Своим ученикам и что через Писание дошло и до нас, — не менее важным было знание, вынесенное из земной жизни Самим Христом: единственное, что может помочь человеку, —

чудо. Христос не утешает калек и больных, у Него для них нет слов, Он и не призывает их смириться — Он их лечит. Это суть: участь калек, увечных и бесноватых так ужасна, что без спасения слова — ничто. То, сколько чудес, самых разных, совершает Христос на земле, показывает, как необходимо чудо в мире, как целительно и что без него нельзя. Творя чудеса, Господь исходит из убеждения, что мир страшен и Он, Христос, послан спасти его».

Тот же Ильин говорил: все споры между Христом и фарисеями сведены в притчу о рабочих; в ней спорят два пути к Богу: хозяин за динарий (вечное спасение) нанимает рабочих на свой виноградник; когда полдень миновал, нанимает других, за час до окончания работ — третьих, и всем платит одну цену — динарий и, когда работавшие с утра возмущаются, говорит им: «Друг! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойдешь; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними; ибо много званых, а мало избранных».

Здесь видно, что чудо, милость — больше справедливости, больше долгой, медленной и тяжелой работы, чудо больше всего. В основании всего, что, исполнившись Святого Духа, Христос делает на земле, — добро: прожив столько лет в миру, видя так много зла, Он теперь, перестав быть человеком, став Мессией, снова став Богом, не может не творить добро, как можно больше добра, добра самым слабым и увечным и самым грешным

тоже. Он, в сущности, нарушает Им же установленный порядок вещей: не медленный путь раскаянья и исправления человека, не медленный путь спасения его от греха и — как награда прошедшему этот путь — вечное блаженство, а просто горы и горы добра, мешки добра, и чем хуже тебе, чем более ты слаб и грешен, тем более достоин добра, достоин милости и снисхождения. Чтобы добра было больше, Он посылает Своих учеников во все стороны, говоря им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте», — и дальше: «Даром получили — даром давайте», — чтобы они не задумывались, творить добро или нет и достоин ли просящий милости.

Ильин говорил: в Христе есть много радости Бога, который может и, наконец, творит добро, который уже не должен ждать, когда созданный Им человек исправится, не должен смотреть на все бесконечные беды и горе человеческой жизни, который любит человека как Свое дитя, ведь человек и есть Его дитя, Его продолжение, и создан он по образу Его и подобию, и в страданиях тоже. Бог просто дальше не в силах смотреть на беды людей, видеть, что зло множится, что его каждый день все больше; а так, конечно же, в Божьем мире быть не должно; и потом, разве Он не помнит, с чего и когда началось зло в мире? Началось, когда человек был ребенком, и трудно даже сказать, отвечал ли он за свои поступки, мог ли отвечать за них, да и зло, сделанное им, разве сравнимо с тем, что было дальше?

И вот Сын Божий, полный любви, полный желания простить, жажды, чтобы зла больше не было, и еще —

жажды равенства: почему у одних есть все, и праведность тоже, а у других — ничего, ведь они от одного корня, от Адама; Он тем, у кого ничего нет, у кого меньше всего, — нищим, больным, увечным, мертвым, — дает чудо прощения и избавления. Но тогда, говорил Ильин, то, для чего создан Богом человек, человек, которому дано творить добро и зло и который когда-нибудь, по вере Бога, откажется от зла, свободно выберет добро и, значит, установит истинность, доброту Господня мира, окажется невыполненным и все, что было после рождения человека, все зло — ненужным, простым порождением зла. И сделанное на земле праведниками — тоже ненужным, и нет у Бога никого, и, главное, добро не лучше зла, люди не выбрали его. Не захотели или не успели. И Христос останавливается.

Ильин говорил: иудейская вера — это вера не учеников, а детей, христианство же — вера учеников. У Христа не было детей, и Он никогда о них не думал. Сам Он был Сыном Божиим, но представить себе, что, вознесясь на небо и сев одесную Бога Отца, Он мог оставить вместо Себя на земле Своего Сына, невозможно, это была бы уже совсем другая вера; дети Христа — его ученики, ученики его учеников и так далее. То был, конечно, иной, неприродный, и потому странно быстрый путь распространения веры. Случалось, что за один-единственный день в христианство обращалось население целого города или, как с Русью, целый народ. Ученики Христа очень и очень спешили, веря, что его Второе пришествие и Страшный суд — скоро, очень скоро, может быть, через пятнадцать, может быть, через двадцать лет, или время, которое у них оста-

лось, еще короче. Они пытались спасти как можно больше людей, больше и больше, могли думать только об этом.

Церковь Христова была огромным Ковчегом, который единственный мог спасти и сохранить всякого, кто оказался под его благословенным кровом. Христианство шло по земле, как лесной пожар, Слово Божие достигало самых отдаленных окраин, опережая подчас и апостолов. Все это задавало мировой истории необычно ускоренный, почти трагический темп. Конечно, он был оправдан близкой и так быстро близящейся гибелью, конечно же, был допустим и даже понятен в контексте всеобщей смерти, всеобщей гибели и разрушения. Стоило ли жалеть хоть что-нибудь из прошлого мира, раз он все равно был обречен? Ученики сделали христианство верой кануна конца, очень краткой, почти переходной верой. Вся история в ней оказалась построенной на чуде, во всем этом было слишком много разочарования в том прежнем пути, которым шел человек, и очень много надежды на Бога, очень много веры в то, что Он поможет и спасет. И еще была вера, что если человек в один день может перестать быть язычником, обратиться, познать Единого Бога, значит, человеческая душа вообще очень мягка и пластична и ее совсем не трудно изменить, а еще легче, чем душу, переделать мир, отряхнуть прах прошлого со своих ступней и, начав все заново, построить на земле Рай.

«Неужели, — сказал я Ифраимову, — мир настолько непрочен, что из-за какого-то снегопада может погибнуть, будет засыпан и потонет в снегах?»

«Да, — подтвердил он, — непрочен. Человеку было дано больше свободы, чем он смог вынести, мир его ока-



зался таким сложным, в нем было так много запретов, что он запутался, и концов уже не найдешь».

«Значит, на этот раз не уцелеет никто, погибнут все?» — сказал я.

«Нет, — возразил Ифраимов, — как и во время первого потопа, будет Ковчег, и несколько человек спасутся, после потопа жизнь их продлится».

«Где же он?» — спросил я.

«Это наше отделение», — ответил Ифраимов.

«И Господь, — снова спросил я, — ничего не сохранит, не пожалеет ни о ком, кроме этого отделения старческого маразма? Неужто Он верит, что только те, кто здесь, достойны спасения?»

«Да, — сказал Ифраимов, — только те, кто здесь, и то не все. Ковчег перегружен; или большая часть из нас добровольно покинет его, или он потонет».

«Значит, и на Ковчеге будет дележ на чистых и нечистых, нечистые погибнут, а чистые спасутся ценой их жизни и все равно в глазах Господа будут праведными?»

«Те, кто уйдет, — повторил Ифраимов, — уйдут добровольно, во всяком случае, по внешности уйдут добровольно, их даже трудно будет удержать. На Ковчеге они — случайные люди, они не сами пришли, их доставили сюда насильно, для них здесь тюрьма, и они мечтают об одном — выбраться на волю».

«И они будут знать, на что идут, будут знать, что мир гибнет и они тоже погибнут, если оставят Ковчег?»

«Трудно сказать, возможно, и нет. Наверное, правильнее сказать, что они будут обмануты, но насилия не бу-

дет, не будет совсем. Это правда. И не надо больше допытываться: тут никто не виновен, в этом случае все решает Бог, а не человек. Год, когда был потоп, Господом вообще изъят из человеческой истории, в счете лет его нет. Человек был тогда ни в чем не волен, это время Божественной, а не человеческой истории».

«И все-таки, — сказал я, — я слышал, что есть такой талмудический комментарий: два человека, один ученый, знаток Торы, по-еврейски «талмид хахам», второй — не знающий Священного писания, «человек земли» (ам-гаарец), умирают в пустыне от жажды. Воды, чтобы дойти до колодца и спастись, хватит лишь одному. И вот Талмуд говорит, что вся вода должна быть отдана талмид хахаму, потому что иначе вместе с ним может погибнуть и знание Торы. Но, отмечает он, талмид хахам не может взять у ам-гаареца его воду, потому что тогда он примет в плату за ученость целую человеческую жизнь, а ведь единственное, для чего нужно знание Торы, — это чтобы быть праведным; взяв же чужую жизнь, человек уже не может быть праведным перед Господом. Путь ученого человека и путь человека земли должен быть одинаков, пускай они вместе умрут в пустыне, говорит Талмуд, зная, что оба дети Божьи, что оба созданы по образу Его и подобию, оба Им любимы, или пускай Господь обоим им пошлет чудо и спасет их, как спас Иосифа. После Исаака никто не может принять в жертву жизнь человека».

«Да, — повторил Ифраимов, — но здесь другое, здесь никто не волен».

«Кто же Ной?»

«Николай Федорович Федоров».

«Федоров? — удивился я. — Но ведь вы сами говорили, что он чуть ли не восстал против Бога, что он пытался продолжить дело строителей Вавилонской башни?»

«Это так, — ответил Ифраимов, — но это не все. Евреи всегда обвиняли Ноя в том, что он не отмолил, не спас, допустил гибель человеческого рода. Хотя он и был праведным и непорочным, хотя и был пророком (Господь не раз говорил с ним), евреи утверждали, что он был праведным, по словам Бытия, только среди своих поколений, как известно, столь развращенных, что Господь обрек их на смерть. То есть он был лучшим среди худших, в поколениях же Авраама он бы не был даже замечен. Да, говорили они, Ной строил Ковчег открыто, ни от кого не скрываясь, не таясь, так что каждый мог последовать его примеру, и то, что он не раз говорил своим соплеменникам, что Всевышний скоро найдет на землю потоп, — тоже правда, но как же это все мало, ведь погибнуть должны были его родные, его братья и сестры. Такое ощущение, что он и сам думал, что они должны погибнуть, что никто из этих грешников уже никогда не исправится и не встанет на дорогу, ведущую к Богу. Он же не сделал и единой попытки отвратить их от зла, ни одной попытки умолить Господа отложить кару, хотя бы на время пощадить потомков Адама.

Это страшное обвинение тяготело над Ноем со времен первого потопа; не только его дети, его прямые потомки, лишь благодаря ему оставшиеся в живых, не только сотни и сотни толковавших Священное писание, пытавшихся понять, почему он был спасен, а другие обречены, но и мертвые, захлебнувшиеся в водах, обвиняли его перед

Богом. Обвиняли в том, что он их бросил, не заступился и тем обрек на смерть. Этот крест он нес год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, а потом восстал на Господа. Перед своими учениками он поклялся, что воскресит всех, когда-либо живших на земле, всех их спасет и вернет к жизни, потому что смерть несправедлива, смерть есть зло, и нет в мире такого греха, совершив который человек был бы достоин смерти. И Господь понял его, понял, что ноша, которую Он взвалил на Ноя, была тяжела даже для праведника, понял, что Ноем двигала вера, двигали любовь и сострадание к людям, и не поставил ему это в вину».

«А Сталь, в чем ее праведность?»

«Когда-то Христа дьявол искушал властью над миром, и Христос выдержал это испытание, не поддавшись дьяволу. Но он был Сын Божий. Мадам де Сталь же обыкновенная женщина, источник власти находился в ней самой, Господь в нее саму вложил власть над миром, власть как бы истекала из нее, она была ее по всем человеческим законам, но де Сталь ее так никогда и не получила. Господь признал, что искушал Жермену де Сталь всю жизнь, сил же преодолеть искушение ей не дал, поэтому Он простил ее грех властолюбия, все другие грехи, которые породил этот грех, и не поставил их ей в вину.

Кроме того, — продолжал Ифраимов, — спасутся дети де Сталь и Ноя. Господь сделал так, что при рождении души их не были оплодотворены; бессловесными, не ведающими добра и зла Божьими тварями они прожили больше ста лет, и грех не сумел их коснуться. Правда, Ной все равно их ненавидит, он убежден, что, несмотря

на неведение, они плоть от плоти старого мира, дети разврата, они рождены во грехе, и отсюда никуда не уйдешь. В Ное всегда было сильно стремление завершить прошлое, не длить, не продолжать этот уход человека от Бога; он был готов терпеть сыновей, считал, что их жизнь может быть оправдана тем, что они начнут дело восстановления своих отцов и, значит, повернут ход жизни обратно. Но кого могут восстановить эти три идиота? Ведь они даже не знают, что Ной их отец. Он страшится, что с ними на Ковчег проникло зло и если наследуют ему они трое, если его жизнь продлится через них, все, как и тогда, в первый раз, — напрасно. Ной молит Бога, чтобы Он после потопа дал ему от де Сталь другого сына, сына всех людей, когда-либо живших на земле, и чтобы тот, чистый и безгрешный, как Адам до грехопадения, никогда не живший во времена греха и не знающий, что такое грех, начал человеческую историю заново.

Еще уцелеют три медсестры — это жены детей Ноя. Едва кончится снегопад, они каждое утро по очереди будут оборачиваться голубками и облетать землю, пока не найдут место, где снег стаял и вода ушла в почву. На этом пригорке они и начнут вить свое гнездо».

«И это все, — спросил я, — больше никто не будет взят на Ковчег?»

«Да, — подтвердил Ифраимов, — скорее всего, это все».

«Значит, — сказал я, — никто из больных не спасется, моей любви было так мало, что ее не хватило, чтобы спасти хотя бы одного из них, одного-единственного?»

«Может быть, и так», — согласился Ифраимов.

Вернувшись в палату, я был поражен тем, что здесь все, вплоть до последнего больного, казалось, уже давно не различавшего ничего из окружающей жизни, знали, что начался или вот-вот начнется потоп. Такой же потоп, как и во времена Ноя, насланный Господом на землю, чтобы погубить мир. Откуда в них было это знание, сказать трудно: то ли Господь, отняв у них разум, сделал их детьми, вместе с тем приблизил к себе, открыл то, что другие знать не могли, то ли здесь, на Ковчеге, единственном месте на Земле, которое Он защитил от стихии, изъял из общего порядка вещей, оно было дано всем, и дело именно в этом?

\* \* \*

Наше отделение, как уже говорилось, было очень непростым: большинство пациентов, что здесь лежали, в прошлом были кадровыми партийными функционерами, номенклатурой, работали в Кремле и на Старой площади, в ЦК, в ЦКК или рядом, на Лубянке, в крайнем случае, занимали немалые посты в обычных министерствах, и, конечно, у них еще сохранились прежние связи. Из-за этого всегда, чуть что у нас было не так, — наверх сразу же пачками шли доносы. Почтового ящика в корпусе не было, родственники навещали их нечасто, но они, словно в память о подпольной работе, умудрялись передавать их на волю за взятки. Кронфельд, подобно своим предшественникам по отделению, много раз пытался перекрыть этот канал. Часами он растолковывал нянечкам, что они, переправляя письма, делают это на свою голову: после каждой волны доносов в больницу приезжали комиссии,

и хотя Кронфельду всякий раз звонили из Минздрава, предупреждая, кто и когда будет их проверять (сначала его даже инструктировали, как с какой комиссией разговаривать), приходилось устраивать настоящий шмон, чтобы привести палаты в божеский вид. Большая часть работы ложилась, естественно, на нянечек, но они никогда не желали рассчитывать настолько вперед и трешки, которые получали сразу и непосредственно в руки, предпочитали отдаленным выгодам.

Доносы бывали разные, иногда вполне невинные и, в общем, справедливые: в отделении, особенно в уборной, непролазная грязь, неделями не меняют белье, санитарки грубы; хорошая еда — мясо, творог, фрукты — разворачивается подчистую, апельсины в нынешнем году не дали, например, даже на Октябрьские праздники. Перемежалось это жалобами, что их незаконно лишают права голосовать на выборах в Верховный Совет, не собирают партвзносов, не присылают лекторов, мало используют их опыт и знания в воспитании молодых, они оторваны от партии, и прочее. Однако обычно была и вторая часть, в ней фигурировали все виды вредительства — неправильные: лечение, диагнозы, дозировка лекарств; после того, как заведовать отделением был назначен Кронфельд, сразу возникла тема врачей-убийц и еврейско-масонского заговора: в отделении свила гнездо контрреволюция, медики находятся у нее на службе и сознательно уничтожают испытанные партийные кадры; и дело окончательно стало напоминать 1953 год. Кронфельда, который смотрел на их доносы и как профессионал, поражало, насколько точно, несмотря на все разрушения, прошлое сохранилось в их

памяти. Сам он, хотя никогда об этом не говорил, тоже хорошо помнил то время: весной пятьдесят второго он закончил мединститут, так что пятьдесят третий год был первым в его самостоятельной работе; но здесь было другое — его и их памяти даже глупо было сравнивать. В том, как они, словно под копирку, воспроизводили все обвинения, все формулировки и обороты, было что-то нечеловеческое, нигде не было никаких отклонений ни в строении фразы, ни в тоне, ни в самом слоге; настоящее ничему не мешало, прошлое было очищено от всего, что было дальше, и воскрешено таким, каким было.

Причин, заставлявших их доносить, было немало: тут и многолетняя привычка к такого рода работе, и недовольство своим нынешним положением, для которого у них, конечно, были основания; и все же главным было другое — им необходимо было доказать и себе и остальным, что они еще в форме, еще живы, на них еще рано ставить крест. Поскольку те, кто здесь лежал, считались хотя и больными, но вполне правоспособными гражданами — по уставу отделение не было психиатрическим, — и так как писали они по преимуществу туда, где раньше сами работали и где до сих пор работали их друзья и выдвиженцы, комиссии прибывали быстро, без привычной у нас раскачки; но куда хуже было другое — то, что их заключения составлялись обычно с почти личной ненавистью и приводили к тяжелым оргвыводам.

В сущности, это было довольно странно: с одной стороны, все вроде бы понимали, что они больные, отвечать не могут ни за себя, ни за свои слова, ни за поступки, и их доносы — обыкновенный бред, в таком качестве они, в



частности, фигурировали в историях болезни, служили основанием для диагноза, и здесь никто не возражал. В то же время комиссии относились к ним вполне серьезно, все детали тщательно проверялись и перепроверялись, причем всякий раз повторялось, что дыма без огня не бывает, хоть что-то за этим, без сомнения, стоит. В итоге находилось множество других упущений, заведующий получал очередной строгий выговор, и комиссия отбывала восвояси. Два предшественника Кронфельда, проработав под таким прессом ровно по году, слегли с инфарктом, после чего он и был отправлен сюда как бы в ссылку, правда, в обмен на обещание не чинить препятствий при скорой защите докторской.

Большинством из тех, кто у нас лежал, потоп был принят как дар. Многие-многие годы они просили, мечтали об одном: снова оказаться нужными партии, и вот теперь, когда они уже готовы были отчаяться, им было это дано. Любой верующий человек сказал бы, что молитвы их были услышаны; может быть, вправду так Господь, насылая на землю потоп, думал и о них, кто знает? В конце концов, все мы сотворены Им, все Его дети, никто из нас Ему не чужой. Теперь их час, их время пришло. Все было исполнено, как они молили, все было по их вере: что они еще понадобятся стране, революции, что их рано списывать в тираж.

По милости Господа они и в самом деле оказались в сердцевине событий. Ленин в начале века с восторгом доказывал, что центр революционного движения переместился в Россию, что теперь именно здесь решаются судьбы революции, социализма, мира. С этим тогда многие

спорили, временами он и сам сомневался в предназначении России, следовательно, и в своем предназначении тоже, и все-таки это было ликование, радость, счастье, та его санкция на все, как бы он ни считал нужным поступать, которая и сделала его правым, дала ему силы совершить то, что он совершил.

Сколько же силы получили лежащие у нас большевики, каждый большевик, ведь теперь, сегодня, ни у одного из них не было и доли сомнения, что нынешние судьбы мира, судьбы всего человеческого рода решаются именно тут, в их отделении. То есть то, что решается здесь, несравнимо больше, важнее, чем то, что решалось в семнадцатом году, а отделение их, их маленькое отделение склероза, — разве можно сравнить его с огромной Россией? Ведь оно — даже не точка на ее карте. Сколько же энергии было собрано тут! Сколько же ее было в них влито!

Они знали, что находятся именно на Ковчеге, то есть знали, что и они избраны, и их имена внесены Господом в список тех, которым спасение может быть дано. Для этого им надо лишь одно — открыто и без принуждения сказать, что они хотят здесь, на Ковчеге, остаться, что они готовы порвать все связи с прошлой жизнью, готовы забыть ее — осужденную Им и отданную на гибель. И вот тут следует признать, что никто из них вообще не думал о возможности своего отдельного спасения, о том, что их товарищи должны, обречены погибнуть, обречено погибнуть все, что они строили, что знали, любили, весь их, да и не только их, мир, а они неизвестно почему останутся живы. Такая мысль, к их чести, им даже не приходила в голову. А если бы и пришла, показалась бы кощунством,

потому что единственное, о чем они думали, — предупредить, предостеречь партию, товарищей по партии, органы о грозящей всем страшной опасности.

Спасение было возможно для них, только если останется жива партия. Они были ее частью, и вне ее жизнь была для них невысказана. Они чувствовали себя не людьми, избранными Господом из других людей и потому взятыми на Ковчег, а лазутчиками, отважными разведчиками, волею судеб оказавшимися в стане врага. Многим из них теперь стал понятен глубокий, провиденциальный смысл того, что родные в свое время отреклись от них и отправили в отделение геронтологии, того, что партия это тогда допустила, не защитила, не сберегла их. Они заново оценили последние годы своей жизни, все, что с ними здесь было, простили и оправдали тех, кто клал их сюда. Ведь то, что они могли сделать для партии, находясь в этом отделении, было большим, чем в самых ярких их мечтаниях.

Все это их возвысило и облагородило. Доносы, которые они теперь писали, тоже были полны выдержки и достоинства, они были точны, выверены, спокойны, в них не было ни истерики, ни кликушества — только факты и их трезвый анализ. Они информировали органы, что, по их сведениям, Господь, ожесточив Свое сердце, задумал в самое ближайшее время потопить в снегах людской род и, следовательно, погубить первое в мире государство рабочих и крестьян. Писали, что этот удар в спину революции можно было предвидеть, давно предвидеть; ошибка состоит в том, что борьба с религией, с Господом Богом, несмотря на призывы Ленина, так и не была доведена до конца —

бесперывные колебания, компромиссы, временами откровенное заигрывание с церковью, в результате страшная гидра сумела оправиться и вновь поднять голову.

Словно у них на руках были документы с росписью планов Господа, они со скрупулезной точностью сообщали, когда, где и сколько дней будет идти снег и еще сколько дней мести пурга; писали, что весь мир, вплоть до самых высоких гор, будет занесен глубоким снегом, это уже решено, так что не уцелеет никто, ни один человек, кроме тех немногих, кто по Его специальному указанию взят на Ковчег. Ковчегом же Господь на этот раз сделал отделение геронтологии психиатрической больницы имени Корсакова. Повторяю, мне до сих пор не понятно, откуда были им так точно известны все детали; то ли и вправду здесь, на Ковчеге, они ни для кого, кроме меня, не были тайной; избрав их для спасения, выделив и приблизив к Себе, Господь естественным образом посвятил их и в свои планы относительно человеческого рода, рода, который им было предназначено продлить и продолжить, или дело в другом и знание это было не от Бога, происхождение его совсем иное, оно было подсказано им их классовым чутьем.

Дальше они отмечали, что хотя положение, без сомнения, критическое и промедление с ответными мерами смерти подобно, никогда еще, даже в девятнадцатом году, во время похода Деникина на Москву, революция не находилась в большей опасности; шанс победить есть, и он, к счастью, не мал. Первое, что необходимо сделать, — немедленно арестовать Ноя (Николая Федоровича Федорова), мадам де Сталь (Екатерину Ивановну Сталь) и их детей. Этот арест почти наверняка приостановит по-

топ, так как продолжение жизни на земле Господь связывает именно с данными лицами, вся Его ставка на них. Взятие их заложниками, но ни в коем случае — они настойчиво это подчеркивали — не убийство Федорова и Сталь (последнее лишь спровоцирует Господа на немедленное уничтожение всех и вся, мир, оставшийся без праведников, не будет Им пощажён и на мгновение) способно побудить Господа изменить свои ближайшие планы. Таким образом, чередуя, как в дни Брестского мира, угрозы с демонстрацией готовности к покаянию, партия сможет выиграть у Господа немало времени, в которое, если им умело воспользоваться, можно добиться не только окончательной отмены потопа, но и полной победы над верой в Бога.

Похоже, то был наиболее разумный план: он был прост, ясен, не требовал никаких сложных приготовлений; конечно, и он мог не удасться, но то, что в нем было рациональное зерно — очевидно. Редкой удачей было, что все доносы со сведениями о намерениях Господа и с планами противодействия Ему, как и раньше, исправно переправлялись нянечками на волю, не изменилась даже такса — по-прежнему трояк; приезжали и комиссии — такое продолжалось дней двадцать, следовательно, органы почти три недели, пока дороги в Москве не занесло снегом и они не сделались непроезжими, получали подробную информацию. Однако реакция на то, что писали больные, на этот раз, увы, была иной: никто им не поверил, даже не захотел выслушать, все посчитали доносы обычным бредом, виноватым же и на сей раз оказался Кронфельд. В заключениях комиссий, будто под копирку, указыва-

лось, что недавно возникший бред, причем общий у всех пациентов, свидетельствует, что в отделении их неправильно лечат. Не исключено, что здесь имеет место не профессиональная безграмотность, а настоящее вредительство. Иначе трудно объяснить одновременное ухудшение состояния больных. Как говорил в свое время Христос, много званых, но мало избранных, — никто их не услышал, никто не отозвался, когда, может быть, что-то и можно было поправить. Земля вот-вот должна была стать пустыней, и глас их так и остался гласом вопиющего в ней, — нужны ли еще доказательства безумия и обреченности нашего мира!

\* \* \*

Свидания Федорова и мадам де Сталь в эти дни по внешности продолжались тем же порядком, что и раньше, я, во всяком случае, ничего особенного не замечал. Я ведь давно уже наблюдал за ними: пожалуй, раньше всего в отделении я обратил внимание именно на них. После рассказов Ифраимова суть их отношений мне, конечно, стала понятнее, койка Федорова к тому же находилась через одну от меня, и я видел и знал очень многое, почти все. Иногда их встречи с начала до конца были совершенно идиллические, очень похожие на те, что, судя по Инфраимову, были в Сосновом Яре до всяких партий, вообще до всего. Она приходила, ложилась на его кровать, а он, будто мост, перекидывался через нее. У Федорова был хорошо известный психиатрам эффект воздушной подушки: голова и тело его легко принимали

привычную позу, как бы застывали, каменели в ней; так и здесь — он лежал над, а не на ней, словно между де Сталь и им по-прежнему был хрустальный гроб. Подобным образом они могли проводить многие часы, голова его зависала над ее грудью, и они очень тихо и очень нежно о чем-то беседовали. К этому времени он уже научился узнавать ее и вне гроба, но все равно каждая часть его отношений с ней была закончена и завершена, они не пересекались и никак не влияли друг на друга.

Де Сталь всегда, и в нашем отделении тоже, была элегантна, но в этом очерченном его телом гробе она неизвестно почему вдобавок молодедела, хорошела, морщины на ее лице разглаживались, она лежала свободно, даже будто лениво, немного поджав правую ногу и, словно во сне, мягко улыбалась. Она еще была, конечно, необычайно привлекательна. Они говорили о чем угодно, обычно это был необязательный разговор двух очень давно и близко знающих друг друга людей, где фигурировали и больница, и книги, и переустройство мира, и погода, но потом Федоров словно уставал от подобной необязательности и начинал то и дело возвращаться к их прошлым отношениям. Начинал говорить с ней так, будто со времен Сонового Яра в их жизни и вправду ничего не было, все по-прежнему.

Судя по тому, что мне рассказывал Ифраимов, Федоров почти дословно дублировал себя семидесятилетней давности. Он говорил ей, что он ее спасет, спасет и воскресит, что она будет его, только его, что она, царица, лежащая в хрустальном гробу, предназначена одному ему; все это могло продолжаться целыми днями, я спал, про-

сыпался, уходил есть, приходил обратно, а в этой композиции ничего не менялось, по-прежнему она лежала на кровати, а он, как мост, был переброшен через нее.

К сожалению, такие идиллии, бывшие для всех нас отрадой, редко кончались хорошо. Мне трудно сказать, кто из них был больше в этом виноват, хотя ссоры шли обычно по одной и той же схеме. Он вдруг резко поворачивал тему и начинал ее уговаривать, что после потопа, воскреснув и восстав из гроба, она родит ему сына — сына, не ведающего зла и греха, который и начнет заново человеческую историю. На том, что было раньше, будет поставлен крест, все будет стерто, навечно вычеркнуто из памяти, время, которое было — время удаления человека от Господа, и оно должно быть забыто, то есть, в общем, то, что я уже слышал от Ифраимова.

Выглядело это так и так им говорилось, как если бы у него прежде вовсе не было от нее детей. Сначала она делала вид, что ничего не замечает, отвечала ему очень спокойно, даже подчеркнуто мягко, что груди ее иссохли и увяли, а обыкновенное женское давно прекратилось. Но Федорова ее слова только раззадоривали: «Вспомни, — говорил он ей, — вспомни Сарру, разве у нее было не то же самое, разве она была моложе? Есть ли что-нибудь невозможное для Господа? Сарра уверовала и зачала».

Де Сталь отвечала ему: «Но у Сарры не было детей от Авраама, род Авраама должен был продолжить Елизер — раб, чужой человек, вот Господь и снизошел к их мольбам, сотворил чудо. У нас же с тобой по-другому, тебе даже грешно равнять себя с Авраамом: я уже родила тебе трех праведных, не знающих греха сыновей, что же



тебе еще надо? После потопа Господь, избравший их, оплодотворит их души, и они продлят человеческий род. Разве у нас есть право просить Господа о чуде, просить Его дать им и других детей?»

Услышав ее слова, он распрямлялся и, вскочив, начал кричать, что эти сыновья ему не нужны, он не признает их и никогда не признает, они — плод греха и надругательства над ним, она развратничала, усыпив его, она спала с ним как с животным, он не хотел их зачинать, по справедливости, они даже не могут считаться его детьми, это именно дети греха.

Вспышка редко бывала долгой, постепенно он успокаивался и с увлечением начинал развивать свою любимую идею о назначении детей: вспомнить, восстановить и воскресить родивших их, которую эти сыновья исполнить, естественно, не смогут. Ему это казалось настолько бесспорным, что он даже веселел, и тут уже не выдерживала она. В нее словно вселялся бес — не знаю, почему она так бурно реагировала на подобные философствования, ведь она слышала их от него сотни и сотни раз, он не говорил ничего нового, он никогда не скрывал от нее, что считает в жизни главным. Наверное, здесь было много всего намешано и перемешано. В том, что он не любит и не признает сыновей, которых она от него родила, она не могла не видеть умаление, недостаток его любви к ней; в другое время она, возможно бы, согласилась, что нередко вела себя с ним некорректно, но сейчас, перед концом, когда все это должно было остаться позади, когда эти объяснения должны были потерять всякий смысл, она не могла не страдать, зная, что он, так безумно ее любя, не

любит своих детей от нее, пускай ущербных, пускай и в самом деле рожденных издевательства ради (что, конечно же, было неправдой), — это казалось ей предательством: Федоров предал ее. Все-таки в ней крепко сидело, что если она произвела на свет нечто живое, как бы это внешне и ни было обставлено, что бы на это ни наложилось, она сделала хорошо, сделала благо. И потом, она ведь знала, что он хотел иметь детей от нее, чтобы любовь их осталась. Ее не оставляла мысль, что, не признавая своих детей, он тем самым хочет ей объяснить, что она, в отличие от него, несправедлива, что в ней нет ничего, кроме блуда, похоти, и на Ковчег она попала только как его, Ноя, жена.

Это было для нее особенно больно потому, что она была к сыновьям от Федорова очень привязана, гордилась их страстностью и физической мощью, обожала говорить на эту тему со своими невестками-медсестрами; к слову сказать, она была для них едва ли не идеальной свекровью, ей льстило, что в своих отношениях с сыновьями они почти буквально воспроизводят ее роман с Федоровым и счастливы этим. Та ее жизнь была ими словно размножена и в трех копиях показывалась ей. Ведь и Федоров был ею любим не такой, каким он был сейчас, а тот мальчик из Соснового Яра, наивный и смешной мальчик, ее дитя, ее игрушка, а не праведник, избранный Богом, чтобы в нем, единственном, продлился человеческий род. Ей, конечно, было приятно, что она тогда в нем, как и в других своих любовниках, не ошиблась, позвала к себе и от него родила, и в то же время все это было чересчур. Ей хотелось, чтобы и сейчас Федоров был прежним, похожим на

детей от него, и она завидовала невесткам. Сестры это видели, сочувствовали ей и тоже за любовь платили ей любовью.

В де Сталь был очень силен материнский инстинкт, своих детей от Федорова она любила, какими они были: ей нравилось, что они не выросли, не стали взрослыми, не ушли от нее, подобно другим детям, такие же неразумные, ничего не знающие и не понимающие, будто только вчера они покинули ее лоно. Она, вне всяких сомнений, гордилась тем, что им предстоит продлить человеческий род, что именно их избрал для этого Господь; однажды в ссоре она даже сказала Федорову, что Господь не потому задумал продлить род человеческий ее детьми, что они и его, Федорова, дети, дети праведника, а потому, что они сами праведны и невинны, словно в первый день творения, и зло к ним не пристает, они даже не знают, что такое зло. Про них Христос говорил, что их, детей, — Царствие Небесное. Сказала она это Федорову один раз, и то в ссоре, как бы случайно, сказала и испугалась, но на самом деле она давно к этому склонялась, давно так думала.

И любовь, и обиды, и страх за будущее сыновей постоянно накладывались на ее старинное раздражение Федоровым, она никогда не была готова ему простить, что была для него мертва, все еще мертва и в гробу; была женщиной, хотя и безумно им любимой, но мертвой, которую ему только предстояло воскресить, сделать живой. А она всегда, с первой их встречи была жива, в ней все было живое, и она хотела, чтобы ее любили именно такой, живой. Ей надоело, она устала от целомудренности и отстраненности их отношений, они бесили ее, она часто его же-

лала, желала до спазмов, до боли, но решиться переспать с ним не могла, отчаянно боялась, что забеременеет, родит ему четвертого сына. Сына, которого он желал и который — она это знала — как Каин с Авелем, расправится со своими братьями. Все это вместе приводило ее в неопишное состояние, она буквально теряла над собой контроль, и вот, все так же лежа под ним, по внешности без малейшего повода она начинала ругать его самым непотребным образом. Она говорила ему: «Что ты выкобениваешься, дурачка играешь? Неужто забыл, что я трех сыновей от тебя родила? Неужто впрямь думаешь, что чист и непорочен?»

Спрашивала его, неужели он забыл, что спал с ней, говорила ему: «Нет, ты знаешь, что такое женщина, знаешь, что такое лежать на женщине, не так лежать, как ты лежишь сейчас, а по-настоящему, ты знаешь, что такое хотеть женщину, что такое входить в женщину, что такое вожделеть к ней». Она говорила ему: «Плоть твоя умела хотеть и до меня, ведь ты помнишь, как она поднималась, когда ты лежал на моем гробе, но и я многому тебя научила: разве ты мог забыть, что это такое, когда женщина, кончая, бьется под тобой? Неправда, милый, ты это помнишь, и многое другое ты тоже помнишь, я недаром тебя учила».

И она начинала описывать ему, как она с ним спала, их первую ночь, другие их ночи, и еще, и еще, все очень грязно, мерзко: какой у него член, и как он ее брал, и сколько раз. И снова — как она его хотела, и как он хотел ее, и как это между ними было, говорила ему: «Да, твой мозг спал, когда мы были вместе, но тело, плоть не спала, она хотела, желала меня, она была разумна, силь-

на, зряча, над плотью твоей никакого насилия не было, так что эти дети — твои, они твои законные дети, и они наследуют тебе».

Пока она говорила, он страдал невообразимо, находился буквально на грани умопомешательства, но ни разу, когда она вот так под ним лежала, он ей не ответил, ни разу ничего ей не возразил. Она словно гипнотизировала его. Даже мне, человеку совсем постороннему, слушать это было очень тяжело, и обычно я, почти сразу, как она начинала, уходил, возвращался же только тогда, когда Федоров, наконец опомнившись, убежал из палаты.

Де Сталь, в сущности, неплохо понимала Федорова, она видела, что наступает его время, время, которого она, в свою очередь, отчаянно боялась. Она не была готова на такой разрыв с прошлым, он хотел, чтобы все было заново, он буквально этим бредил, она же, скорее, склонялась к тому, что многое в прошлой жизни было хорошим, и это хорошее следует во что бы то ни стало сохранить, уберечь от потопа. Во всяком случае, попытаться уберечь.

То же взаимное недоверие, что разделяло их с Федоровым, когда они говорили о будущем мире и о ее сыновьях, касалось и больных. Де Сталь была убеждена, что все они, раз они уже находятся на Ковчеге, должны пережить потоп, — это воля Божия, воля, выраженная вполне ясно, иначе они бы никогда здесь не оказались. Почему они, будто праведники, взяты на Ковчег, — то ли потому, что стали неразумными детьми, нищими духом, чей рай небесный, или у Господа есть еще какие-то причины, ей все равно, говорила она Федорову, — они на Ковчеге и должны спастись. Спасти, как и он сам, она

и их дети. Его доводы, что Ковчег перегружен, что он так обветшал, что не выдержит, развалится и тогда потонут все, поэтому стариков, хороши они или плохи (он не хотел с ней спорить на эту тему), необходимо во что бы то ни стало с Ковчеге удалить, другого выхода нет, она не желала слушать. Он доказывал ей, что тут нет никакого греха, все правильно, они попали сюда насильно, для них здесь только отделение сумасшедшего дома, почти что тюрьма, ни один из них не пришел сюда сам. В ответ она говорила ему, что у Господа достаточно сил, чтобы совершить и второе чудо — не дать Ковчегу затонуть, сколько бы людей в нем ни оказалось. Если можно было пятью хлебами накормить пять тысяч человек и еще осталось, если он верит, что Господь может сделать, что она снова зачнет, выносит и родит сына, то и не дать развалиться Ковчегу, как бы ни был он дряхл, тоже в Его власти.

Конечно, больные волновали ее не сами по себе, а потому, что они были старыми большевиками. Де Сталь чрезвычайно импонировала мысль, что партия, у истоков которой она стояла и которая так оскорбительно отодвинула ее в сторону после победы осенью семнадцатого, теперь благодаря ей спасется. Партия была для нее святыней, она не могла быть виноватой, и де Сталь не помнила зла. Она любила партию, боготворила ее, была связана с ней пуповиной; партия была самым прекрасным, что она знала за свою долгую жизнь, самым чистым и непорочным, несмотря на всю грязь, которая к ней за годы власти пристала. Пускай партия забыла о ней, что ж из этого, она все равно была ее дитем, де Сталь была ей как мать и, конечно же, как мать, полна всепрощения. Она знала

одно: ее дитя вернулось к ней и молит о спасении — кто бы устоял? Конечно, Жермена де Сталь понимала, что если партия уцелеет, она — и никто другой — естественным путем после потопа встанет во главе ее, наконец достигнет того, о чем мечтала всегда, от рождения. Благодаря партии она, без сомнения, когда сойдет вода и земля подсохнет, сумеет не только сравняться своим влиянием с Федоровым, но, если захочет, и подмять его под себя. Причем даже в том случае, если Господь однозначно встанет на сторону Федорова. И все же здесь гораздо больше было не расчета, а чистейшего альтруизма, это были люди, которых она считала своими старыми товарищами, своими соратниками, и партийная этика, партийная солидарность обязывает ее не дать им погибнуть.

Федоров понимал опасность. Чего только он ни делал, пытаясь отвести ее от защиты большевиков, с первого дня, как на землю начал падать снег, он искал любые возможности, чтобы изгнать их с Ковчеге, они мешали ему, мешали подготовиться к потопу, ставили под угрозу все; но де Сталь каждый раз оказывалась у него на пути. Он пытался объяснить ей, что ни о какой партийной солидарности, ни о каком партийном братстве не может быть и речи — это старые, разложившиеся маразматика, балласт, отработанный материал и для страны, и для Ковчеге, и для самой партии; у него были сильные аргументы: он говорил ей, что если бы они и вправду хотели тут остаться, и вправду были бы готовы после потопа, как и раньше, служить делу пролетариата, они бы давно снялись с партийного учета по своим старым местам работы и стали бы на учет здесь, на Ковчеге.

Этот вопрос, кстати, уже неоднократно обсуждался, все решалось на самом верху, в ЦК, в конце концов был получен положительный ответ и при отделении образовали партячейку. Но никто, несмотря на довольно долгую кампанию (она началась еще за год до потопа), кроме несчастного Кронфельда и двух санитарок, в незапамятные времена по разрядке принятых в КПСС, так сюда и не перевелся. Больные руками и ногами держались за свои старые партгруппы, понять их можно: там прошла вся их жизнь, все хорошее и они еще надеялись выздороветь и туда вернуться, верили, что вернутся. На прежних местах работы им и их близким перепадали — не столь регулярно, как раньше, но перепадали — пайки, всякий дефицит, путевки в санатории, лекарства, а главное, пока они там числились, никто не мог отнять у них право на престижное кладбище и похороны с воинскими почестями.

Но Федоров не желал это видеть, он говорил ей, что вот она просит за них, молит за них, сама с ним, с Федоровым, и со своими ненаглядными детьми (когда ему было надо, он никогда не забывал помянуть ее детей) готова из-за этих большевиков идти на дно, а их волнуют только собственные шкурные интересы. Формально, говорил Федоров, они, может быть, еще и члены КПСС, фактически же назвать их большевиками уже нельзя: они разложились и выбыли из партии, нужды рабочего класса им совершенно безразличны. Во всем этом, конечно, была доля правды, и де Сталь понимала, что пока они, как и прежде будут ориентированы на мир за Ковчегом, мир, ходом истории обреченный на смерть, доживающий свои последние дни, пока она не добьется, чтобы они встали на партучет здесь,



на Ковчеге, тем самым однозначно показали, на чьей они стороне, у нее нет шансов их спасти — Федоров это не допустит. И тогда де Сталь решилась на отчаянную безнадежную попытку их спасения, безнадежную потому, что все были против нее: и Федоров, и Господь, и сами эти партийцы — все ее не понимали, все считали предательницей, и в первую очередь именно ее товарищи по партии.

\* \* \*

Сколько дней она потратила зря, лъстя им, моля их, пытаясь объяснить, что происходит и куда идет мир, — бесполезно, они не желали ни слушать ее, ни понимать, ее слова казались им очередной хитростью, каких в их жизни было немало, чтобы лишить заслуженных льгот и привилегий. И все-таки она пошла на эту попытку, причем ее единственным оружием была любовь, одна любовь.

Выбрав душу, которую она сегодня собиралась обратиться и спасти, выбрав большевика, от которого она сегодня собиралась добиться, чтобы он перевелся на учет в отделение, она покупала у нянечек чистое белье, откуда-то она доставала свежие, даже хрустящие простыни, шла в мужскую палату и сначала перестилала постель избранника. Потом, если он был голоден, она кормила его, если он был сыт, она не спеша угощала его редкостными конфетами — старики, как дети, любили сладкое, — которые тоже неизвестно где доставала. Она разворачивала золотую фольгу и своими тонкими пальцами клала им в рот трюфеля с ромом и коньяком, чернослив, фаршированный цельными орехами и облитый шоколадом, цукаты, затем она

раздевала их, раздевалась сама и ложилась рядом. Принимали они это безропотно и тихо: больница уже давно сделалась их домом, они успели привыкнуть к здешним порядкам, знали, что никто их ни о чем спрашивать не будет, просто сделает с ними, что считает нужным. И никто никого тут не стеснялся, все они, как глухими стенами, были отделены и отгорожены своей болезнью, да и без того, едва болезнь стала в них укореняться, то есть много-много лет назад, они ушли, бежали от нее в собственное прошлое, так что они не просто не видели и не замечали соседей, а как бы даже и не были друг с другом в одной палате. Она ложилась к ним, прижимаясь и начинала их греть, тепло было главной валютой в этом мире, тепла им всегда и больше всего не хватало, особенно они мерзли в последние дни, когда на улице и в больнице было очень холодно, а угля не осталось: была весна и топили еле-еле.

Любовь ее была хитра и изобретательна, тепло было единственным, что они безбоязненно впускали в себя, чего они не опасались, наоборот, просили и хотели, и она приходила к ним, сначала не как женщина, а как тепло. Это было, как когда-то давно на «Эльбрусе» со Сталиным. Она обнимала их, как грелка согревала их постель, потом, не спеша, их самих, и так, теплом, в них входила. Она размягчала их, разглаживала их старые, дрожащие от холода тела, и они в благодарность впускали в себя ее тепло, ее запах, они думали, что она оттуда, из прошлого, того далекого прошлого, которое они любили, которому верили, того прошлого, где им было так хорошо, так всегда тепло, где они были любимы и любили сами и где так же пахла женщины. Теперь, даже если бы им сказали,

что она жена и соучастница Ноя, жена того Ноя, который организовал этот потоп, ради которого, по молитве которого Господь и задумал уничтожить всех их, все, что было им дорого, все, что имело для них значение и смысл, то есть она враг, страшный, заклятый враг, — они бы не поверили, они бы сказали, что она пришла к ним из их собственного прошлого, что они знают ее много-много лет и готовы поручиться, что она верный товарищ.

Она уже была для них своя, сначала она стала их собственным теплом, потом их воспоминаниями, все это было очень медленно, зыбко, оборона их была крепка и глуха, не было ни одной прорехи, но она постепенно проникала, просачивалась через нее и лишь потом, когда она уже становилась их частью, той, которая уже была в их жизни, она начинала их ласкать.

Ласки ее тоже были очень медленны и очень осторожны, плоть стариков была пуглива и слаба, пожалуй, она была даже недоверчивее, чем их разум, она давно жила лишь памятью, и одно неосторожное движение могло все испортить. Стариков могло спугнуть что угодно и часто пугало, но де Сталь это мало смущало, она не сдавалась, начинала сначала и только была еще более осторожна.

Каждый раз я не верил, что ей удастся хоть что-нибудь сделать, настолько старики казались мне немощными и ни на что неспособными, но каждый раз она добивалась успеха. Иногда на это уходило три часа, иногда семь, иногда чуть ли не весь день, но она добивалась своего. И вот когда они уже так хотели ее, что могли ее взять, они разгорались тяжело, как сырые дрова долго-долго тлели, лишь потом начинало перебегать пламя, которому тоже все время надо

было помогать, поддерживать его, чтобы оно не погасло. Но вот огонь занимался, они уже хотели ее всю, ее грудь, ее пах, ее губы; своими скрюченными, негнуцимися пальцами они гладили, ласкали ее кожу, ее бедра, ее живот, ее ноги, спину, ягодицы; тело их еще боялось верить себе, боялось поверить, что оно что-то может, но оно могло и, наоборот, уже не могло без нее, де Сталь, и тут она, не впуская их в себя, брала губами их плоть, их снова ожившую и поднявшуюся плоть, и начинала ее мучить. Они хотели ее все больше, молили ее, плача, молили ее не медлить, не тянуть, но она, не давая их плоти опасть и в то же время не давая им кончить, теперь требовала от них, заставляла их, чтобы они, прежде чем войти в нее, соединиться с ней, поклялись на своем партийном билете, поклялись памятью Ленина, что завтра же встанут на учет здесь, на Ковчеге. Они еще пытались сопротивляться ей, но она продолжала их целовать, ласкать, она льстила им, говорила, какие они хорошие мужики, как они умело обращаются с женщиной, жаловалась, что может быть только с тем, кто стоит на учете в их отделении, кто свой, потому что она отдается мужчинам только из родной ячейки — такое у нее правило; она звала их, манила, обещала им, что после потопа все они получат крупные посты и назначения — ведь они гвардия и у них еще есть порох в пороховницах.

После потопа, говорила она, ряды партии сильно поредеют, это неизбежно, старых большевиков, испытанных кадровых бойцов останется совсем мало, и каждый из них будет на вес золота. Не надо думать, говорила де Сталь, что жизнь кончена, — она только начинается, по-

сле потопа партия будет нужна еще больше, чем сейчас. Вспомните, говорила она им, как трудно вам было все эти годы строить новый мир, нового человека, каким косным все оказалось; после потопа же, убеждала она их, только от вас, только от партии будет зависеть, какой дорогой мы пойдем: встанем ли на ту, которой шли прежде и где не было ничего, кроме эксплуатации человека человеком, слез, страданий, ненависти, или с самого начала выберем правильный путь. Это зависит от них, старых большевиков, и если они откажутся встать здесь на учет, согласятся, что вместе со всеми в водах потопа погибнет и партия, значит, они не достойны имени коммунистов, они жалкие трусы, дезертиры, предавшие свои идеалы.

В конце концов, они уступали, клялись ей, даже подписывали заявление, и тогда она им отдавалась. То, что происходило потом, у меня есть сильное искушение назвать агонией: и вправду, сила, страсть, то, как это вообще выглядело, очень походило на конвульсии, и все же, несмотря ни на что, это была жизнь. Старики должны были вот-вот умереть, вот-вот должен был погибнуть этот мир; без сомнения, то была последняя в их жизни ночь с женщиной, как бы даже ночь после конца — для всех близких, родни, друзей они уже умерли, и вот вдруг им было это дано. Но дана была им именно любовь, а не смерть. Де Сталь воскресила их, вернула к жизни, вылечила, они перестали бояться настоящего, перестали сбегать от него в прошлое, они вернулись сюда ради нее, захотели жить с ней и при ней, в ее время; для нее они отказывались от последнего, что у них еще оставалось, от своих льгот, пайков, привилегий, — все это складывалось

у ее ног как дар, отдавалось ей за одну только ночь; она была королева, царица, и весь мир был ее. Она это знала, для нее это тоже была любовь — не работа, не долг, не расчет, как если бы ей что-то было от них надо и она спокойно и методично добивалась своего, — нет, она понимала, чем они ее одаривают, понимала, как это много, понимала, что никто в жизни ее так не любил и, наверное, любить уже не будет, и она им шептала: «Милый, я не обманываю тебя, доверься мне, так действительно будет лучше, милый, я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне нужен живой, я хочу тебя спасти, милый, я хочу, чтобы ты жил и мы могли с тобой еще и еще...»

Любовь рождала любовь, им было хорошо друг с другом, но похмелье было тяжелым: через час она, перепечатав для них на машинке заявление о снятии с прежнего места учета, приходила, чтобы дать им его подписать; однако они то ли и в самом деле уже ничего не помнили — ни что спали с ней, ни что в чем-то ей клялись, или у них хватало хитрости, чтобы сделать вид, что ничего не помнят, но они наотрез отказывались даже смотреть бумаги, которые она принесла, и де Сталь уходила ни с чем.

Так было каждый раз. Мне, который смотрел на это со стороны, результат ее усилий был известен заранее, и я долго не мог понять, почему она сама ничего не видит. Потом я начал догадываться, что ее, как и их, по жизни тоже теперь вел не разум, а инстинкт, похоже, она вообще не замечала своих неудач. Во всяком случае, внешне она принимала все спокойно, просто как пчела перелетала с цветка на цветок и начинала сначала. А я уже знал, что они будут клясться, обещать ей всё, что только она у

них ни попросит, будут, кажется, сами верить, что сделают, и тут же все потонет в их беспамятстве.

Федоров это тоже знал. У нас в палатах были стеклянные двери, перетянутые, как на дачных террасах, деревянными переплетами, лишь кое-где они были неплотно прикрыты занавесками. Так было удобно и врачам и сестрам, а больным, как я уже говорил, было все равно. К сожалению, эти двери позволяли Федорову видеть все, что де Сталь делала в постели. В свою очередь, мне никогда не доводилось видеть человека, который бы так страдал. Он смотрел на де Сталь и ее очередного любовника не отрываясь, — остановившиеся глаза, лицо без крови, тело окаменело, и только руки мелко дрожат. Мы знали, что он очень-очень ревнив, знали, что он безумно ее любит, и, когда у нее кто-то был, старались его отогнать, но он не уходил, его приходилось в буквальном смысле уводить, уносить — сам он идти не мог. И вот, несмотря на всю любовь, он ни разу не попытался ей помешать, остановить ее, он как бы понимал, что то, что здесь происходит, его не должно касаться, для него это постороннее, чужое, это — дело де Сталь и Бога, их одних, и она не изменяет ему, просто тут решается, быть партии или не быть, и решает это Бог. То есть он чувствовал, что у Сталь на все есть высшая санкция и ее успех или неуспех зависит только от Господа. Он верил, что партия, так же как и остальное, обречена и погибнет, но не знал, боялся, что, может быть, Господь почему-то хочет ее сохранить.

Федоров понимал, что сейчас — время не людей, а Господа; по-моему, он единственный на Ковчеге это по-настоящему понимал. И все же, правда, не переступая

определенных рамок, он как мог, мешал де Сталь спасти партию. Когда она после очередной неудачи, обессиленная, выходила из палаты, он всем своим видом показывал, что сочувствует ей, даже для верности поглаживал ее руку, она была совсем опустошена, боялась хотя бы на минуту остаться одной, ей надо было хоть на кого-нибудь опереться, чтобы не упасть, и она была рада ему, хотя, в общем-то, давно насчет Федорова не заблуждалась. Они шли в ее палату, она ложилась, он садился рядом на стул и говорил ей, что сколько можно ей объяснять: люди, которых она пытается спасти, — разложенцы, эгоисты, лжецы; именно они погубили идею, все разрушили, сделали так, что человеку уже не спастись. Из-за них Господь и наслал на землю потоп.

«А ты, — говорил он ей, — хочешь отмолить их, хочешь сохранить им жизнь, чтобы это длилось и дальше. Ты делаешь для них все, что только можно представить, но ничего не добилась: они ведут себя как скоты, любому ясно — они обречены, они сами обрекли себя на гибель. Ты посмотри: разве они способны работать на благо партии? Это отработанный материал, камень на шее, скольким ты ради них пожертвовала, ты ведь настоящая героиня», — он старался ей дать понять, что то, что она с ними спала, он ее за это не винит, что это не измена ему, а ее жертва, то есть из совсем другого ряда: «Но разве хоть один из них отказался от льгот, от пайка, подумал об общем благе?»

Он, конечно же, был очень умен, знал, как к ней подойти, и в конце концов он, как и она в свое время со Сталиным, нашел те единственные слова, которые убе-



дили ее сдаться, убедили, что, действительно, всей ее любви не хватит, чтобы спасти этих людей и с ними вместе — партию. Поэтому когда через семь дней он добился, чего хотел, выгнал тех, кто у нас лежал, на улице, под снег, она, хоть и кричала, внутренне была к этому готова, уже приняла это. Он тогда сказал ей: «Пойми, дело не в твоих стариках, партия жива не ими, и она не погибнет, даже если погибнут они. Партия бессмертна, она как Бог и пребудет вечно. Пока будешь жива ты — она будет жива тобой, одной тобой, то есть она переживет потоп, не исчезнет в его водах, в твоём лице она спасется и продлится, потом она продолжится в твоих детях, ты можешь не бояться. Вот и все, что я хочу тебе сказать...»

Вслед за тем их разговором она ушла к себе в палату и, спокойно, не спеша обдумав то, что услышала (Федоров ее не торопил), согласилась с ним, поняла, что он прав, она сделала все, что возможно, но и ее любви, так же, как раньше моей, не хватило, чтобы спасти хотя бы одного из них, они и вправду были обречены, раз ничья любовь больше не могла им помочь.

\* \* \*

Неделю спустя, когда Федоров уже знал, что она ни в чем не будет ему помехой, во всяком случае непреодолимой помехой, поздним вечером в отделении появилось ровное, почти неотличимое от далекого гула шуршание. Возможно, это была ночь полнолуния, в которую у больничных стариков всегда обострялся их обычный синдром «сборов в дорогу». Из-под матрацев и подушек, из тумбочек, из-за батарей и плинтусом и еще из самых странных мест они

доставали свои заначки, все-все, что было ими скоплено на черный день: высохшие горбушки хлеба, фантики, тряпочки, какие-то крючки и пружинки, рассыпающиеся прошлогодние листья, такие же цветы, прочий хлам; все это очень осторожно — они боялись, что их заметят и не дадут уйти, — завязывалось и паковалось в узелки, свертки, коробки, кульки, а дальше они, шурша по полу тапочками (шуршание и сливалось в гул), выбирались из палаты в коридор. Одновременно с этим шуршанием, так что я никогда бы не смог сказать, что было раньше, что было причиной, а что следствием, в отделении раздался звонкий фальцет Федорова. Как фавн, подпрыгивая на ступеньках лестницы, сломя голову носясь взад и вперед по коридору с равномерно струящейся вдоль стены цепочкой стариков, но не задевая и не касаясь ее, то и дело влетая в палаты, он радостно, почти срывая голос, кричал: «Последний день уплаты партийных взносов... Не внесший деньги автоматически выбывает... Закрытое партийное собрание... Явка всех членов партии строго обязательна... Не явившийся автоматически выбывает... Выбывает, — орал Федоров с лестницы, — закрытое постановление ЦК партии о всемирном потопе... Допускаются только старые большевики... Ответные действия партии... Мы готовы к борьбе... В части «Разное», — возглашал он с другого конца коридора, — личное дело члена партии с шестнадцатого года Хорунжего... Аморалка... Сорок лет секретарша была его любовницей... От нее у него двое детей... Жена разоблачила Хорунжего... Можем ли мы и дальше терпеть таких людей в своих рядах? Думаю, нет! — кричал он. — Высказаться должны будут все...»

Потом вдруг сразу, я даже не понял как, Федоров оказался на первом этаже, у входной двери, где уже собралась почти половина отделения и где зареванные де Сталь и медсестры с нянечками, цепляясь из последних сил за ноги стариков, пытались не выпустить их во двор.

Очевидно, Федорова пока устраивало, что старикам не дают уйти, потому что здесь он, так же гогоча и так же, как и раньше, свечкой взмывая над головами, теперь восторженно и ликующе вопил: «Выпущен никто не будет! Не смей никого выпускать!.. Все знают, что приказом Кронфельда прогулки зимой категорически запрещены... Кто же вас выпустит, да еще в такую погоду?..»

Только потом я понял, что Федоров просто тянул время, дожидаясь, когда тут, внизу, соберутся наконец все больные. Но старики это знать не могли и были очень испуганы его криками о Кронфельде и тем, что медсестры Кронфельда явно поддерживали. Раньше больные молча, не поднимая глаз, упорно пытались оттеснить тех от двери и почти достигли своего — появление Федорова сломало их планы, больше не веря в успех, они возбужденно загомонили, натиск их ослаб. Однако заминка не была долгой. Старики тоже были изворотливы и хитры, теперь, когда они поняли, что силой им не прорваться, они решили разжалобить медсестер. Они хватали их за халаты, целовали руки, совали свои обычные тройки и одновременно, как будто после многих репетиций, стройно, на три голоса, выли: «Выпустите меня, выпустите... Дома второй день грудной ребенок некормленный...» Другой ей второй: «Горе, горе... Молоко мое перегорит, и дитя

погибнет...» Третий: «Ушла — печь не загасила, сгорит моя кровиночка заживо...»

Слова о некормленных, брошенных дома детях повторялись всеми стариками, это были ключевые слова, и их еще можно было разобрать, остальное сливалось в какое-то тягучее стенание. В отличие от Федорова, завороченные этим странным хором, мы не считали больных и не обратили внимания, что все они, даже самые немощные, уже добрались сюда и шарканье наконец прекратилось. Мы поняли это только тогда, когда Федоров вдруг, метнувшись, разом оказался у двери, никто из нас помешать ему не смог, он рывком распахнул ее, и стариков так быстро, что мы даже не успели вскрикнуть, ветром и холодом вытянуло наружу.

Федоров тут же снова попытался захлопнуть дверь, но ветер прижал ее к стене дома, и когда общими усилиями нам в конце концов удалось ее закрыть, коридор был наполовину засыпан снегом. Потом до середины ночи сначала все вместе — и Федоров, и де Сталь, и медсестры — мы сгребали его и через окно выкидывали на улицу, затем они ушли спать, и доделывали работу мы вдвоем с Ифраимовым. Убрав снег, мы сели прямо на ступеньки лестницы, сил идти на второй этаж в палату не было. Мы долго сидели с ним бок о бок, наконец отдышались, и тогда я спросил его:

«А с нами что будет?» — «Не знаю, — сказал он. — Похоже, нас пока сохранили как память о той жизни. Если Господь решит продлить ее — мы останемся, начнет все сначала — уйдем. Так же, как и другие...»

*Литературно-художественное издание*

**Владимир Шаров**

## **ДО И ВО ВРЕМЯ**

Ответственный редактор *В. Н. Курицын*  
Художественный редактор *Д. А. Райкин*  
Технический редактор *Т. А. Чернова*  
Верстка *О. К. Савельевой, И. В. Довбенко*  
Корректор *В. Н. Леснова*

ООО «Издательство АСТ»  
667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  
ул. Кочетова, д. 28  
Наши электронные адреса: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

ООО «Издательство Астрель-СПб»  
197373, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 34,  
корп. 1, ЛИТЕР А  
E-mail: [mail@astrel.spb.ru](mailto:mail@astrel.spb.ru)

При участии ООО «Харвест».  
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.  
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательство «Белорусский Дом печати».  
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

**НЕФОРМАТ**  
Современная русская проза  
Под редакцией Вячеслава Курицына



**001**

**Валерий Исхаков**  
**Жизнь ни о чем**

Авантюрный роман. Тихому юристу предлагают пошпионить за прошлым его школьных друзей. Срубить денег по легкому не получилось: за каждый доллар приходится рисковать задницей. Параллельно разворачивается нервная любовная история. Проза для тех, кто ищет приключений в обыденной жизни.

**002**

**Ирина Дудина**  
**Пение птиц в положении лежа**

О самом приятном, о самом отвратном, о самом достойном, о самом постыдном, о самом красивом, о самом ужасном, о самом счастливом и самом несчастном. Изящные записки о том, что нас окружает. Литература по-настоящему женская и совсем не феминистская.

**003**

**Наль Подольский**  
**Книга Легиона**

Мистический триллер. 10 000 самоубийств в Петербурге. Борьба со злом порождает новое зло. Сознание людей заполнено такой гадостью, что не знаешь что и делать... Но делать что-то надо.

004

**Владимир Лорченков**  
**Усадьба сумасшедших**

Повести о журналистах. Как они трахают наши зрачки, как они вешают нам лапшу. Наши нервы толкут в ступке, жарят на медленном огне, замачивают в трех водах, пинают, солят, режут, остро перчат. Важно только лишь, что вы — боец армии ботвы. Пара ушей для рекламных роликов, пара глаз для рекламных заставок... Продавец обвешивает, проститутка недоглатывает, менеджер вообще на хрен не работает, а журналист — раскручивает.

005

**Вера Коркина**  
**Умный, наглый, самоуверенный**

Психологический детектив. Мужская дуэль из-за вдовы с приданым. Состав любовных треугольников бодро обновляется. Маски, ловушки, психологические игры неглупых людей и обаятельный криминал. Есть люди, которым совершить преступление, даже убийство — что зубы почистить... Странно, но читатель готов их понять и простить. Ему важнее, с какой из женщин останется главный герой — Александр Авилов.

006

**Вера Коркина**  
**Сукин сын**

Психологический детектив. В Пушкинском заповеднике во время экскурсии украдена рукопись поэта. Пока идет следствие, рукопись хотя бы на мгновение оказывается в руках у каждого из подозреваемых. И каждый хочет сыграть свою игру. Рукописью шантажируют, торгуют, ее выбрасывают, пытаются сжечь... История острая, смешная, печальная. Главному герою — Александру Авилову — важнее выиграть любовь, чем свободу и деньги.

007

**Дмитрий Бавильский**

**Ангелы на первом месте**

Авантюрная мелодрама. Письма о любви, падающие в чужой почтовый ящик. Миллионный в истории роман о театре и первый роман о «Живом Журнале». Энергично, ярко, современно. Женские переживания мужскими глазами: половина читательниц плачет, половина плюется. Мужчины — завидуют автору, молодому, талантливому, модному и уже переведенному на пять языков.

008

**Владимир Шаров**

**До и во время**

Историческая фантазмагория. Три жизни мадам де Сталь, которая умела рожать сама себя, тайная история русской революции, профессиональные секреты евреев, правда о рождении кремлевского грузина, головокружительный сюжет. После журнальной публикации роман вызвал самый громкий в постсоветское время скандал в критике. Враги Шарова сожгли в Москве у метро «Аэропорт» чучело писателя.

009

**Павел Крусанов**

**Калевала. Финский эпос**

Культовый прозаик, автор «Укуса ангела», пересказывает своими словами главную книгу наших северных соседей. «Калевала» — мощнейшее сочинение, практически не известное русским: старые переложения читать было невозможно. Да еще и цензура вырезала из них целые куски. Версия Крусанова — легкая, динамичная, увлекательная и полная. Хочешь, наконец, узнать, о чем написано в «Калевале»?



**010**

**Леонид Могилев**

**Клон**

Авантюрный роман. Двойной агент на чеченской войне. Сильный мужчина решает три проблемы: сохранить честь, остаться в живых и спасти любимую женщину. Кавказ как русское чудо и русское проклятие. Проза без соплей. Если вы одинокий волк, это ваша книжка.

**011**

**Леонид Могилев**

**Созвездие мертвеца**

Авантюрный роман. Провинциальный учитель французского находит неизвестные тексты Нострадамуса. Его шестнадцатилетняя ученица хочет секса и тайных знаний. Древние пророчества рулят судьбами современной России. Кремль в панике и бешенстве. Должны быть уничтожены все, причастные к тайне.

**012**

**Александр Иванченко**

**Монограмма**

Философская мелодрама. Один из лучших русских романов девяностых. Ксерокс журнальной публикации «Монограммы» тысячами копий расходился в буддистских тусовках. Изысканные медитации перемежаются жестокими сценами отечественной истории и душещипательными подробностями из жизни провинциальной библиотекарши.

Серия «Неформат»: [neformat@astrel.spb.ru](mailto:neformat@astrel.spb.ru)

Де Сталь резко прервала отношения со Сталиным и стала подряд заводить романы с теми из верхушки партии, кто тогда стоял у него на дороге. Определить, кто ему мешает, ей было не трудно — всех их она знала не один десяток лет, ни на чей счет, включая Ленина, не заблуждалась и, главное, так же, как и Сталин, не принадлежала ни к одной из группировок, наблюдая со стороны, легко видела истинное положение дел. Чтобы еще больше раззадорить Сталина, она перипетии каждого своего романа афишировала во всех подробностях. Дальше действовал он. Люди, которых Сталин приговаривал к смерти, уже не были его старыми товарищами по подпольной работе — это были соперники, отбившие, уведшие его самку.

# Владимир ШАРОВ



ИРФОРМАТ

Современная русская литература  
Хорошие книги под редакцией  
Вячеслава Курицына

ISBN 5-17-027737-7



9 785170 277377